

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга четвертая

Verlag "Partner"
2005



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*

Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*

Ольга Бешенковская

Борис Вайнблат

Сергей Викман

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-портале

www.zapiski.de

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия и проза

Наталья Аришина. Лавры на голову не возлагая... <i>Стихи</i>	2
Дина Рубина. По дороге из Гейдельберга. <i>Рассказ</i>	8
Светлана Василенко. За сайгаками. <i>Рассказ</i>	15
Анатолий Кобенков. Впрочем, есть ещё небо... <i>Стихи</i>	34
Борис Хазанов. Апостол. <i>Рассказ</i>	40
Михаил Гиголашвили. Повести Стрелкина	55
Маргерит Юрсенар. Как был спасён Ванг-Фо. <i>Рассказ</i>	64
Аркадий Илин. У нас обычные дела... <i>Стихи</i>	73
Борис Юдин. Город, который сошёл с ума. <i>Роман-фарс</i>	78
Владимир Шубин. Там, над Дунаем... <i>Рассказ</i>	135

Свободный жанр

Игнатий Ивановский. Фрагменты	149
--	-----

Немецкая классика в зеркале классики русской

Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten	158
Генрих Гейне. Лорелея	

Эссеистика, критика, публицистика

Марк Харитонов. Стенография начала века	161
Игорь Сухих. Попутчик в Стране Советов	175

Из истории русской эмиграции

Новые материалы о Вацлаве Нижинском (<i>перевод Галины Погожевой</i>)	185
---	-----

Иные жанры...

Майя Шеломенцева. Два рассказа	196
Проблемы с головой	
Неважно...	

Коротко об авторах	199
---------------------------------	-----

Декабрь, 2005

ЛАВРЫ НА ГОЛОВУ НЕ ВОЗЛАГАЯ...

Рыбной лавкой на собственной тяге
горд посланец недалней страны.
Европейского вида бродяге
мы как Азия все же нужны.
Я раба своего гороскопа
и морские люблю города.
Пусть глаголет, что мы — не Европа
и не устрицы — наша еда.
Цедит цены на выцветшей мове
у пропахшего рыбой авто.
Масса мелочи в жадном улове
пропадет ни за что ни про что.
Контрафактные банки с икрою
кроет ржа, над ценой изгалясь,
и прибрежной густой мошкарою
торг облеплен, бессмысленно длясь.
Я в застывшие очи катранам
все гляжу, не сбивая цены.
Он хамсу отмеряет стаканом,
вытирая ладонь о штаны.

БОЛЬШАЯ СУША

Памяти Татьяны Бек

В мегаполисном сердце под ритмию,
под сурдинку ее, под ее угрозы
обещала себе, что вовек не стану
покидать семихолмие роковое.
Вейнянмёйнен в чреве Огненной Рыбы
добывает огонь, и рокочет руна,
ищет Винонен, горьким темнея ликом,
злую истину в море огненной влаги.
Возвращаюсь с Запада восвояси.
Спешно маятник жизни, со свистом ходит.
Возвращаюсь с Востока, лечу обратно.
Автобаны мелькают, теряют звезды
то одну, то другую свою подругу.
Трус объял острова — и Большая Суша
на японский ужас глядит китихой,

ошельмованной двадцать первым веком.
Потому ль, что слаба я глазами стала,
стала видеть не то, что глазами видят,
от Балтийского моря до Океана
по былым маршрутам шутя гуляю.
Календарное время вполне условно:
целый век растеряешь — и не заметишь.
Светом Рыб освещали мое рожденье,
но далекие звезды так тускло светят.
А теперь догорел и светильник Тани —
и хронически не хватает света.
На Ваганьковский холм налетела туча.
Для февральской погоды закон не писан.
Кверху брюхом течение плотвицу тащит
и пером золотым, как с огнем, играет.

Памяти Е. Кузьминой-Караваевой

Сиренью в устье Старого Арбата
ты снилась мне ночами напролет.
Уловленная наскоро цитата
по гамбургскому счету не пройдет,
и нечего спросонок обольщаться,
что возвратилась лучшая весна,
как некогда у нового палаццо
пролив немного красного вина.

Я отменю любимую прогулку —
объявлен туристический маршрут.
Пиленкову былому переулку
не даром имя прежнее вернут.
Стоит толпа у памятного знака,
глядит на полированный гранит.
С причала забежавшая собака
на свежем дерне, не смущаясь, спит.

Что гений места кажет ей, собаке,
в бессмысленном дневном прилюдном сне?
Увы, я засыпаю лишь во мраке —
и наяву нельзя увидеть мне
кузнечика, сложившего подкрылки
на пожелтевших скифских черепках,
апостольника узел на затылке
и четки в нецелованных руках.

Потчевать польского графа чарджуйскою дыней,
ропот цикад уловляя с чужого баштана.
Свет предвечерний. Волос нескрываемый иней.
Долгие проводы. Чары. Ахматовиана.
Чем это кончится? Для чужестранца — Парижем.

Брошку пришлет чаровнице. Припишет другая
сладость вниманья себе, но на общий нанижем
счет — недомолвки, не споря, не предполагая
зависти тайной к сопернице. В этом ли дело?
Брошка парижская, кажется, не уцелела.
Ломтем нетронутым в небе — чарджуйская дыня.
Хоры цикад надрываются в лоне баштана.
За горизонтом палящая дышит пустыня.
Мифы незыблемы. Чары. Ахматовиана.

НАУКА ПОЭЗИИ

Много пройдешь, становясь на котурны?
Ходишь пешком, не ломая комедий.
Скоро откажешься и от сандалий.
Лавры на голову не возлагая,
предпочитаешь супы и жаркое
ими увенчивать без перебора.

Недруг с иронией: «Вот ты какая...»
Друг, возлежа: «Хорошо ты готовишь!»
Тихо соперница: «Ходишь тихоней,
ан, невзначай, коготки выпускаешь».
Громко подруга: «Да чья бы мычала!
Вижу, куда запускаешь ручонку».

Что тут ответить? На всем побережье
лучшей ответчицы я не слыхала.
Зяблику ты отвечаешь, и мухе,
и комариной ночной серенаде,
и притаившимся в ряске лягушкам.
Много ль имеющих уши найдется?

Последняя фаза луны
настойчива и плотоядна.
Разбитые вдребезги сны
осколками ранят нещадно.
Прохладу принес бы сквозняк,
но душит бензиновым чадом.
И грозно ползет товарняк
с цистернами, полными ядом.
Эфирной спасешься возней? —
Найдешь перебранку сорочью.
Закутаешься простыней —
как белой отравишься ночью.

Еще не выжжена полынь, еще всю пылают маки,
морская синь, и неба синь, и две блохастые собаки,
старик с разорванной губой, его тельняшка и наколка.
На редкой глине голубой не процветает быт поселка.

Ель затеняет сельсовет, как старое бельмо — ресницы.
И флага нет, и власти нет, поют щеглы, звенят синицы.
Баркас ржавеет на мели. Кому спускать его на воду,
коль в этом уголке земли не прибавляется народу?

И месяца злаченный ятаган,
и россыпь звезд и оптом и поштучно
распроданы. И вечный бандюган
у казино дежурит неотлучно.
Неотразимо движется жара,
густеет кровь — стреноженную вену
чем укрепить? Лишь росчерком пера
решительным, чтобы не лезть на стену.
Я дотащусь до понта и в тетрадь
все выверну и выжму, чем болею,
но проигрышем стыдно донимать
эвксинскую мою гиперборею.

ПАРКА

Под вечер сидела в качалке, платок распуская,
но свет не включала и раны присыпала солью.

Тянула за нитку - не медлил платок, убывая,
когда-то пуховый, но вытертый, траченный молью.

Уже на носу холода и нытье поясицы.
Пускай бы узлом подпирал бесполезное лоно.

Мотала, шептала, слезу убирала с ресницы,
моток натянула на гипсовый бюст Аполлона.

И пыльные гипсы, и тусклую зелень патины
укутает тьма. Бормочи с интонацией новой:

укроп порыжелый, белесый зазор паутины,
бугристая штопка суглинка над норкой кротовой.

Задернула шторы. Как лошадь, носящая шоры,
ноздрей поведи: ну, почем там осенняя воля?

Летит паутина, свои разрушая узоры,
стерня золотится на лоне пшеничного поля.

В сухарнице долго черствеют воскресные булки,
забытая книга раскрыта на первой странице.

На ивовом дне запыленной рабочей шкатулки
бесцельно мерцают стальные вязальные спицы.

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Она читает Горация.
И. Ф.

Пыльных улиц, зловонных людских отбросов,
тесноты городской, суматохи, гама,
зычных девок, торгующих чем попало —
мылом, похотью в брэнном теле,
презирать ли, коль подслеповат и вспылчив,
низкорослый толстяк, поперек себя шире,
наречась эпикуровым поросенком,
обрастаю спешно седой щетиной?

На костре погребальном сгорел Вергилий,
удалился Варий в обитель мрака,
молодежь о гражданских забыла войнах.

Меценат! В Эсквилин удаляясь нервно,
там, бессонницей мучим, дневной дремотой
ненадолго упьешься под плеск фонтана.
Скоро, скоро навечно заснем друзьями.
Нас в саду эсквилинском положат рядом.

И ящери в песках, и голуби на крыше,
и в сумерках — зигзаг крыла летучей мыши
в который раз мелькнет, и в мысленный эскиз
внесешь мельчайший штрих — и прочно он повис
на призрачной стене, на гвоздике чердачном,
в забытом уголке, заброшенном и мрачном.

Проветри свой чердак, ополосни карниз.
Не выйдет — налижись до положенья риз —
все лучше сумрачных мельканий и кружений,
волнений не с руки и полуночных бдений.

Все лучше, проще, злей.

Еще, еще налей.

Абрау плюс Дюрсо
по этой трассе, близко.

И вот уже в кювет
съезжает колесо.

И общий всем привет
из зоны риска.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ

Где обрывается Россия...
О. М.

У неслучайного места на юге российском
поезд пятнадцать минут, не опоздав, простоит.
Все-таки стоит спешить. Кто там застрял на подножке?
Резво с поклажей своей прыгай, народ кочевой.
Вот они, в ряд — тополя, три легковушки — под ними,
виды выдавший пикап, с вмятиной свежей — «Газель».

Здесь невзначай тормозни. Частного жертвой извоза
стать не стремясь, ухитрись к морю домчать с ветерком...
Не было к здешним краям столь всеобъемлющей тяги.
Суша, шагрени лоскут, вдруг поползла от морей:
спекся имперский порыв — и побережья отпали.
Славься, последний оплот, Берег Высокий, держись.
Есть на обрыве крутом мазанка прямо над бездной.
Любит скворешню свою немолчаливый скворец.
Бойкая, благоволит к двум постояльцам хозяйка,
белит лачугу свою, сушит льняное белье.
Щедрая нынче лоза, будем с напитком бодрящим.
Белая бродит коза. Чайка, как лебедь, плывет.

ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЕЙДЕЛЬБЕРГА

Кусками желтой халвы мелькнули жернова прессованного сена.

Очередной туннель всосал поезд с ухающим воем, раскачал в черной рябой утробе, выплюнул, — и по горным склонам, подскакивая, рассыпались черепичными гроздками городки, с неременной пикой на панцирном шлеме кирхи.

Время от времени промахивали заброшенные заводы с осколками солнца в разбитых стеклах — слюдяная парча, за которой угадывалась тьма. Почему в покинутых зданиях, где бы они ни встретились, обязательно разбиты окна?

Мое отражение плавало в солнечном мареве за окном, и деревья, городки и замки проносились сквозь мои отраженные глаза, плывущие по-над Рейном.

Несколько лет спустя от всей этой поездки остался только жемчужный мартовский день в старинном Гейдельберге.

Меня давно обещали свозить туда друзья, супружеская пара, лет пятнадцать живущая в Германии; и в единственный свободный от выступлений день я оказалась у них во Франкфурте, откуда уже до Гейдельберга было рукой подать.

Друзья, задумавшие показать мне товар лицом, все сокрушались, что погода не задалась. А по мне, так задалась весьма! Обитатель библейских скал, объятых безжалостным светом пустыни, — я так люблю эти матовые небеса умеренной Европы...

Да и в ином смысле весь этот день — череда туманных пейзажей, графика голых ветвей и ощеренные пиками елей черные пасти ущелий — выстроился так продуманно и точно, словно некий режиссер долго набрасывал мизансцены на бумаге, переставлял их местами, чиркал что-то, вносил изменения, но, подумав, убрал лишнее и, наконец, удовлетворенно откинувшись в кресле, велел собрать труппу.

И мы собрались, и после завтрака все же поехали, несмотря на дождь...

В гору, с которой открывался вид на весь Гейдельберг, рассыпанный по берегам реки, взбирались долго, витыми улочками с педантично расставленными на них указателями: «Кёнигштуль» — смешное, школьное, легко переводимое название...

Наконец, выкрутили на лесистую макушку, частью заасфальтированную под стоянку.

Для ослабевших от восторга туристов здесь был построен ресторан, к дверям которого по рельсам, проложенным от подножия горы чуть ли не вертикально, тяжело и долго вползала старинная вагонетка — желтая, с тремя ступенчато расположенными дверьми. Когда мы подошли к парапету, она только едва желтела среди елей внизу. Мы успели приблизить и исследовать в огромную подзорную трубу на высокой подставке старинный арочный мост с башенными воротами, полуразрушенный замок, знаменитый университет... а вагонетка все ползла и ползла — гудели рельсы, повизгивали провода, — и, наконец, вкатилась, вывалив на гору пассажиров тремя пестрыми языками...

Потом мы проехали к замку — величественным развалинам крепости династии Виттельсбахов, разрушенной некогда войсками Людовика Четырнадцатого — с циклопической толщины стенами, показывающими краснокирпичный испод, проросший давней травой.

Это был целый город, обнесенный рвом. Множество стилей сплеталось на огромном этом пространстве... Людвиги, Фридрихи, Генрихи тщились увековечить свои имена в башнях, рвах, подъемных мостах и гигантских винных бочках... Когда-то здесь была резиденция одного из блистательных дворов Германии... Увы — все пошло прахом. Хорошо, подробно, на совесть воевали в прошлых столетиях: крепость взрывали в какой-то старинной войне, сжигали...в нее попадали молнии... Династия Виттельсбахов беднела, не в силах каждый раз восстанавливать обширное это хозяйство; замок приходил в упадок и запустение...И только в девятнадцатом веке городские власти, спохватившись, принялись что-то реставрировать, заделывать, подделывать там и сям...(Моя бабушка, когда я в детстве являлась со двора с прорехой в майке или штанах, вдевая нитку в иголку: «А вот мы сейчас прихватим на живульку»... Долгие десятилетия эти живописные развалины немецкого Ренессанса «прихватывали на живульку», но, во всяком случае, отстроили неременный ресторан, выставочный зал и помещение для администрации «Фонда друзей замка»... Эх, создать бы этот фонд друзей до того, как взрывались пороховые бочки, летела за стены горящая пакля и ухали, содрогаясь, пушки «короля-солнце»...Да что поделаешь!

— ...кроме того, каждое лето здесь проводятся музыкальные и театральные фестивали, — добавил мой друг. — Декорации-то вон какие — роскошные, натуральные, романтические!..Представь какую-нибудь «Риголетто» или «Аиду» летним вечером на фоне вон той башни!

Долгий выдох тумана расползлся по каменным террасам...Великолепный замковый парк, расходящийся по склонам, изумлял гигантскими деревьями, изумрудными от сырого мха, и фонтаном, в котором полулежал большеголовый мраморный Нептун, похожий на лешего из русской сказки, — с лишаями плесени на плечах и зеленоватой бороде... Это было царство влаги, белых кувшинок на зеленой ряске воды...

Таблички вдоль дорожек, посыпанных мелкой галькой, предупреждали о том, что с наступлением темноты следует осторожно передвигаться, дабы не наступить на лягушек. Можно вообразить, что здесь творилось летними гремящими ночами, и как безжалостно давили лягушек ноги очередного юного Виттельсбаха, какого-нибудь влюбленного Фридриха, припустившего вдогонку за мелькающей среди кустов юбкой какой-нибудь Элизабет Стюарт...

Мы спустились вниз и долго гуляли под теплым дождем по блестящей черной брусчатке Старого города...

Завтракали на крытой террасе модного отеля, в доме семнадцатого века, перелопаченном классными дизайнерами так, что любо-дорого: посреди зала среди столиков росло дерево, выплескивающее макушку кроны в квадратное окно стеклянной крыши, повсюду на полу расставлены лампы в форме больших белых репьев, и маленький бронзовый Пан со свирелью у козлиной бородки, весело приподнимающая одно бронзовое копытце, но твердо упираясь в камень другим, прислушивался к журчанию воды в миниатюрном фонтане.

В уютном, изысканно обставленном фойе висели на стенах средневековые гравюры. Я отлучилась в туалет и на обратном пути задержалась у одной из них, на которой была изображена расправа над то ли неверной женой, то ли бесчестной девицей. Несчастную прикрутили длинными волосами к оглобле телеги и готовы уже были пустить коня вдоль по улице. Кнут в руках дюжего малого был поднят... Толпа вокруг с жадным интересом наблюдала за действием...М-да...

... А обедали уже за городом, в винарне. Это был приземистый деревенский кабачок: простые беленые стены, черные балки потолка, винные бочки вдоль стен... Два музыканта, очевидно, поляки — они подозрительно хорошо говорили по-русски, — бродили от стола к столу, наигрывая на гармошке и скрипке мелодии тех стран, к которым они безошибочно относили клиентов. Для нас, например, заговорщицки подмигивая и склоняя к нашим плечам скрипичный гриф, сыграли «Подмосковные вечера», а для шумной компании итальянцев за соседними сдвинутыми столами — «Вернись в Сорренто»... Мы молча выслушали преподнесенный нам «пряник» и также молча дали на чай пять евро; итальянцы же вдохновенно подпевали, дирижировали, не отпускали музыкантов, один отобрал у гармониста инструмент и под хохот приятелей пытался что-то из него извлечь...

В обратный путь тронулись в том же морозящем дожде, путаясь в длинных языках батистового тумана, ползущего с гор и бинтующего пики отборных, как строй гренадеров, неподвижных елей. Мокрые петли опасной дороги крутили автомобиль, как щепку. Клубни тумана восходили из черных щетинистых ущелий, на вершинах проплывали развалины башен, и время от времени слева разворачивалась долина с очередным белым городком, утонувшим в пенном облаке тумана по самые черепичные и сланцевые крыши.

По дороге мои друзья долго спорили, куда напоследок меня завести — в некий замок, где, по слухам, владелец, старый граф, одинокий бездетный аристократ, допускал туристов в свои владения за небольшую мзду, — или в городок Мюльхайм, где, как мне объяснили, издревле жили еврейские ремесленники... Я не вмешивалась в их спор, мне было все равно, куда ехать, не от равнодушия — от тихого блаженства, в которое я была погружена с утра, как низинные городки были погружены в туман по самые крыши.

Наконец, решили в пользу ремесленников — оно и ехать ближе, пока еще свет не вовсе ушел...

И минут через десять мы уже парковали машину неподалеку от стеклянного куба «Макдональдса», одиноко стоящего на обочине дорожной развязки.

Поодаль, в двух сотнях шагов, тянулась каменная стена средневековой кладки.

Нырнув в низкую и глубокую, как бочка, арку ворот, мы вынырнули на площади одного из тех туристических городков, будто срисованных с картинок из книги сказок братьев Гримм, которых рассыпано по Германии немало.

Все тут было как полагается: крошечная площадь с фонтаном, здание ратуши, старинные фахверковые, перечеркнутые черными балками, дома — как бы опившиеся пивом и потому слегка завалившиеся на спину. Фасады иных даже были покрыты граффити. На первых этажах размещались магазины сувениров, кондитерские, бары... — все тесное, кукольное, словно строители заранее тщились втиснуть все здания в кольцо городской стены.

Март, сумерки, отсутствие туристов... А горожане в это время уже укладываются спать — немцы рано начинают рабочий день.

Мы брели по совершенно пустынному городку, если не считать двух-трех за всегдаев баров, одиноко сидящих над кружкой пива в освещенном окне.

Мой друг, который непременно хотел отыскать и показать мне местную синагогу (все мои друзья в Германии почему-то одержимы желанием продемонстрировать мне какую-нибудь синагогу или, что чаще, — место, где она когда-то стояла), шел, озираясь в поисках какого-нибудь прохожего.

Наконец, из темной боковой улочки показалась женщина, и он ступил с тротуара ей навстречу, обратился по-немецки. Та охотно ответила, стала объяснять и показывать, но запуталась, махнула рукой и — так я поняла — взялась отвести нас.

— А вы не русские, часом? — вдруг спросила она с надеждой.

Мы радостно отозвались.

— Ох, ну какая же удача у меня сегодня! — воскликнула она. — Вот я с утра чувствовала — что-то хорошее случится... А я, знаете, так тоскую по русскому языку, иногда даже подкарауливаю группы туристов и тихонько так пристроюсь сбоку и брожу с ними по городу, заодно и гида слушаю... Я поэтому все памятники здесь знаю, и все факты истории...

Она вела нас скудно освещенными, уже погруженными в глубокие сумерки улочками, по пути оживленно выясняя — откуда мы и сколько лет в Германии, и как мы тут — вообще?

— Ну что Израиль против нас? — спросила она меня. Я сделала вид, что не поняла вопроса.

— В смысле — где лучше? — простодушно уточнила она. И я, которая никогда не позволяю втянуть себя в подобные разговоры, вдруг ответила:

— Конечно, в Израиле.

— И она улыбнулась и не стала возражать. Сказала только:

— Здесь очень чисто.

Выяснилось, что она из Магнитогорска, давно, лет уже тринадцать... Двадцать восемь лет замужем за немцем, трое детей... Ну и в начале девяностых муж стал задумываться... Жизнь как-то так повернулась, знаете... Боже, что с нами делает жизнь...

Я была когда-то знакома с режиссером магнитогорского театра и сказала ей об этом. Она ужасно обрадовалась — она вообще как-то мгновенно и ярко отзывалась на любое слово такой искренней приятнью... Ну как же — у нее свояченица работала там, в театре, бухгалтером, доставала контрамарки! — и минут пять, пока шли, мы обсуждали постановки и актеров...

Завернули на какую-то узкую улицу и в глубине ее сразу увидели маленькую изящную синагогу нездешней архитектуры — с высокими окнами, двумя тонкими колоннами по краям входной двери, классическим портиком... За окнами было темно.

В свете фонаря отблескивал пяточок бульжной мостовой. Непередаваемое одиночество и чужеродность этого здания среди кряжистых фахверковых домов витали над улочкой... Оно выглядело отщепенцем в компании добропорядочных бюргеров.

Наша провожатая сказала, что это — одна из немногих в Германии синагог, которая не была ни сожжена, ни разрушена. Более того, ее прихожане — сорок ремесленников-евреев — не были депортированы в лагеря и не были уничтожены! — В ее голосе звучала гордость новой гражданки за прошлое славного города.

— Представляете? — повторила она. — Не были уничтожены!

— Почему? — спросила я.

Она замялась — не ожидала, видимо, этого вопроса... Задумалась... Наконец ответила:

— Не знаю... Вот этого факта не знаю...

Мы постояли еще перед закрытой синагогой, потом побрели кружным путем к городской стене.

— И мэр у нас — замечательный человек! — говорила женщина. — Всегда приходит в синагогу на еврейские праздники, выступает: — «Мне без разницы, — говорит, — какой нации граждане. Главное — чтобы был порядок в городе...» Очень хороший человек... Я, знаете, уважаю вот людей, которые не националисты... Сейчас модно хаять и высмеивать это советское понятие — «дружба народов»... А я вот в середине семидесятых жила в Ташкенте...

— Тут я перебила ее, призналась, что родилась в Ташкенте, выросла и жила там много лет.

Она даже вскрикнула от радости... Мы наперебой принялись вспоминать любимые места, выискивать знакомых...

И хватая меня за руки, она повторяла в волнении: — Ну надо же!.. Ну вот как повезло мне!.. Я с утра чувствовала, просто чувствовала, что сегодня что-то произойдет!..

Мы дошли до городской стены, через все ту же глубокую мрачную арку вышли наружу. Пустой «Макдональдс» безнадежно и как-то безумно светился огнями.

Она провожала нас, не переставая вздыхать и сокрушаться...

— Эх, жаль, что вы прямо вот так сразу уезжаете! — говорила она. — Остались бы, а? Пошли бы мы завтра с вами в замок...Во-он там он, на горе, видите, какая громада? Графиня сама бы вам все рассказала и показала.

Я, уже открывшая дверцу машины, остановилась.

— Графиня? Сама?! С какой стати?

— Да она простая! То есть не простая, конечно, она португальская принцесса, но такая сердечная, такая живая... Издали завидит — машет рукой, кричит: «Как дела?» Очень сердится, когда обижают иностранцев. Я, говорит, сама иностранка...

— А вы, значит, хорошо знакомы с графиней?

Мой друг, мгновенно по лицу моему определивший, что я вышла на охоту (все-таки он и сам был литератором, издателем и книгопродавцом и понимал толк в таких вещах), только рукой махнул и достал сигарету из пачки. И они с женой отошли покурить.

— Так я же в замке работаю... Помогаю старшей горничной на приемах.

Да, это был поворот сюжета. Это была, как я догадывалась, запутанная дорога от Магнитогорска и Ташкента до сумрачной громады замка на горе и хорошей немецкой графини, которая сердилась, когда обижали иностранцев.

Тогда вам можно позавидовать, — сказала я с неопределенной интонацией. По опыту знаю, что только эта вот, незаинтересованная, интонация не насторожит человека и развяжет ему язык. А я давно уже не задаюсь вопросами нравственности в своем старательском деле.

— И не говорите! Много я повидала за эти несколько лет. За всю жизнь в Союзе такого себе и не намечтаешь... Впервые не в кино, а наяву увидела на дамах эти вечерние платья с оголенными спинами, глубокие декольте, бриллианты в диадемах и ожерельях... А мужчины все во фраках, грудь белая, бабочки...

— Изысканная публика? — спросила я.

Она ответила:

— Изысканная... Пока не напьются. А как напьются, они такими же, как мы, становятся...

— А на чем же в замок съезжаются эти бароны-графы? — спросила я, стараясь, чтобы она не заметила моего хищного интереса.

— На машинах, на вертолетах... У нас там, в горах, есть вертолетная площадка... Этот замок, знаете, национальное достояние. Он бесценный, просто бесценный! Под охраной ЮНЕСКО находится. А иначе у графини просто денег не было бы подправлять его там-сям. Здание-то огромное, это сейчас в темноте не видно — в будние дни, когда приемов нет, графиня слегка экономит на электричестве...

Однако темные очертания замка на горе, заслоняющего изрядный кусок неба, даже отсюда, снизу, казались величественными...

— Замок-то — настоящее сокровище... — повторила она. — Старый граф, когда нацисты пришли к власти, бежал со всем семейством за границу... Он всю жизнь был по дипломатическому ведомству и оказался замешан в одном деле... Я не очень вдавалась, когда графиня рассказывала, но, в общем, он выправлял подложные документы и помогал беженцам скрываться...

— Каким беженцам? — спросила я.

— Ой, вот я вам не скажу точно... — огорченно улыбнулась она. — Надо бы у графини спросить, она все знает, — ах, жалко, что вы уезжаете!

— Так он бежал с семьей за границу... а как же... замок?

— О, это история, прямо «Монте-Кристо»! Здесь оставался старый Рихард, управляющий, он, знаете, из семьи, что пятое поколение графам служит, — деды его, прадеды здесь жили в замке, дочь его Эльза сейчас старшая горничная... Ну так он все успел спрятать, все имущество!

— Все имущество? Такого громадного замка?

— Да! Да! Так Эльза говорит, а она не станет врать — зачем ей? Он с тремя своими сыновьями все спрятал в каком-то укрытии, в лесу... Так что почти ничего не пострадало, — ну кое-где в парадных покоях позолоту содрали и резные панели старинные сняли в дубовой зале... а так ничего. А после войны графы вернулись и привезли молодую португальскую принцессу. Говорят, в молодости была ослепительной красоты, южных кровей, знаете...Поэтому и дети — симпатичные, кудрявые. Много, все-таки, значит — свежая кровь в старинных этих семьях...

— И сколько же у нее детей?

— Трое. Сын и две дочери. Внуки уже немаленькие. И все, знаете, очень удачные: работающие, образованные, хорошие специалисты. Графиня — строгая мать, всех воспитала в труде. Поэтому все ребята стоящие. Недавно вот только переполох был со старшим внуком, Алексисом. Он учился в Петербурге, влюбился там в сокурсницу, а она совсем простая девочка, из Петрозаводска. Забеременела. Скандал! А он уперся: женюсь, и все! Порядочный, понимаете? Это их графиня так воспитала.

— Ну и как выкрутились? — спросила я.

— Пришлось документы девочке покупать...

— Какие документы?

— Что она княгиня.

— А разве в России можно купить такие документы?

— В России, деточка, — сказала она, — все сейчас купить можно...

Она вздохнула, поколебалась — говорить или нет, — потом решилась...— У нас, когда Эльза не в духе, она проговаривается. Хотя и — слов нет! — графине предана, как курица петуху. Но ежли что не по ней, ежли графиня в чем отказала — так и бурчит, так целый день и бормочет, сплетни вяжет...

— И что ж за сплетни?

— Да так, глупости... — неохотно проговорила она, вероятно уже жалея, что коснулась этой темы... — Бурчит, что графиня легко так решает эти семейные проблемы, оттого что в свое время и для нее пришлось документами озаботиться... Мол, старому графу, как только он узнал, что сын влюбился в девушку из монастыря...

— В какую девушку из монастыря?

— Так ее, вроде, в монастыре прятали... — пояснила моя собеседница. — И как уж там они с молодым графом встретились, неизвестно, но такая безумная случилась между ними любовь... Я уж не знаю сейчас — что правда, а что нет, но только старшенький-то у них сорок пятого года рождения... — Она вдруг умолкла, как спохватилась... — Ну и, словом, старому графу ничего другого не оставалось, как и ей документы выправить... Ой, да я же говорю — глупости все это, какая разница — кто, где... Эльза — просто старая сплетница!.. А насчет Алексиса я тоже думаю — совет да любовь. Подумаешь — простая! А наша-то императрица, Катерина Первая, — разве не простая была? Не Катька обозная?!

— И ничего, что ребеночек раньше родится. Это ж не средневековье какое, что девичу, бывало, привяжут волосьями к телеге — да и волокут по деревне... ужас!

— Вообще-то они небогатые, — сказала она доверительно. — Денег-то у них нет. Я месяца три назад была в крыле молодого графа, помогала с приемом в честь помолвки его дочери, средней внучки графини. Так я вам скажу: вот я —

эмигрантка, но как по мне, мое постельное белье куда лучше графского — крепкое, чистый хлопок и лен. Знаете, ивановская мануфактура. А у наших-то, у графьев, все белье, скатерти, занавески... такое все старое, тонкое, ветхое... Я перед приемами начищаю на кухне мятые их серебряные плоски-тарелки. Господи, — говорю, — да как же можно таким знатным гостям на такой рухляди подавать? А Эльза мне в ответ: — Ты только сдуру при графине этого не ляпни. Это посуда фамильная, с гербами, шестнадцатый век...

Мой друг с женой докурили свои сигареты, и он легонько постучал ногтем по стеклу часов... Мне сегодня еще надо было добираться до Дармштадта.

А наша провожатая никак не могла расстаться со мной, «ташкентской весточкой». Все время обрывала себя, спрашивала с надеждой:

— А Юсуфа Рахматуллаевича из «Узбекбирляшу», случайно, не знали? А Оганесяна — он в семидесятых был начальником главка?..

Мой друг открыл дверцу машины, сел за руль... Махнул мне нетерпеливо...

— Красиво у нас, когда охота...— сказала она. — Все егеря окрестные съезжаются, такие костюмы роскошные, все на лошадях... Рога трубят — аж досюда звуки доносятся, воздух-то какой у нас — горный, прозрачный...

Стали уже прощаться совсем. Я села в машину. А она все стояла у дверцы и, наклонившись к окну, повторяла:

— Вы еще приезжайте, я познакомлю вас с графиней, она простая, живая такая, вот на вас похожа, даже внешне... Португалия, а там Испания близко... Такие, знаете, черноглазые края...

— Знаю, — сказала я.

Мы стояли на перроне, ждали поезда на Дармштадт. Неподалеку от нас прогуливалась немолодая, но статная, с модной прической на красиво посаженной голове, женщина. Несколько раз мой взгляд задерживался на ней, и я вдруг подумала, что именно такой представляю себе графиню из замка.

И пока ожидала свой поезд, на перрон прибыла электричка.

Женщина вошла в освещенный вагон, села у окна и, стянув перчатки, принялась, глядя в свое отражение, взбадривать ладонью прическу, поддавая себе легких подзатыльников и похлопывая себя по вискам, словно приводя в чувство. Взгляд ее был направлен в стекло, в никуда — отстранен... Но я-то видела ее внутри освещенного вагона, и значит, наша мимолетная встреча все еще длилась.

Наконец поезд дрогнул, качнулся и поволок ее прочь, как волокли в старину неверную жену или потерявшую стыд девицу, прикрутив волосьями к телеге...

ЗА САЙГАКАМИ

РАССКАЗ

Я люблю эти вещи, написанные вчера, как сегодня, и сегодня — как вчера. Люблю древний взгляд задумчивых детей и младенчески сияющие васильки на чеканных, опаленных лицах стариков. Как и этот странный рассказ, попавшийся мне, конечно, «случайно» на назначенной криптограмме сопричастных дорог. А рассказу, оказалось, уже лет двадцать пять-тридцать, и кипение обреченных иллюзий в нем принадлежит совсем молодому, ранимому, профессионально притворяющемуся теперь зрелым и искушенным автору.

Есть такое обвальное мироощущение в проживании вещей до конца концов, до крайнего головокружительного предела, за которым и открывается их исконная глубина и неигрушечная бездна, те коробочки, что вложены одна в другую единым провиденциальным движением и что сухо постукивают одна о другую, обваливаясь карточными домиками и выстраиваясь нерукотворно в чертоги. Но люди дышат и бытуют поверхностно. И Светлана Василенко, как всякий большой автор, верным движением снимает с читательских глаз молочные бельма вещного мира, наматывая их на острое хирургическое перышко мастера и героя всамделишно голых иллюзий. Она пишет ни для кого и для Кого-то, кому твердит: я поняла, я вижу, я смею. И — распахнутыми глазами отлежанной души всех Иванушек-дурачков, всех прозябающе спящих красавиц — с ней прозревает и причастный существу читатель.

В этой ожившей живописи, писанной короткими выпуклыми мазками, мощный зрительно-повествовательный ряд, слагающийся во внутреннее кино. И этот врожденно-изобретенный прием еще ощутимее в более поздних, известных вещах писателя: мы читаем ее фильмы, мы смотрим ее прозу. Она пишет мир всегда впервые, наново, будто до нее ничего и никого не было, сотворит его с Творцом и удивленно наблюдает за отпущенным творением, в котором всегда проглядывают диковато наивные черты нового, непретворенного. Чувственна ее непорочность и непорочна ее чувственность, поданная детски, с недвижно и невидяще вбирающими глазами блаженно оглашенного.

Наш, прошлый, век разрешился зияющим духовным провалом и состоявшейся подменой сущего и Божьего на выхолощено потребимое, усредненно утилитарное. На то, что нельзя и невозможно любить. Антимузыка, смертопись и квазилитература проводят свои крикливые «биенале», растворив окна на помойку и истово молясь на черный квадрат Малевича, являющий собой их одномерное посмертное бытие. Грядущий хам уже пылливо разглядывает публику из дуроскопа. Он здесь. С нами. Он улыбается.

Именно поэтому я приглашаю читателя выключить назойливый черный свет и отправиться за реликтивно человечными героями этой тревожной, лепной и ощутимо рельефной кинопрозы назад, от эстуария к истокам: «туда-туда, в родные дали» — на ловитву души. За сайгаками.

Александр Радашкевич

Саше Ладошкину

Этого парня с длинным, почти безгубым ртом я где-то видела, казалось, что совсем недавно. Он смотрел на меня так пристально, как умеют смотреть только люди с бесцветными прозрачными глазами, оттого что главное в таких глазах — зрачки; этого парня на дно реки положить и над рекою склониться — в озноб бросит от пристального упорного черного льда со дна, будто и нет воды, будто один на один со зрачками. Лучше не смотреть. Я и не смотрела в его сторону, но мучительно хотелось повернуться и по-шутовски раскланяться с ним (и столько раз мысленно репетировала этот поворот и поклон, что по-настоящему заболели мышцы шеи). Я никак не могла вспомнить, где видела его (но видела! где-то видела! человек, который смеется? может, оттуда? но нет — сама когда-то видела — именно этот рот, этот длинный провал, называемый ртом, этот одновременно жалкий и насмешливо-презрительный рот — не поймешь: плачет или смеется?). И вся моя голова горела от нетерпения вспомнить, и я тихо покачивала головой, будто встряхивая калейдоскоп, помогая клеткам мозга передвигаться, чтобы, блуждая и натываясь друг на друга, радостно нашлись бы и воскресили — и свет, и запах, и мелкий камешек в руке — ненужный, но воскрешенный, — ведь был, и от него потела ладонь, — все бы воскресло, но не воскресало, и вдруг — да, да — чердак, слежавшаяся, затвердевшая пыль, на которой не оставалось следов: под босыми ногами она бесшумно растрескивалась, — голубиное гнездо и двое мертвых птенцов с неестественно длинными перевесившимися через край гнезда синими шеями; страшно сиреневое между хрящиками, печально-длинные рты, и их голые темно- (темное выступило снизу, недавно) голубые тела, и холод этих тел, холод, ни на что не похожий, ни на холод живого, ни на холод навсегда мертвой материи, это был холод смерти живого, которое уже мертво, но еще — не распад, не тление (распад и тление приносят новую теплоту — как начало новой формы не-жизни) — да, я держала в руках смерть, она беззащитна, у нее тонкая голубая кожа, и если надавить на кожу пальцем, остается вмятина, так и остается, будто всегда была, и она холодная, не так, чтобы очень холодная, но этого холода пугаются пальцы, будто предчувствуя, будто до себя дотрагиваются — через столько-то лет, когда умрут.

Там был еще третий птенец. Он был жив. Перевесив шею, как его братья, через край гнезда, он собирался умирать. Но пристально смотрел он на меня, он раз-зевал жалкий и одновременно презрительный длинный рот; он был почти такой же холодный, как его мертвые братья или сестры, но там, под тонкой кожей, билась и билась жизнь, и моя жизнь обрадовалась его жизни и поспешила спасти ее.

Я поила птенца молоком, он спал в кроличьих шкурках, но все больше холодел, ведь он долго лежал с мертвыми и заразился от них холодом. Я положила его к себе под мышку и заснула, я ведь хотела как лучше, ведь он пригрелся, а когда я проснулась — птенца не было. Были — выдавленные кишки его, пустая голая шкурка и горько-насмешливый длинный рот. Я заспала его.

Я вспомнила это, я горько нашла то, что искала: вот где я видела этот рот, и нигде больше. Но было, было что-то еще в моей памяти, тот некий камешек в потной руке, и это было вот что: там, уже на чердаке, я знала, что этот птенец похож на кого-то, что где-то видела уже этот рот. Круг замыкался, но никак не мог замкнуться. Я устала. В конце концов нашла: похож на птенца. Чего же еще? В конце концов, сидим в ресторане. И я успокоилась.

Мы с Ириной сидели в ресторане, зал был огромен, но пуст: был будний вечер. Был прожит тяжелый день, день солнечного затмения, и, говорят, много людей

умерло в этот день. Четыре столика подряд были заняты, все как будто прижались друг к другу, стараясь не глядеть на огромное пустое пространство зала, на блики пустых столов, будто люди, которые должны сегодня сидеть за ними, не смогли прийти, потому что умерли. Было полутемно, и над нами шелестели вентиляторы, словно захмелевшие и потому потерявшие способность улавливать какие-то свои хитрые волны летучие мыши, неуклюже ворочались, отбрасывая на потолок тени своих уродливых крыльев.

Было тихо и грустно в ресторане, и мы все почему-то разговаривали шепотом.

Окно было закрыто, и там, в обнаженной пустоте вымершего мира, качался засохший от жары вяз. Шума ветра не было слышно, и казалось, что вяз качается сам по себе в неподвижном пространстве, расшатывая сам себя, и в своей тупой обреченности был почему-то похож на китов, выбрасывающихся на берег.

И долго я смотрела на вяз, и он стал неподвижным, а качались мы вместе со столиками, едой и питьем, и почудилось, что только двенадцать человек и осталось в этом ресторане от всего человечества, что мы — десять мужчин и две женщины — и есть человечество, и боимся потерять друг друга, спаслись и жадно глядим друг другу в глаза, потому что плыть предстояло далеко, но никак не могли отплыть от неподвижного вяза...

Но это было не так: четверо расплатились и ушли, и на их место пришли еще четверо — совсем молодые лейтенанты в полевой форме и совсем не старый майор, звездочки его были новенькие, счастливо и гордо блестели они в полутьме погон. И эти четверо знать ничего не знали о нашем ковчеге, о всемирном потопе и о солнечном затмении: днем они спали в потных постелях купейного вагона, по очереди ходили в крепко и навечно пропахший мочой липкий туалет, по очереди и вместе приставали к горластой проводнице («проводница, проводница — шелковистые ресницы»), пили спирт (по-сибирски — полоскали спиртом горло, а потом глотали); затем сбросили свои чемоданы в номера гостиницы и вот снова пришли пить, стараясь раскидать скорее свои командировочные, — в пустой ресторан, надеясь уйти оттуда не одинокими.

И уже начиналась игра, ради которой, скрывая друг от друга и от себя, пришли в ресторан мы. Вернее, она началась давно, тогда, когда официантка с усталоневбрежной усмешкой профессионала, знающего все правила этой игры, со взглядом, полным скорбного всеведения, с высокомерностью отрешенного человека, организующего, но не участвующего и презирующего эту игру, посадила нас под единственно горевшей в зале люстрой, так что волей-неволей на нас должны были смотреть все. Эта официантка была похожа на учительницу, и я совсем по-детски вдруг начала стесняться ее.

Я стеснялась своего платья, хотя оно было красиво и шло мне. Просто я всегда ощущала какую-то страшную зависимость свою от одежды. Открытые платья приводили меня в трепет: я чувствовала невидимую работу постоянно размножающихся клеток кожи на руках, ногах, шее, груди; руки, ноги, шея и грудь были как что-то отдельное от меня, независимо и самостоятельно существующее, имеющее свои, несхожие с моими мысли и желания, и, беспомощно и беззащитно открытые, они вызывали во мне смутную жалость к бесполезности их жизни, не соединенной с моей, и смутное знание, что их жизнь — их неудержимое стремление к обновлению и красоте всей природы, — главнее и значительнее, чем моя жизнь. И потому, когда они были открыты — они управляли мною, я их боялась. И потому усмиряла свою плоть закрытыми — до подбородка — свитерами, я ходила в брюках — и плоть моя спеленутая молчала, изредка вскрикивая. А сейчас я сидела в платье, его змеиный зеленый шелк стал моей кожей, и оно чувствовало мое пока еще боязливое и смущенное тело, постепенно понимающее и чувствующее, что сегодня будет его, тела, праздник, его, тела, торжество. И я осторожно и трудно привыкала к этому чувству и к этой мысли тела.

Офицеры разглядывали нас, как знатоки разглядывают монету, суетливо-тщательно и с равнодушием и достоинством посвященных, дабы не попасться на фальшивке, и с нетерпением истинных коллекционеров; невзначай прикусить: золото, подделка? Стоит или не стоит связываться?

Потом мы услышали приказ майора: «Худенькая твоя, а мне потолще. Действуй!»

И «мой» лейтенант, быстро склонившись к столу и опрокинув в себя рюмку и выдохнув в лицо майору: «Есть!» — внезапно и незаметно, как распрямляется согнутая резиновая игрушка, встал, черный и гибкий, и, глядя вдаль, поверх наших голов, направился к нам.

Он шагал, как на парадах, оттягивая носок, но это не казалось смешным, потому что у него были красивые ноги, и он это знал и любил их, он знал, что выполняет приказ, и был уверен, что именно так, весело-серьезно, необычно оттягивая носок, и следует исполнять такой весело-серьезный и необычный приказ. И вдруг я поразилась тому, как неотвратимо, парадно-торжественно приближается Оно — то, о чем в свитеречной темноте и бесполезности думает тело.

Он прошел мимо нас.

Мы выдохнули разом и — будто знать ничего не знаем, будто не слышали ничего, будто не видели никого — заговорили, засмеялись, не слушая друг друга, но хаос из пустых слов и смеха невпопад не был хаосом, а был целен и шарообразен, в середине шара было общее чувство — лавинного облегчения — оно то и притягивало пустяковые, как железные стружки, слова. Мы никого не замечали сейчас, мы с Ирой были как «вещь в себе», эдакая «монета в себе», и я любила Иру за то, что когда она смеялась, то ямка под губой все время пачкалась помадой, и нужно было все время следить за этой ямкой и вытирать ее салфеткой и смеяться вместе с Ирой, потому что ей щекотно было, и вся я, казалось, была поглощена заботой о чистоте Ирино подбородка, но все это время, пока говорила и смеялась, слышала, как мерно удаляются его шаги, как гремит он шпингалетом у окна, как раскрываются окна, как зашумел, будто его включили, словно радио, ветер; чувствовала, как вкрадчиво обволакивает шелк теплым воздухом и шелк становится теплым и живым, и непонятно уже: платье потеет или тело. И спиной чувствовала, как приближается он, «мой» лейтенант.

А дальше все было просто, то ли потому, что там, на улице, неожиданно запел Челентано, и голос его был раскован и хрипл — и нам — нам троим — передалась та западная раскованность и легкость, то ли потому, что после неудобства, стесненности и напряжения неизбежно должны были наступить легкость и простота, и по правилам игры это тяжелое напряжение было недаром, и чем сильнее оно, тем легче и проще потом.

Его звали Владимир, и это неудобное для произношения имя мы переделали в легкое и простое — Вова. Он был из Сибири.

— А город?

— Военная тайна!

— Мальчиш-Кибальчиш?

— Не дослужился, у Кибальчиша одна звезда, но большая. Вон Кибальчиш, позвать?

Майор был рыжий. Его звали Петр. Имя его мы не переделывали: Петр — так было смешнее. Он принес графин с водкой, и мы выпили за знакомство. Все уже определилось. Можно было уже не спрашивать, не отвечать, а только смеяться. Что бы ни говорила я, что бы ни говорила Ирина, что бы ни говорили Петр и Вова, все это не имело никакого значения. Та «монета в себе» увеличилась, вобрав в себя Петра и Вову, чтобы потом распасться на две «вещи в себе»: Вова смотрел на меня, Петр смотрел на Ирину, — чтобы потом распасться на четыре — уже навсегда. И это было похоже не на придуманные людьми правила игры, а на учебный фильм о жизни амебы: вот она питается и растет, вот вытягивается ядро,

вот две расходящиеся половинки ядра, перетяжка, разрыв цитоплазмы, две новые амёбы — и титры: «В течение суток деление может повторяться несколько раз», — и поэтому наша беседа имела такой же древний смысл, как вытягивание ядра перед тем, как ему поделиться, и потому велась сама собой.

Вова говорил о том, что едят в Сибири, а именно: оленину, медвежатину, рыбу форель и другие редкости. Я удивлялась, как легко и красиво он говорит. Люди хорошо говорящие поражали меня, и я, оцепенев, могла смотреть на то, как они говорят, не вникая в смысл, часами, это чувство было сродни смешанному чувству собственной ущербности и восхищения, с этим чувством я смотрела на прекрасные лица, на стремительно бегущие в ночи сверкающие трамваи, на медлительно переливающиеся движения кошек и на удивительный цвет кожи негров. Я говорила трудно, произнося каждую фразу в голове, строгая ее в себе, и потому фразы выходили на свет запоздалые и деревянные. Но иногда говорила хорошо, не понимая, как это получается, даже не зная точно, что говорю, слушая свои фразы как чужие, и потом пересказывая свои произнесенные фразы самой себе, удивляясь их смыслу, тому, что высказанная мысль никогда не приходила мне в голову и, значит, была совершенно независима от меня.

И я замороженно наблюдала, как легко вылетают слова из Вовиных губ, будто он их выдыхает вместо воздуха, и они пузырились на его губах и лопались. И я смеялась, когда надо и когда не надо (мне что-то далекое и смешное приходило на ум), и смех пузырился на моих губах. Так мы сидели и пускали пузыри. Ядро все вытягивалось и должно было скоро поделиться, и я, все так же смеясь, почувствовала, что по-другому смотрю на Вову. Глаза мои разогревались, они были горячи, я поднесла к ним тыльную сторону ладони, и кожа почувствовала большую, чем сама, теплоту. Раньше, когда роговица была холодна, не теплей остального тела и гораздо холоднее, чем душный воздух в зале, предметы и люди виделись мне нерезкими и расплывчатыми, с дымчатым ореолом, словно роговица была запотевшим стеклом; теперь же предметы и люди обрели резкость, но не фотографическую, а скорее рентгеновскую (но перекрашенную: череп будет черен, плоть — белой), обнажающую конструкцию, реальность обрела угловатую завершенность скелета (вместо плоти, заполняющей и налипающей на конструкцию, — пустота белого сияющего пространства), будто я вышла вдруг на морозный воздух, где даже дымы из труб тяготеют к плотной графической выраженности, а дома — к хрупкой прозрачности, так оно и было: глаза становились горячее и горячее, и тепло, надышанное за день солнцем и людьми, казалось им холодом. Я вдруг увидела уютный зал ресторана, распаренных влажных людей (и кожей и вздохом я по-прежнему вместе с ними ощущала духоту и жару) — в морозном ярком свете, и холод высвечивал то, что навсегда останется: вечным будет стул, его конструкция, вечной будет конструкция стола, вечен — холодный блеск ножей и вилок, вечен скелет человека — пусть меняются мысли, страсти, — скелет останется вечным, а теплота, обволакивающая нас, — теплота плоти, крови, страстей, смеха, мыслей уходила в покрытые изморозью трубы вечности, тяжело копилась — и превращалась в общую концентрированную теплоту, — я видела две вечности. Мой горячий глаз, замураванный в холод горячего мира, тоже был моделью мира и изнемогал от простоты и тривиальности мира, открывшегося ему. Я видела вечную конструкцию из ослепительно блестящей проволоки волос по-детски улыбающегося майора, я видела смуглый череп лейтенанта, я видела безгубый насмешливый оскал парня и колышущееся тепло тело моей подруги — все сиюминутное и вечное, и их улыбка, смуглость, презрение, колыхание плоти — все то главное, что было в них сейчас (и многое, многое главное, чего не было сейчас), все это должно было уйти в хрустальную бездну, в безликую сконцентрированную теплоту, оставив вечным то, что в них было неглавным: проволоку волос, череп, оскал черепа, кости таза, — и этот уход не был простым уходом, а был ритуалом,

танцем, в котором я, несмотря на свое всевидение, неизбежно должна была участвовать; мое всевидение было равно слепоте, и ум мой возмутился, но возмущение было бесплодным, бесполезным, предусмотренным, давно вплетенным в общий рисунок ритуального танца, и я возжелала не видеть ничего и не чувствовать свой ум, и резко несколько раз повернула голову — налево-направо, ведь ветер на морозе обжигает глаза и вышибает слезу, и я, так вертя головой, создавала ветер — и заплакала, и слезы охладили глаза, они больше не видели так, как видели, и в них не было больше знания и глупого ума, который не может никому и никогда помочь сохранить главное.

Я медленно начала свой танец, которого от меня, наверное, так долго ждал мой лейтенант: я начала глядеть на него, как глядят шлюхи, — пристально и ласково-завывно, будто уже нет никого и мы одни, только стол мешает, ну а стол — он на то и стол, чтоб его обойти, — и глаза мои блестели и были холодны, как умытая клюква.

— Вова, — сказала я, хотя ничего уже не надо было говорить, и именно поэтому необходимо нужно было что-то сказать.

И вдруг что-то грохнуло за моей спиной. Я обернулась.

Там, у окна, стоял парень с безгубым ртом. Он стоял, невысокий, костлявый, широкая белая рубаха и рядом с ним белая штора надувались, как парус, и опадали, в них бился горячий ветер, лицо парня было розово и гневно, пристально, как в пустоту, смотрел он на меня, горько-насмешливо кривился его длинный рот. Тяжелые темные бутылки с шампанским, из которых он расстрелял пустое пространство за окном, сжимал он за стеклянные горла, и из задыхающихся горл били струи и пенились в подставленных ковшом ладонях его пьяных друзей.

— Салют! — крикнул он мне, и голос его был так тонок и пронзителен, что, дрожащий, завис в воздухе, как паутина, готовая вот-вот порваться, сверкающая и натянутая; губы его дернулись, будто хотели заплакать. — Это салют!

— Ура! — сказала я тихо, машинально, а потом подумала: «Правильно, если это салют, то — ура!»

И вдруг я почувствовала: этот парень все понял. Понял, что мне открылось, понял, почему оклюквились мои глаза. Его ум вслед за моим запоздало возмутился и протестовал против извечного танца. Но горький протест этого парня выглядел таким дурацким, что губы горько-насмешливо кривились, будто следили за парнем и понимали все.

Он не знал, этот парень, что я чувствовала в себе одну вещь, которую ум мой, ослепленный увиденным, никогда не знал и не чувствовал. Он не знал, этот парень, что, кроме ледяной вечности конструкций и теплой вечности, шибящей в нос крепким спрессованным потом миллиардов подмышек и пахов, есть третья вечность.

И я чувствовала через мысли свои и характер, через лицо свое и глаза, через улыбку и походку — эту вечность: в себе я хранила моих предков, я чувствовала их в себе и бережно, как вечный плод, носила в себе; они жили во мне, как в общежитии, каждый в своей клетушке, часто чужие и враждебные друг другу, как свекровь и невестка, но мне они были родные все, как свекровь — бабушка, невестка — мать, и я была будто комендантом в этом общежитии, где все жильцы родные. Я все помнила, не памятью, а собой, — и так жила, будто была и будто меня не было, и неизвестно было, что мое, а что не мое, меня не хватало, чтобы постичь себя, потому что меня, одной-единственной, — не было. Так было сложно жить, но не одиноко.

Он не понимал, этот парень, что смерть, естественная смерть, — это только хитрость, придуманная всем живым для того, чтобы обмануть глупую мертвую материю и — сохранить жизнь главному. Жизнь притворилась покорной судьбе.

И этот парень не знал, что эта вечность, притворяющаяся фаталисткой, фатально непредсказуема. Этот парень не знал, что, сидя вот так с клюквенным взглядом шлюхи, это сидела не я, а моя прапрабесстыдница где-нибудь в мебелированных комнатах или моя петербургская прабабка, представляющая бесстыдницу на театре, и я могу пялить глаза всю так бесстыдно, но неизвестно, что из этого выйдет: то ли все пойдет, точно по пьесе, фатально предсказанно, то ли непредсказуемое ворвется в мебелированные комнаты, где все казалось предсказанным, — ворвется мой пращур, не имеющий отношения ни к комнатам определенного назначения, ни к театрам, — с дубинкой или в черной скуфье.

— Черт какой, а?! - крикнул Вова, и я увидела крупные белки его глаз, убегающие в глубь зрачков серые радужные оболочки, — глаза его от восторга будто дышали, как потные бока усталого серого коня. — Мне нравится этот парень, а?!

И я поняла: мне тоже нравится этот парень. Мне, Вова, очень нравится этот парень. И уже фатально и непредсказуемо он подходил к нашему столу, по-дурацки встряхивая бутылки, заткнув их большими пальцами, и внутри бутылок рождалась темно-зеленая пена.

Я, полуобернувшись, ждала, когда он подойдет, и знала, что он скажет, когда подойдет. И он сказал то слово, которое я ждала: «Выпьем!» — крикнул он. Но крикнул так громко и пронзительно, как никто не ждал, и все вздрогнули, и он сам вздрогнул от своего крика и закричал еще громче и пронзительней, скороговоркой, чтобы мы привыкли к его голосу и он не казался странным: «Выпьем, выпьем! У меня еще осталось, что-то ведь осталось, за приезд, вы же приехали! Полусладкое, «Советское», еще есть в бутылках, не хватит — закажу, вы же приехали, за знакомство», — но к его голосу нельзя было привыкнуть, как нельзя привыкнуть к звуку несмазанных дверей, как нельзя привыкнуть спокойно смотреть на утопающего, если он просит — пронзительно — о помощи, и мы лихорадочно схватили свои рюмки, не замечая, что они слишком малы, эти водочные рюмки, для шампанского, подставляя их, чтобы он замолчал и занялся делом, чтобы спасти эти обезумевшие жалкие зрачки, бегавшие, будто бегают по берегу родственники того пронзительно кричащего утопающего.

Когда он наливал шампанское в мою рюмку, рука его дрожала, и, не рассчитав величину рюмки и тяжесть бутылки, он налил через край, и влага по моей поднятой руке потекла вниз, в подмышку, потом по ребрам, отделяя кожу от шелка. А он все лил.

— Хватит, — сказала я тихо, потому что после пронзительного крика в звонкой оглушенной тишине уже начали выступать один за другим звуки, как предметы в темноте, когда к ней привыкнешь, и я не хотела, чтобы мое слово нарушало тихую последовательность воссоздания той тишины, которая была до его крика — глухо-гудящей: «Хватит», — сказала я тихо.

И парень резко поднял бутылку. Так резко, что бутылка нижней тяжелой частью ударила по моей рюмке, и тут же я услышала пронзительное «прости!» и, оглушенная, бросилась собирать на полу осколки то ли рюмки, то ли тишины, почти ненавидя этого парня, который бессмысленно топтался по стеклу, и оно хрустело под ногами, обувными почему-то в кирзовые сапоги, которые выглядывали из широких брючин.

Я собирала осколки одной рукой, зажимая их в ладони большим пальцем, а другой размахивала перед собой, отгоняя парня, задевая его лицо и руки, но не могла отогнать от себя его пронзительный голос, буравивший мои уши, и мне захотелось ударить его по губам, по безгубому рту, из которого исходил сплошной без перерыва голос: «Отойди, я сам, это я виноват, я, бутылка-гадина, я сам...» — я разогнулась, чтобы ударить, но увидела под своими глазами его голову, белые, как слоновая кость, редкие волосы и ярко-розовую, как у младенца, кожу, из которой

росли волосы, и желание ударить и жалость к его младенчески-розовой коже слились в моем крике, похожем на визг: «Замолчи!»

Парень попятился и сел на стул у соседнего свободного столика, и виновато глядел, как я выковыриваю, рискуя обрезать, стекло из паркета. Стекло туда вмяли его сапоги!

Тишина вновь устало восстанавливала себя, вновь создавала себя такой, какой должна быть, медленно и стремительно, как проявляется фотография.

Покойно колыхалось смеющееся тело Ирины, и подбородок ее был густо испачкан красным, и я невольно на мгновение испугалась за нее, связывая острые осколки в своей руке и кровавую полосу на ее подбородке, как причину и следствие. Петр тоже смеялся, глядя на Ирину, и тер свой подбородок там, где Ирнин был испачкан, и было неизвестно, видят и слышат ли они нас.

Спокойно, по-хозяйски смотрел на меня Вова, он подсказывал мне, где лежат те осколки, которые видны ему; он постукивал своей рюмкой по колену и, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону так, чтобы стекло обнаружило себя сверкающей гранью, удовлетворенно, когда я находила осколок, говорил: «Глаз у Вовы — ватерпас. Вон еще один, да нет, прямо. Лучше бы официантку с веником позвать, копаешься...»

Но я знала, ему нравится, что именно я собираю осколки, это было по-хозяйски, и мне нравилась моя роль приниженной хозяйки, и еще казалось, что ему хочется разбить и свою рюмку, как то полагается гусарам, но он не решается, это выглядело бы в данную хозяйственную минуту нелепо и разъединило бы нас. Наконец я собрала все осколки, их было много, но все они были мелкие и уместились в одной руке, и понесла их за перегородку, отделявшую зал от буфета и кухни.

Там, за перегородкой, сидела официантка и смотрела телевизор. Телевизор стоял на газовой плите, плита была без конфорок и решеток, наверное, ее списали и заменили современной электропечью. Видно было, что официантке скучно смотреть телевизор, но смотрела она напряженно, тайно радуясь, что не напрасно, с пользой для себя и своего духовного развития, уходит ее скучное рабочее время. Здесь было слышно все, что происходит в зале, и она наверняка слышала крик парня, мой крик и звон разбившегося стекла и, тоскуя оттого, что сейчас кто-то войдет и попросит убрать разбитую посуду, напряженно вглядывалась в экран телевизора, отдавая минуту, когда придется встать. Я вошла, ее перевернуло, но она не повернулась ко мне, а только еще тоскливей впилась в телевизор, вбирая в себя последние кадры, и мне казалось по мучительному, сдерживаемому покачиванию ее головы, что она хочет убыстрить эти кадры, чтобы увеличить для себя спрессованное в них время, свободное от нас.

— Вот, — сказала я, протягивая ей ладонь с осколками и глядя не на нее, а в телевизор. — Рюмка.

— Только? А шуму-то, — сказала она, не поворачиваясь, и я почувствовала, как она расслабилась и время потекло для нее по-прежнему медленно.

— Куда выбросить?

— Туда, — кивнула она, не спуская глаз с телевизора, и я обиженно подумала, что надо бы написать жалобу на официантку и ее телевизор.

Когда я высыпала стекла, один осколок прилип к пальцу, и я другой рукой попробовала стряхнуть его, но он глубоко вонзился мне в палец, и я постояла над ним, тихо ожидая, когда ко мне придет чувство страха и любопытства, зная и предчувствуя, как все будет дальше. Потом я раскочала и вытасила стекло, как жало, быстро и осторожно. Пошла кровь. И чем больше вытекало ее, тем сильнее становилось детское чувство ужаса перед тем, что никогда не должны видеть, жалости к онемевшему пальцу, который должен умереть, потому что из него выльется вся кровь, и тайное торжество, что у меня, что не у вас вытекает такая красивая буйная жизнь, что во мне живет сама по себе такая красивая, сильная

кровь, — и прикрыть рукой и показывать только друзьям, сгрудившимися, как стадо, глухо почуввавшее опасность, и бежать, плача, завывая от жалости к себе, от ужаса, что могу умереть, и торжественно крикнуть маме: «Кровь! У меня кровь!» От всего этого во взрослой жизни ничего не осталось, если не прислушаешься к себе, кроме слова, которое я выговариваю сейчас внешне спокойно, но мысленно торжествуя, потому что маленькое несчастье оторвет официантку от телевизора и на какую-то долю времени моя кровь сблизит нас.

— Кровь, — сказала я.

— Обрезалась? — спросила она меня машинально-участливо. И не повернулась.

И я тихо заскулила, слизывая кровь с пальцев, она была почему-то кисло-сладкой, как шампанское.

Какого черта эта тетка должна была поворачиваться ко мне, какого черта она должна сблизиться со мною из-за какого-то пальца, когда, может быть, каждый день она видит разбитые в кровь морды и должна из-за этого отвлекаться от телевизора и звонить в милицию, может, ее тошнит от крови, и если б не надо было вызывать милицию, глаза б ее не глядели на эту чужую пьяную кровь напоказ, а сейчас не надо милиции...

Я не заметила, почему она вдруг оторвалась от телевизора и подошла ко мне. Она взяла мою руку и сказала, глядя в сторону: «Ох, бабы, каждый месяц из них течет, а палец обрежут — и в рев», — и ее грубые слова, какими, наверное, и должны говорить официантки, были не похожи на ее строгое лицо учительницы.

Она открыла духовку, и зев духовки был неожиданно бел, и достала оттуда бинт и склонилась над моим пальцем, а я, будто перенимая от нее эстафету, тупо, поверх ее головы уставилась в телевизор, словно нельзя было оставить без присмотра бегущие, как время, кадры.

— Я попрошу! Сам! Фужеры! Пять, нас пять, шампанское, — услышали мы пронзительный голос и поглядели — в первый раз — друг на друга, мы не сблизились с официанткой, слишком легко, наверное, я обрезалась для этого, но что-то все-таки тронулось, потому что я спросила ее: «Вы знаете этого парня?»

— Нет, — сказала она, — не знаю, но где-то видела.

Он вошел в наше затишье, бормоча и вскрикивая («Пять фужеров и бутылку»), и здесь, в чистой, отделенной от возбужденной похотливой части зала комнатке, почти домашней, я подумала, что голос его неопрятен, от него морщишься, как от запаха нестиранных носков, и что парень пьян, а я слишком трезва. И он, почувствовав мою мысль, перешел на шепот, губы его мучительно кривились, удерживая неподвластный им голос, и там, где в словах были звуки «ш» и «ж», он резко посвистывал: «Мама-ш-а, ш-ам-панское, по-ж-алуйста, и фу-ж-еры, пять: четыре плюс один лиш-ний — всего пять». Официантка ушла.

Он вдруг увидел мой забинтованный палец и шагнул ко мне. Он сделал шаг, и тело его продолжало падать вперед, будто еще не поняв, что ноги остановились, и я убрала руку за спину, словно этим могла остановить падение его тела, — и оно остановилось, и его повело назад. И так качалось, упруго и резко, как пружина, закрепленная внизу.

— Пока-ж-и, — просвистел он, и я гордо показала ему свой красивый бело-снежный палец, и его лицо мгновенно и незаметно застыло и превратилось в маску боли и ужаса, и в этой застылой маске провал рта, возвышенность носа, провалы глаз и возвышенность надбровий теряли свое конкретное назначение и были как затухающее и ускользающее движение волны той мгновенной судороги, превратившей его лицо в маску, и я инстинктивно пожалела его, мгновенно почувствовала боль его обрезанного пальца, забыв, что это мой палец обрезан.

А он стоял и раскачивался, будто плача всем телом, раскачивался, как перед этим раскачивался вяз за окном.

— Это я, опять я, видишь, это я: из-за меня снова, — пробормотал он скрипучей скороговоркой, и я вспомнила, что это мой палец.

— Все, уже все, — сказала я и встала к нему совсем близко, чтобы уменьшить амплитуду его покачиваний.

— Уйдем, — сказал он вдруг, — убежим давай, пока они, — он оглянулся, — там ждут фужеров. Уйдем в туалет. А потом убежим, а они пусть — шампанское...

— Нет, — сказала я и зачем-то добавила. — Потом, может быть, потом.

Мы вошли в зал следом за официанткой, и Вовина циничная фраза: «Смертью храбрых?» — о моем запеленатом, как мумия, пальце была мне почему-то ближе, чем гримаса боли на лице парня. Клюквенный взгляд не получался у меня, но я знала: необходимо, чтобы он получился, — и тогда все пойдет как надо.

Я выпила, и еще, и со мной пил мой лейтенант, и слепо смотрел на меня лейтенант, я видела его ласково-влажные белки, смугло-голубые, словно очищенное от скорлупы куриное яйцо. И я вся без остатка превращалась в тело, бесстыдное, до озноба жаждующее, ум мой пытался противиться этому, но был уже чужой мне, и тело, жадно рассасывающее его, как гнойник, грозящий ему гибелью, из расслабленно-чувственного постепенно становилось тупо-осмысленным, как взгляд зверя, оно осознало себя и не верило еще этому, и потому тяжело и пристально наблюдало в себе рождающуюся цель, осязаемую, обоняемую, сладко-мучительную, дремучую, оно смутно помнило, что именно так ощущало оно себя миллиарды лет назад, будучи клеткой, только что появившейся из неживой материи, именно так изнемогала клетка от одиночества и, готовая одновременно и к смерти, и к счастью, — разорвалась пополам, запомнив навечно тот миг, подарив память о нем — моему телу. Но странно: тело мое хотело остаться с Вовой (Вова был смугл, а белая, неспособная к загару кожа парня мне, как и всем людям, выросшим на песчаных берегах больших рек, казалась чем-то неприличным и чужим), но меня тянуло уйти с парнем. Может, оттого, что с Вовой все казалось ясным и угнетало, как бег на месте, а с этим, даже имени его не знаю, все было неизвестно, как и то, чем закончится наш побег. Мы должны были убежать с ним.

(Внимательно следите дальше: где-то здесь начнется неправда, где — я и сама не знаю.)

Я взглянула на него, и он все понял. Мы понимали друг друга, как молчаливые звери. Сумку нужно было оставить. Я медленно, так, чтобы они не трещали, открывала «молнии» на сумке, придавливая их хрустящие голоса пальцем: мне нужно было узнать, есть ли в сумке документы (деньги были у Ирины). В сумке лежала детская книжка «Доктор Айболит», пудра и помада. Память о документах и деньгах была механической, инстинктивной, движения были четкими, тело было умным без ума, оно, увидевшее цель, напряглось и собралось, как умное тело зверя, и все совершалось независимо от меня, как то бывает в снах.

И как во сне я увидела, что Вова искоса наблюдает за мной, и не осознала этого, но затаилась, и начала дергать «молнии» туда-сюда, будто просто так, и почувствовала, что хочу, чтобы «молнии» сломались, так как было жалко оставлять новую кожаную сумку, а если бы «молнии» сломались, было бы не так жалко потерять ее навсегда.

Парень тоже увидел Вовин взгляд и то, как я затаилась, но, наверное, подумал, что я смирилась и решила остаться, уж слишком машинально и потому обреченно я двигала «молниями», и они создавали ритмичный урчащий звук, будто нарастающее мурлыканье дремлющей кошки. Наверное, поэтому, страшась моего жаждущего и смирившегося тела, пытаюсь заглушить обреченный, убыстряющийся ритм моего падения, неизбежного, как неизбежен танец первобытных народов, если ускорить ритм тамтамов, он закричал: «А у меня есть раки! Целый портфель раков, уже вареные, можно кушать, но холодные, но кушать можно, наловили сегодня, вареные раки!»

Он бросал их на стол, и они падали с сухим стуком, как красно-оранжевые гробы, имеющие клешни, чтоб самим хоронить в себе своих мертвецов, и черные, будто выдавленные из отверстий, глаза; их запах был сладковат, а вместе с запахом специй еще более омерзителен и тошнотворен: от них разлило распадом и тлением, сваренной вместе с укропом расплзшейся плотью. Я не могла смотреть, как разламывают их красные остовы, я не могла вынести этого, будто пожирали мою смердящую плоть с выпученными мертвыми зрачками. И слух мой не мог вынести задыхающегося свистящего шепота, душливого, проникающего в послушно открытые поры моего тела; в темных порах свистело, как в сквозных туннелях от приближающегося поезда, и свист ударялся о костяк моего скелета и эхом уходил обратно по этим туннелям в пространство, и вся я была губкой, вобравшей свист: «Тебе все равно с кем, беги, за дверь, я через минуту, жди, у меня еще есть, все равно с кем, я же весь вечер, я всю жизнь, а он так, тебе все равно, и ему все равно, а мне, беги...»

Я встала и очень быстро и очень прямо, боясь расплескать поднявшуюся во мне дурноту, неся себя, как помойное ведро над паркетом, пошла — по паркету — к лестнице, по ковру на лестнице, по мрамору вестибюля, по металлической решетке у входа (руками — по дереву дверей) — и за двери в темноту, за угол, по асфальту (горячей щекой — о щетину вяза), за угол, по земле — на горку, ногами-руками по теплой земле, руками обнимаю деревянную трубу, потому что горка была не горкой, а земляным складом, и с этого склада, и с этой обледенелой зимой горки мы катались в детстве на досках от посылочных ящиков, и мы летели на них далеко-далеко, и пока летели, мальчишки тискали нас и, тиская, целовали слюнявыми, как у лошадей, губами, и слюна их была пресной и чистой, как вода, как собственная слюна, и мы облизывали их слюну со своих губ и шли, падая, в гору, чтобы все повторилось.

Я увидела его сразу, но не поверила своему зрению, потому что было темно, и я долго вглядывалась в темноту, глаза были готовы поверить во все, что померещится. Он стоял под вязом, из окна на него падал свет, он крутился на месте и был похож на упавшую с дерева во сне белую птицу.

— Эй! — сказала я, и он полез на гору, помогая себе руками, а белая рубаха за его спиной болталась, как подбитое и бесполезное крыло, и я боялась чего-то смутно, потом поняла: боялась, что вернется вечерний сумасшедший ветер и унесет его, подхватив за обвисшее крыло.

Он уцепился за трубу и хотел что-то сказать, но я плотно зажала его горячий рот ладонью, потому что из темноты в объемную светлую дорожку впрыгнули трое, карикатурно схватившись одной рукой за голову, они бегали вокруг вяза, не решаясь перейти границу света и тьмы, будто дорожка была застекленной (у одного на боку плоским блином висела моя сумка, она билась о его бедро и звенела, как бубен: в ней были медяки); потом, наглотавшись света, все трое разом бросились в темноту, из которой пришли, все так же держась одной рукой за голову. Чуть слышно гроыхала моя сумка, все реже и жалобнее, будто ее, как живую, силком уводили от меня и она напоминала о себе голосом. Когда ее не стало слышно, я догадалась, что рукой офицеры на бегу придерживали фуражки, и засмеялась, отводя руку от губ парня, словно и ему разрешая смеяться. Но он не смеялся, и я, смеясь, почувствовала, что моя ладонь, которая зажимала его рот, не участвует в моем смехе, будто она заодно с парнем, и что в ней отпечатались его узкий полуоткрытый длинный рот, передние зубы и детский острый подбородок, линии судьбы были расплавлены горячим дыханием, и вместо них — его рот, зубы, подбородок. Я украдкой потерла ладонь о шершавую доску трубы, точно соскабливая рисунок, но не помогло.

— Ну? — сказала я. Мне стало тревожно. И страшно мне стало от того, что он так долго молчит.

— Пошли, — сказал он.

И мы начали осторожно спускаться с горы, я держала его за плечо и все старалась меньше давить на него, чтобы парню казалось, будто я легка, — и рука моя налилась от этого тяжестью. Когда спустились, он резко рванул вперед, я едва не упала и захватила его под руку как крючком — своей рукой, но очень неудобно, так что его локоть упирался в мой живот, ему в бок бил мой локоть, а кожа наша прилипла на локтевых сгибах друг к другу намертво; так мы шли куда-то, и я спросила парня:

— Ты местный? — И он ответил: «Местный», — и мы замолчали, мы шли дальше, как посторонние пешеходы, и переплетенные руки наши были нам чужие, будто шла между нами вразвалку, толкая нас в бока, некая неизвестная величина «икс».

Темнота была плотной, казалось, что глядишь не из себя, а внутрь себя, и вдыхаешь и выдыхаешь в себе, будто в себе живешь и дышишь, и поэтому становилось душно. Я закрыла глаза, собираясь поспать, потому что не чувствовала пространства и своего движения, тело было неподвижно и замкнуто в духоту темного одеяла.

Но когда закрыла глаза, сразу догадалась, где мы идем: из темноты начали выплывать запахи, они выплывали будто из памяти, и можно было усомниться в реальном существовании источников запахов, но рядом со мной шел один из таких источников — от него пахло общим вагоном, и в его реальном существовании сомневаться было трудно — кожа моя в сгибе локтя горела, как горят, наверное, пролежни, — и поэтому моя память из запаха мокрой древесины, пара, чистого тела и березовых веников достроила розоватое здание городской бани, и это эфемерное, построенное в уме здание было точной копией того, мимо которого мы проходили; мы прошли мимо котельной (запах угольной пыли), пекарни (тут не надо уточнять); дальше память в своей строительной горячке опережала запахи, и потому, когда на сооруженное в голове белое здание, сверкающее и ничем не пахнущее, обрушился запах больницы, тогда только становилось оно завершенным, как пустая комната заселенной: реальное здание было лишь абстрактным знаком, а запах — музыкой, более материальной, чем сама материя.

Так мы шли, вдыхая музыку построек, и чем дальше мы шли, тем быстрее, роднее и тревожней становилась эта музыка; ноты я могла уже называть по именам: запах клубники (двор Калитиных, у них весь двор в клубнике), запах хлорки (двор Муравьевых — у них уборная стоит спиной к улице), запах собачьей будки (двор Бобковых, их дом построен на месте снесенной керосиновой лавки); запах кроликов вперемешку с запахом роз (торговые дворы Ивашкиных, Нессе, Халмуратовых, Дроздовых: летом продают розы и гладиолусы, осенью — кроликов); если мы пройдем этот переулок, то грянет разученная с детства симфония запахов моей родной улицы. Но мы остановились — запах сушеной рыбы — двор Синицыных (дядя Боря рыбак, браконьер, но тихий: черная икра только для себя, не на продажу; в детстве мы, голубые патрули, с ним «боролись»).

Его кожа отклеилась от моей, как пластырь. И он отошел от меня и начал возиться у гаража с замком. Я спросила: «Ты в этом доме живешь?»

— Да, — сказал он твердо. Но я знала, что это неправда, я ведь хорошо знала, кто живет в доме и чья машина стоит в гараже, и слишком сильно от него пахло общим вагоном, чтобы можно было ему поверить.

Я отошла и встала под вишней, ствол вишни был во дворе, а ветви всей тяжестью обрушились на забор и стекали до самой земли. И я просунула руку между досок забора (невозможно было стоять вот так, без дела, когда там, у гаража, совершается что-то ужасное), и рука моя нащупала ствол, рука моя почему-то тряслась, когда я лихорадочно обшаривала вишню, кора ее была шершавой, беззащитно-доброй под моей по-мужски наглой рукой, и стыдясь своей вороватой руки, участвующей в чем-то порочном и недозволенном, я закрыла глаза, и тьма

перестала быть тьмою, а превратилась в боль, единую для моих глаз и для вишни, с кожи которой я оторвала смолу и запихнула себе в рот и яростно жевала, жевала, оклизлую и сладковатую, и рот мой наполнился слюною, я будто грызла ту нить, которую никак не могла оторвать и перегрызть, нить, которой была связана с чужим мне парнем, эта нить не позволяла мне ни убежать, ни закричать, я только чувствовала по дрожанию нити, как трясутся его руки и не могут повернуть ключ в замке, и я жевала, жевала смолу, потому что мне было страшно. И мне было до отчаяния смешно, когда я представляла себя со стороны, мое тело позировало перед кем-то, оно спокойно стояло, мое жалкое, экономящее жесты тело, оно всегда сторожило меня и боялось лишних движений, сознавая, что они не лишние, они — доната, до сути разоблачающие, мое тело никогда не совпадало со мной, в его неподвижности было что-то от египетских статуй — в их внешней неподвижности таился сплав всех существующих ритмов — думай себе, кто что придумает.

Но сегодня оно знало — я должна совпасть с ним, и все мои мысли и мысли тех, кто мог меня увидеть, неизбежно совпадали с его, тела, целью и неподвижностью. Я стояла под вишней — будто независимо, сама по себе, отдельно от парня, и будто на «стреме», готовая к бегству и оцепенелой покорности; и так, будто идет дождь и я забежала и спряталась за вишней (знать ничего не знаю о находящемся в трех метрах от меня парне), и так, будто мы парочка, я дамочка, а кавалер пошел справить мелкую нужду, а я стою в стороне и будто пытаюсь не слышать неприличный звук разбивающийся о землю струи. Думай себе, кто что придумает.

Двери гаража заскрипели неожиданно, и неожиданно заговорил парень — скрипуче, как несмазанные двери, — у него, наверное, что-то было с голосовыми связками, я их представила вдруг ржавыми, словно водопроводные трубы, там, в розовой влажности горла, — и хотелось откашляться вместо него.

— Ты здесь? Садись.

И я послушно побрела к нему, я пролезла в машину, мы звали машину «козел», это был «газик»-урод, на котором Синицын приехал с фронта, в машине воняло рыбой и было холодно, как и должно быть в брюхе у рыбы, и когда я пролезала мимо колен парня (он уже сел в машину, но другую дверцу не открыл), я упала на него, нечаянно и намеренно, и на секунду ощутив его теплое тело и оторвавшись от него, я больше не могла ни о чем думать: мне стало смертельно холодно, когда я оторвалась от него, и я начала дрожать от холода; то не было дрожью желанья, мне просто было холодно, и мне надо было согреться от его тела — больше ничего, но мы выехали из гаража, и мне было непонятно, зачем мы выехали и зачем я должна ждать, когда я должна согреться немедленно.

Он вдруг просигналил, и тут же откликнулись все собаки со всех дворов и заорали петухи, и мы ехали в лающей, лязгающей цепями и орущей на нас тьме, которую мы разрезали фарами пополам. Мы проехали мимо моего дома, но запах рыбы и холод отшибли у меня всякую способность вспоминать, и я просто машинально посмотрела в ту сторону, где стоял мой дом, и в это время парень посмотрел на меня, лицо его от слабого света было желтым и излучало свет и тепло, и мне до слез захотелось прижаться к его горячим желтым губам своими холодными, расстегнуть его дурацкую рубашку и — греться, греться...

Я радовалась ему, как единственному человеку, встретившемуся мне в рыбьем мерзком брюхе, где я промерзла насквозь, — и нам нельзя было расставаться, потому что поодиночке мы здесь сдохнем.

Я спросила его, куда мы едем, только словами можно было сейчас скрыть то, что не в состоянии было скрывать тело, и тогда ему на помощь пришли слова, ясные и простые, они были фальшью и обманом, все во мне было фальшью и обманом, потому что мне было плевать, куда и зачем мы едем, все во мне пыталось скрыть меня, и я не знала, для чего я так скрываюсь в себе, будто скрываю неведомо что, а не простую мысль — греться, греться, только б согреться.

— За сайгаками, — сказал парень.

Я ждала обыкновенной обманной фразы — «на речку» или «покатаемся», и потому не сразу поняла, что он сказал, и долго думала об этих двух словах, тупо глядя вперед. Мы ехали по степи, без дороги, в светлом коридоре (от фар), кончающемся тупиком, черной стеной. Мы мчались к стене, но не приближались, она отступала, медленно пятилась, но не исчезала: впереди был тупик. И так же слова «за сайгаками» пятились и пятились от моего сознания, пока я не привыкла к ним, без конца повторяя их про себя, не вдумываясь в их смысл, потому что мне было холодно и у меня было одно желание — согреться, и моя дрожь и беспрестанное повторение двух бессмысленных слов совпали, и желание согреться обрело форму «за сайгаками», желание назвало себя. Слова перестали быть посторонними и не мешали мне ждать, когда я наконец расстегну его рубаху и всем телом прильну к нему. Ожидание было мучительным, оттого что эта сцена до головокружения навязчиво прокручивалась у меня в голове, но именно из-за навязчивости она обрела конкретность, и ожидание стало радостным: я будто увидела парня там, далеко, и мы приближались друг к другу, и ожидание было оправданным, как было оправданно то, что автомобиль мчался, как сумасшедший, — между нами была дорога, и мы мчались друг к другу, как сумасшедшие, скоростью сокращая расстояние и ожидание.

Машина остановилась так резко, как будто мы, идя навстречу, неожиданно столкнулись друг с другом в темноте.

Мы сидели, не двигаясь, далекие друг другу, как и раньше. Я ждала. Потом он, отвернувшись к окну, скрипуче спросил:

— Ну и что мы будем делать дальше?

И эта пошлая фраза была мне знакома, и мне стало противно, что сейчас мы будем говорить пошлые слова, и без них нельзя обойтись, и нельзя обойтись без того, что он будет делать со мною, когда мне нужно только согреться, а просто согреться без того постыдного, что он будет делать со мною, нельзя.

— А то! — сказала я. — А то и будем делать!

Чем бесстыдней, тем лучше. Я полезла в глубь машины и задела своим коленом его колено, и он дернулся, отодвинулся, и мне стало опять противно, так противно: завез и дергается.

В глубине машины лежали сухие сети и мешки, я села на них и сказала резко:

— Иди сюда! — и поморщилась от своей же фразы. Он не двинулся. Молчал.

— Как тебя зовут хоть? — спросила я.

— Без разницы, — сказал он, подумав. — Тебе ведь без разницы.

— Примитив, — сказала я. Я все морщилась, мне противно было говорить фальшивые слова, когда мне так холодно, так холодно.

— Люди, когда говорят, всегда примитив, — сказал он медленно.

— Поговори со мною, мама, — сказала я. — Иди сюда.

— Нет, — сказал он тихо.

— Что? — Я встала и упиралась головой в брезент.

— Вот так, — сказал он, и я почувствовала, что он улыбается.

— Какого ж, какого ж ты завез меня? — крикнула я.

— Такого, — сказал он. — Чтоб они, чтоб не им... — Он запнулся.

— Чтоб никому, — подсказала я. — Да?

— У тебя сын, — сказал он шепотом. — И муж.

— Узнал, да? А я не знала! — крикнула я и села опять на мешки, мне хотелось плакать; черт возьми, мне было смертельно холодно, мне ничего не нужно было, только греться бы, я не хотела больше обманных слов и сказала тихо-тихо: «Мне холодно, слышишь, холодно», — и удивилась, что пар не идет изо рта.

— Я знаю, — сказал он устало.

— Мне холодно, — сказала я. — Иди сюда.

— Нельзя, — сказал он, — ты не должна. — И я вдруг не то увидела, не то вспомнила его глаза, его белые глаза со зрачками. Глаза праведника.

— Спаситель, — сказала я, меня слегка подташнивало, словно от голода, мы не понимали друг друга, и если бы сейчас он пришел ко мне, я б ударила его. — Спасители. Ненавижу.

Я встала, шатаясь, мне нужно было выйти из этой промерзшей машины, я прошла, упираясь в его грудь, и не почувствовала окоченевшими пальцами тепла его тела, мне было так холодно, что и он бы уже меня не согрел, — и, открыв дверь, задохнулась от сухого жара, страстно рванувшегося мне навстречу.

Я упала как подкошенная, будто никогда не умела стоять и ходить, будто внезапно растаяли мои ледяные ноги. Я упала лицом в степь и вдыхала садняще-горький запах полыни, был бесконечный вздох без выдоха, пустота моего тела заполнялась полынной горечью, и я медленно оттаивала, и спину мне прожигало чем-то горячим насквозь, смятая полынь распрямлялась, прорастая сквозь меня, и я корчилась от боли и повернулась лицом к небу — и ослепла, меня ослепили горячие звезды, они жгли меня, как солнце, как тысячи раскаленных осколков разбившегося там, в черном небе, солнца, и оттуда, с неба вместе с жаром шел чистый и пронзительный запах: звезды пахли полынью.

И все перевернулось: я лежала в черной небесной степи, и сквозь меня прорастали звезды, а с земли шел одуряющий запах полыни. Весь мир был кругл, огромен, черен и горяч, весь мир пропах полынью, мир уничтожал меня и прорастал сквозь ненужное и тающее мое тело, чтобы оно слилось с ним, как змеи, суслики, ящерицы, и я берегла только глаза, еще не зная, зачем.

Я заслонила глаза рукой, и мое размягченное тело с налипшей рыбьей чешуей утончилось и удлинилось и начало свертываться медленно в кольца, спасая мою голову - глаза! глаза! - и кольца обрели тяжесть и упругость, я будто рождалась заново из земли и полыни, трудно, медленно сознавая свою связь с землей и свою отделенность от нее, и превосходство свое над слепым миром, ибо имела глаза, медленно покачиваясь, тянулась вверх из колец голова, и невозможно было оторваться совсем от земли, и невозможно было прорасти сквозь стремительно убегавшее от моих приближавшихся к нему глаз небо, звезды уменьшались и уменьшались, можно было только гнаться за небом, как гнался автомобиль за ускользавшей от него черной стеной, гнаться на корабле в пустоте — и все видеть перед собой ускользающий черный тупик, и можно, перевернувшись и отделившись от земли, прорасти сквозь землю — и видеть перед собой ускользающий черный тупик, и, видя по горизонтали и по вертикали тупик и понимая, что не достигнуть его, все-таки мчаться, и этот обман зрения становился единственным спасением в лукавящем, ускользающем и слепом мире, и потому я берегла глаза.

Но я не хотела спасения. Спасения не было. Везде был тупик, тупик, тупик, и мне не нужно было мчаться, чтобы достичь его. Мне плевать было на него и на глупый, слепой мир, и на вечность, на теплую, холодную и живую вечность, все мои рассуждения были фальшью и обманом: мне ведь плевать было на моих предков и потомков, которых я не видела, я просто спасалась от самой себя и от мира. А спасения мне не нужно. Мне нужно было, чтобы мы только поняли друг друга с этим парнем, а если нет, то зачем мне вечность и предки. Зачем мне все это, если в машине сидит парень и мерзнет там, живой, невечный, а я тут, смотрю на какие-то звезды, какие-то звезды.

Я медленно встала. Глаза мои были вровень с глазами парня, если бы он здесь стоял. Вот зачем мне нужны были глаза.

Мне вдруг очень захотелось увидеть своего сына и маму, раскидавшихся во сне от жары на полу, над ними звенит по-комариному духота. В этой смертельной игре ничего не прощалось. Мир, как каждый слепец, очень хорошо слышал, не пропуская ни единого слова, даже сказанного в себе.

Я пролезла в машину за спиной парня, потому что он грудью лежал на руле, обняв руль руками. Я сейчас очень любила его, как брата, который умер сразу, как родился, он родился восьмимесячным, вдохнул в себя воздух — и умер, не выдохнув. Его звали Вова, уже назвали до рождения. Мне часто виделось, как он глотнул воздуха, а выдохнуть не может, так больно, его шлепают по спине, а воздух, как камень, застрял в горле, и он даже заплакать не может, и дело не в спянных легких: он чего-то испугался сильно — ни выдохнуть, ни заплакать. Что он увидел, чего испугался, о чем подумал в ту единственную минуту, секунду? Глаза у него были голубые, а волосы черные. И он все рос и рос во мне и рядом со мною, и сейчас ему было бы двадцать. И, может, он, как этот парень, выволок бы меня из ресторана, дал бы мне отлежаться в степи, напомнил бы, что у меня есть муж и сын?

— Поехали, — сказала я.

Парень молчал, и дыхания его не было слышно. И я испугалась, у меня голова закружилась от страха. Я ударила его по спине, сильно, и младенческим мяуканьем ответила мне машина, просигналила слабо и захлебнулась.

Парень пошевелился.

— Что ты, а, что ты? — крикнула я.

— Ничего, думал, — сказал парень.

О чем он думал?

— Поехали, — сказал парень. — Домой?

— Да, — сказала я.

Мы по-прежнему были чужие.

И снова мы мчались, будто стояли на месте, и впереди была степь, степь, степь.

Они возникли внезапно. Что-то изменилось в светлом коридоре, по которому мы ехали. Он наполнялся золотой пылью, пыль уплотнялась — и вдруг приняла очертания каких-то нелепых золотых животных, на мгновение мы увидели их крупные кургузые зады, опущенные и повернутые к нам головы. Они бежали очень быстро, друг за другом, наверное, уже давно спугнул их шум мотора. Было странно видеть, как стремительно, быстрее, чем наш автомобиль, бежали они, будто бежали золотозадые манекенщицы, след в след. Они исчезли.

— Сайгаки! — крикнул парень и газанул.

Свет фар снова выдернул их из тьмы, но теперь всех разом — их было семеро — один из них, тяжело и неловко подпрыгнув, остановился, на него наскочил другой, и они упали во тьму, другой, бессмысленно оглядываясь, все так же нагнув голову к земле, — уходил, но медленно и нерешительно, будто теперь ему было все равно, убегать или нет, и он не исчезал, третий прыгнул и вертикально завис в ночи, секунду между его рогами, похожими на лиру, колыхались звезды; остальные метались, точно наступил конец света, а один слепым комком, запрокинув голову, летел прямо на наш автомобиль.

— Стой! — закричала я и дернула за какой-то рычаг, парень локтем ударил меня в лицо. Машина взревела и, дернувшись, остановилась. Но было уже поздно.

Фары мы не выключали и, выбежав, увидели, как сайгаки собрались в стадо, недолго постояв, кротко и несмело осмотревшись, вдруг в полном безмолвии начали исчезать один за другим, будто их по одному тьма прогоняла в калитку.

Он умирал. Это был сайгачонок, вся его морда, как маленький горбик, была в крови, он вдыхал воздух, и кожа на носу, который был похож на хобот, морщилась до самых глаз; он шумно выдыхал вместе с воздухом кровь. Он был похож на горбатого уродливого ягненка, волосы его еще были темны и курчавы. Желтые глаза его доверчиво смотрели на нас, им было больно, и они боялись, что мы уйдем и оставим его наедине с тем страшным и главным, что совершается с ним.

Парень достал складной нож, сайгачонок, увидев лезвие, все так же доверчиво и благодарно смотрел на нас, но тихо заблеял, точно спрашивая: «Зачем?» — и далеко в степи ему ответил голос его матери. Я отвернулась.

Потом мы сидели, прислонившись к колесу. Он плакал трудно, будто кашляя, выхаркивая какие-то слова:

— Опять я... Всегда я... Зачем?

Я плакала, потому что он плакал, а я не могла даже дотронуться до него и успокоить — между нами лежал мертвый сайгачонок. Мне нетрудно было плакать. Мы были страшно родные и страшно чужие друг другу. Кровь сайгака сблизила нас — мы сидели в степи и плакали — и разъединила нас навсегда, мы в последний раз вот так сидели и плакали. Потому что во всем была я виновата. Я была повинна во многих смертях — это был мой рок, это был мой крест, но об этом я не рассказывала никому, не покаюсь, свое я буду нести на себе, не перекаладывая, я не хочу спастись — он стал бы мне родным, этот парень, если бы я сказала хоть слово, но я не хочу спастись — и потому будет мне чужим навсегда, — и я тихо отделеаюсь слезами.

Мы ехали по старой дороге, по которой уже никто не ездил.

— Дальше нельзя, — сказала я. — Там овраг.

Он развернулся.

Мы молча доехали до моего дома и молча расстались. Я стояла за дверью веранды и прислушивалась, когда он отъедет. Он долго не отъезжал. Потом я услышала его шаги, что-то упало на крыльцо, шаги, шум мотора. Все. В светлых сумерках я увидела: на крыльце лежит окровавленный сайгак.

Утром мне снились котлеты. Я проснулась: дом был пропитан запахом котлет: мама перед работой нажарила. Странный был запах: будто котлеты жарились на прогорклом масле. Но об этом некогда было думать. Я не проснулась, меня разбудили.

Разбудила меня Люба. Она была дурочкой, ее так и звали — Люба-дурочка. Ей было уже двадцать пять, но лицо, тупое и бессмысленное, было навсегда пятнадцатилетним. Ее распирало от не нужной никому плоти. В детстве мы играли с ней, потом пошли в школу и начали смеяться над ней. Она осталась с дошколятами и каждый год собиралась в школу с какой-нибудь очередной семилетней подружкой, но та уходила умнеть, а Люба оставалась на скамейке у своего дома и ждала следующего сентября, до двадцати лет все ждала, когда пойдет в первый класс. Пришло время, подружки начали выходить замуж и рожать детей, и мы, смеясь и издеваясь, лукаво-серьезно вели с ней разговоры о женихах, и то, о чем она горько и наивно мечтала вслух, мы с удивлением находили в своей душе. Каждый год, приезжая домой, я замечала, как грустнеет ее лицо, она, наверное, поняла, кто она, или ей объяснили. В ней не было глупости, в ней просто осталось все, что в нас было в детстве.

— Вставай! Вставай! — кричала она. — На свалке машина разбилась. Милиции! Ехали и выли: у-у! Как на пожаре.

Я бежала и все время смотрела в землю: я надела резиновые шлепанцы-«вьетнамки», а в них легко упасть. И потому, когда мы добежали до свалки, я сразу, подняв глаза, увидела его. Его уже накрывали простыней. Только и увидела рубаху в пятнах крови, горько-насмешливый длинный рот и светлые ресницы на иссиня-бледном лице, и белоснежным покрывало, и «разойдись», «разойдись», и «газик» в овраге вверх колесами, и багрово-красный Синицын с милиционером, а рядом Люба и нехотя расходящиеся люди.

Шла обратно. Люба меня догнала и выпалила: «Это Саша Ладошкин». И земля накренилась. Я запомнила: белая, в трещинах утренняя земля неслась вокруг меня.

— Что?

— Саша Ладоскин. Помнишь?

Я его всегда помнила, Сашу. Я любила его и не знаю, кого еще после так любила. Мне было шесть. Ну и что? Я помнила, как пошла к нему на день рождения, он был младше меня на четыре месяца, одна, вечером, и быстро стемнело, и я потерялась в маленьком городке, я не узнавала ни клуба, ни кинотеатра. Меня подобрала молочница, она развозила молоко на тележке и сейчас его возит, она всех знала в городке, и мы, продавая молоко, медленно кружа по каким-то молочным маршрутам, подходили к Сашиному дому, он жил рядом с Синицыным, и молочница пронзительно кричала в темноту: «Мо-ло-ко!», и молока становилось меньше, и голос ее слабел.

Я пришла к нему очень поздно. Гости уже разошлись. За столом сидели Саша и моя мама. На столе был неразрезанный торт. Саша сидел и, сцепив руки кольцом, оберегал торт. Он так давно сидел. Ждал меня. Какое у него было тогда лицо, я не запомнила.

Зачем он поехал к оврагу?

Веранда в детском саду. И я с Сашей за верандой. Мы сбежали с «мертвого» часа. Саша говорит:

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Хочу, — говорю я.

Он зажигает спичку и, всунув ее в рот, надувает щеки, стараясь не дышать. Спичка гаснет у него во рту, изо рта выходит дым. Потом он прикасается своими длинными узкими губами к моим, и губы его пахнут серой. Потом «курю» я, и мы опять целуемся.

Больше я ничего не помню. Его отец сошел с ума, и они с матерью уехали из города. Только помню, что я его любила, и не знаю, кого еще после так любила.

Зачем он поехал к оврагу?

Мы сидим с Любой на крыльце и едим котлеты. Они безвкусные, будто смолу жуешь.

Люба рассказывает мне о Саше. Жил в Пскове. Учился в техникуме. Отслужил в армии. Приехал позавчера. Остановился у Синицыных.

Вчера утром они ездили за раками. Вечером куда-то ушел. Ночью Саша должен был поехать на рыбалку. Синицын дал ему ключи от машины. Он разбилась под утро, только светало. Ехал по старой дороге, по которой никто не ездит, за поворотом — овраг. Оврага ведь раньше не было.

Откуда Саше знать?

— Вот. А еще он приехал жениться. Он говорил дяде Боре — у него здесь невеста.

— Невеста? Откуда? — говорю я. — Ведь ему было шесть лет, когда он уехал.

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Хочу.

— Откуда? — говорю я, никто ведь не знает, что я понимаю, откуда. Но Люба молчит, и я поворачиваюсь: Люба изменилась — глаза ее счастливы, лицо смущенно рдеет, как у невесты.

— Откуда? — говорю я.

И Люба несет какую-то чушь: он тайно приезжал каждый год и обещал на ней жениться, и писал письма ей из армии, но она их сожгла, потому что думала, он обманывает. А вчера он приходил, но она не вышла.

«Письма? Да она читать не умеет», — думаю я и вдруг начинаю верить ее горячему шепелявому рассказу. Сейчас рождалась легенда. Завтра ее будет рассказывать весь город. Девчонки будут рассказывать друг другу о том, как солдат полюбил дурочку, и любил ее с детства и до гроба. И каждая будет рдеть и тайно верить, что Саша любил ее и приехал к ней, а не к дурочке, но так спешил, что разбилась.

Для этого ты поехал к оврагу?!

Я начинаю злиться на Сашу, как будто он живой.

— Нет, — говорю я Любе, — ты говоришь неправду. Я тебе скажу, как все было на самом деле.

И вдруг лицо ее заплакало. Плакали бессмысленные глаза, плакали красные толстые щеки, и низкий лоб, и приплюснутый нос, и распухшие большие губы, и я поразилась, как похожа Люба на меня, когда я плачу, я будто смотрела в зеркало. Но у нее, такой похожей на меня, не было ни мужа, ни сына, и не будет. А у меня есть все, все. И Саша! И Саша!

— Я верю, Люба, я верю тебе! Люба...

Если я скажу, как было на самом деле, все девочки нашего города подойдут ко мне и по очереди плюнут мне в лицо. И правильно. Никто, Саша, не должен знать, как было на самом деле.

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Знаешь, — говорит Люба, она уже улыбается, — это сайгачьи котлеты. Я ела один раз.

Из ресторана я ушла с Вовой.

Начало уже светать, когда кто-то постучал в дверь и спрашивал меня. Мама сказала, что я у подруги, и не открыла. Через стекло веранды она увидела парня в белой рубашке. У него был длинный рот. Мама где-то видела этого парня. Он бросил на крыльцо сайгака и уехал.

Все, что произошло утром, — правда.

ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ ЕЩЁ НЕБО...

Пьяный морок, бесы на Каширке,
выпьешь с грамм, а видишь до черта:
чайка в пене, парень в бескозырке —
это море, я о нем читал...

Выпьешь сто и тут же — оперетта:
я люблю вас, фрау, тюрлили...
Свет из арки, прядь из-под берета —
это юность, мы ее прошли...

Пушкинская площадь, черный гений,
ария фонтана — тюрлюлю...
Свет из света, штопка на колене —
это Оля, я ее люблю...

Белорусский... Оленька, куда ты?
Пошехонье: инда да надьсь...
Проститутки, беженцы, солдаты —
это горе, мы с ним разошлись...

—Полетим? — и зубы в три октавы.
—Воспарим? — и очи наповал.
Свет картавый, тамбур кучерявый —
это воля, я ее искал.

* * *

Бродя по временам, перемахнувши через
ограду из веков, во множестве судеб
я высмотрел две-три: неспешная вечеря,
пригублено вино, но не преломлен хлеб;
да и куда спешить: Исайя дремлет рядом
с Бояном, а Лука — с Ионой, и при них
два мальчика, трудясь под цепким их приглядом —
Гомер и Велимир — заквашивают стих,
и чадно потому, и — «Приоткройте двери!» —
свиристует Лука, и, по-варяжски хмур,
славянскую тоску срывает на Гомере
воинственный Боян: «Масоны, перекур!»;

и тянутся века, и, опершись на доски
судьбы, два пацана сквозь пленочку вина
глядят, как в мастерской Иеронима Босха,
среди его шутов, нашла меня жена...

* * *

—...лети, говорю, отселе,
туда, говорю, куда
ходила за Моисеем
рождественская звезда,

лети, говорю, голубка,
туда, говорю, лети,
где камушки первопутка
евангельского пути,

лети, говорю, чтоб прямо
на тот Моисеев свет,
что семечком Авраама
был пролит на Назарет,

лети, говорю, из дома,
оставь, наставляю, дом,
где семечком из Содома
разбужен его содом,

лети, говорю, голубка, —
в рождественский вечерок
доставши из полушубка
оливковый черенок...

СОВЕТСКИЙ АПОКРИФ

На площади, в полуденной Москве,
там, где Россия, Лета, Лорелея,
дитя прованское — мелодия Массне —
мечтала к маковке, а вышло — к Мавзолею.

Вошла — на цыпочках и, взором обедев
солдатика — при пушке и при ленте, —
подув на прах, стучится в сон вождя,
не ведая, что сон сей перманентен...

Чем ей помочь, француженке, в глуши,
обитой мрамором? Что ей внушит, глупышке,
державное биение души
в сердцебиении полицейской вышки?

Что я скажу ей, что ей скажешь ты,
когда и нас, и прах передержали,
как брагу — до сивушной кислоты —
Москва-разлучница и сводница-держава?..

ДЕВИЧИЙ АПОКРИФ

«Отче! — твержу, выкликаючи батюшку — Мати!» —
к Матери Божьей с утра обращаю свой всхлип...
Ангел влетел — привяжу его к ножке кровати.
«Чив», — он мне скажет, а я и отвечу: «Цып-цып»;

«Цыц», — говорю каптенармусу танковой роты,
«Прочь», — говорю стихотворцу, смутителю чувств:
Ангел со мной, и покуда при мне не помрет он,
Ангелом быть научусь...

* * *

Ветер, с ветлою играющий,
солнечный зайчик в руке,
город, светло умирающий
в выпотрошенном городке...

Ласточка тьму занавесила,
туча накрыла окно...
Холодно, голодно, весело,
зло, бесприютно, темно;

родина, песнь, Простоквашино —
глупому сердцу вдогон
сохнет рубаха папашина,
матушкин гаснет кулон;

братова кепочка — чудится —
пуговкой метит в висок...
Родина, росстань, распутица,
радости на волосок...

Чудится, верится, блазнится —
Лермонтов как завещал,
лонюшко девятиклассницы
ангел вчера посещал...

—Кыш, — наступала учительша.
Ангел молил: — Допусти...
Родина — бублик от Китежа
с маковой дыркой в персти...

Смерть запеваает в скворешенке:
смесью из мглы и чернил
лонище библиотекарши
блоковский том опалил —

после проквашенной осени —
личиком бледным светя,
явится радость Иосифу —
спрятать в пещерке дитя...

* * *

Просыпаться не стоит — в империи запах распада,
в дланях мухинской пары — осколок стрелы Вельзевула,
золотник тупика... — пролетарий подался в кидалы,
огородница — та в продавщицах, и косит ценою,
как серпом, за трусы из проснувшегося Китая;

просыпаться не стоит — Распутин на стенах Путивля
причитает, Проханов, Чечню от жида поочистив,
ловит бабочек — прыгает через останки
тех ребят, о которых напишет, на бабочку глядя...

впрочем, есть еще небо, дорога, трава у забора
и кидала, хватающийся за сердце,
потому что по сердцу его пробежала с серпом продавщица,
«Бля, весна», — восклицая, и ты — «Бля, весна!» — разрыдайся...

* * *

...и покуда со свечами
топчет паперть партактив,
и вчерашние сельчане —
в тачках — на аперитив
мчат, и всяк из них не лыком
шит, но лыком перешит,
и покуда гоп со смыком
нас с тобой не порешит, —

музыка гремит покуда,
обходясь музыки без —
шаркнем ножкою у чуда
из отлаженных чудес:

из подкрашенного парка,
из спасенных им берез
кажет вспыхнувшая арка
резервацию из слез:

из починенного крана,
из нелатаных корыт
штопка рдяного фонтана
в нашу штопку норовит
поцелуем ткнуться, чтобы —
как бы ни кричать ей «фу» —
страсть ее испанской пробы
переладила б строфу
на дыхание и шепот —
чтобы весь наш тарарам
перешить да перештопать
к будущим похоронам...

* * *

Потому и форточку прикрою,
чтобы Ты гонца не слал за мной —
залитый рождественскою кровью,
выжданный пасхальною землей,
сбитый братом, поднятый соседом,
званный чернью, кликнутый Отцом...
Не дыши в лицо мне черным снегом,
конским потом, козым молоком...

* * *

В этом доме тень моя с корешок,
золотая дума моя с вершок:

октябренок-чубчик из-под стола...
В этом доме книжка моя жила:

золотая бабушка над плитой,
золотой мой дед под ее пятой

(золотая пяточка с золотым
ноготком над дедушкой молодым),

золотой мой батюшка: нырк в вино,
золотая матушка: зырк в окно

(и не видит батюшка, как над ним
кулачком ругаются золотым);

золотая дума моя сквозь кровь
прогоняет рифмочку «кровь-любовь»,

золотая песенка — золотой
мой стишок на корточках с запятой:

золотым смущением завитой,
до краев прощанием налитой...

* * *

...а там, где шторочка приспущена —
у телерадиокостра,
уже докушавшего Пушкина,
моя — по батюшке — сестра,

и там, где шторочка задернута —
с ней не согласная, видна,
в бассейны саун позавернута,
моя — по дьяволу — жена...

С позавчерашнего опухшие,
они порезали мне грудь,

чтоб уголек от книжки Пушкина
хотя б к предсердию приткнуть...

Жена, сестра... — окошко в шторочке,
простор, оплаканный на треть,
мой крест, на все четыре стороны
меня наладивший реветь:

страна людей, ворон считающих,
вот мы и встретились в стране
людей, Сорокина читающих —
на чужедальной стороне...

* * *

...случайное замыканье
смыкающих даль зарниц,
печальное заиканье
рассохшихся половиц;

очнешься, пройдешь чрез сени
и сгинешь во тьме веков
на донышках сочинений
бесчисленных мотыльков;

очнешься, пройдешь меж грядок,
ключицею угадав,
каков на земле порядок
у Господа в мире трав;

очнешься, глаза поднимешь —
уверишься: Волопас
и Веспер, и иже ними —
для Господа и для нас;

надышанное соседство
в немолкнувшей пре менад,
отлаженный подле сердца
тургеневский променад;

гремит меж подойных ведер,
взывая «кому повем
печаль свою?» голубь Федор,
не ведая прочих тем,

и задницей ли, плечом ли
выкатывает на риск,
как пушку — твою печенку
толстовский артиллерист, —

и коли ты стерпишь это,
столетняя тишина
кивнет тебе гласом Фета
и шепотом Шеншина...

Борис ХАЗАНОВ

АПОСТОЛ

«Идите и возвещайте благуя вестъ
всякому созданию».

*Старик лет семидесяти, с бородой цвета плесени,
С вытекшим глазом,
Дурно пахнувший, одетый
В почти уже не существующую телогрейку
И полуистлевшие галифе,
За две сигареты, за доньшко гранёной стопки
Наговорит вам тьму небылиц.*

*Все к нему давно привыкли.
Председатель не гоняет его на работу,
Мальчишки его не трогают,
Участковый делает вид, что его не видит.
В сельской чайной официантка,
Женщина лет под сорок
Не слишком строгого поведения,
Следуя примеру Марфы,
По молчаливому уговору с поваром
Приносит ему тарелку супа,
Когда он приходит и садится в угол
За деревянной колонной с портретом Вездесущего.*

*В чайной всегда много народу.
Сидят, пригнувшись друг к другу,
В мглистом тумане,
Заказывают шницель, пахнувший трупом,
И опрокидывают стаканы, не перекрестившись.
Благочестие не свойственно русскому человеку.*

*Однажды в село прибыла экспедиция.
Бог их знает, что им было нужно.*

Кандидат наук, человек серьёзный,
 Зазвал старца в избу,
 Усадил за стол и налил стакан гнилушки.
 Старик не стал ломаться,
 Поскольку всякое даяние есть благо,
 Выпил, утёрся чёрной ладонью
 И вилкой долго гонялся по тарелке
 За маринованным помидором,
 Повествуя о небывалых днях,
 О чуде рождения Младенца
 И крещения в реке Иордани.
 Вдруг заметил в углу крутящиеся диски
 И, прервав свой рассказ,
 Ударил кулаком об стол,
 В гневе затрясся, упомянул Иуду
 И грязно выругался.

Впрочем, старика тоже надо понять.
 Тот, кому приходилось ходить под конвоем,
 Кто сидел в одиночке, выносил
 По утрам парашу
 И судим был тайным судом Синедриона,
 Тому потом всюду снятся доносы.
 Может быть, он и прав.
 (Одна из теорий,
 Объясняющих случай с Искарриотом:
 Склонность наших земляков к предательству,
 Болезнь, унаследованная от времён Орды).

Однако он вскоре забылся —
 Вспышка пьяного гнева погасла,
 Уступив место пьяной нежности.
 Он жевал помидор, утирая слёзы,
 Сочившиеся из его одинокого глаза.
 Кандидат наук меж тем поглядывал, морщась,
 На руины его штанов, следил, как старец
 Карябает ногтями хилую грудь
 Под трухлявой телогрейкой,
 И думал о том, почему так бывает:
 Каким образом этот люмпен
 Хранит в своей памяти легенды,
 Созданные народом, когда он
 Ещё находился под властью эксплуататоров
 И мечтал о светлом будущем.
 Вот откуда взялась эта сказка
 Об Учителе угнетённых, о том,
 Как сидел он на горе и ему внимала
 Толпа, как он оживил Лазаря
 И как пяти буханок хватило
 Накормить всех голодных.

*Кандидат сидел, терпеливо слушал.
Но старик не оправдывал ожиданий:
Стал сбиваться, заплетающимся языком
Бормотал что-то
И под конец, плача, понёс такую
Ахинею, что пришлось встать
И выключить магнитофон.*

*Благовеститель,
По сути дела, сам давно уж не верил
В свои рассказы. Всё, что он видел,
Для него самого превратилось в сказку.
Уж он не помнил конец этой истории,
Забыл, где и когда умер Учитель,
Понёсший общее с ним наказание,
Отбывавший срок на одном лагпункте
Со стариком. Одно он запомнил,
Одна картина
По-прежнему, как живая,
Стояла перед его взором:
Море, и в море лодка,
И плывут они в ней, все двенадцать,
А навстречу им, от заката,
По воде, как по земле, идёт Учитель,
И в глазах его вечная радость,
И в улыбке его вечная тайна.*

1965

I

Посвящаю эти записки памяти Косьмы Кирилловича Тереножкина, много лет отдавшего изучению религиозного фольклора Северо-Западной России. Хочу напомнить, пользуясь случаем, об одной из главнейших идей моего учителя. Особый аспект исследований К.К. Тереножкина состоял в том, чтобы попытаться отыскать в духовных песнях, легендах, местных преданиях и поверьях то, что он называл фактической основой. Он был убеждён, что источником самых причудливых повествований всегда служат истинные происшествия. Другое дело, что реальность преображена фантазией сказителя и традициями народного творчества. Задача исследователя — снять эти наслоения, подобно тому как реставратор снимает одну за другой позднейшие записи со старинной фрески.

Добавлю, что Косьма Кириллович решительно отвергал модные в его время представления аналитической психологии о так называемом коллективном бессознательном, которое якобы не только разоблачает себя в фольклоре разных народов как некое вместилище утраченных воспоминаний, но и диктует ему свои вне-временные образы. Можно ли каким-нибудь образом всё это проверить на практике, в эксперименте? — спрашивал Тереножкин. Нет, конечно. Для него это была фикция, метафизическая мечта, типичный пример псевдонаучной мифологии, которую хотят навязать действительности.

Случай заставил меня, однако, задуматься о том, что, собственно, мы называем действительностью. В моих руках оказался материал, где реальная подоплёка, на первый взгляд, угадывается без труда. Но эта реальность вступает в неожидан-

ное и необъяснимое противоречие с реальностью мира, в котором мы живём. Легко могу себе представить, как удивился бы мой учитель, узнав о том, что я подвергаю сомнению то, что не подлежит сомнению. Сказал бы, что я сам превращаюсь из учёного в сказителя-мифотворца. Как если бы врач, исследуя пациента, заболел сам.

Фольклористу приходится забираться в медвежьи углы, но не надо думать, что это требует особо трудных и дальних путешествий. В одну из моих поездок по Калининской области, бывшей Тверской губернии, я свёл знакомство в городе N с человеком, который отрекомендовался делопроизводителем районного совета. Он сказал, что уже двадцать пять лет занимает эту должность, начальство меняется, а он по-прежнему на своём месте. Мы сидели в привокзальном ресторане; было нетрудно опознать во мне приезжего; разговорились.

Ресторан представлял собой довольно убогое заведение с пальмами в кадках, с обязательной копией «Трёх богатырей» кисти местного живописца, с грязноватыми скатертями на столах. Несмотря на приличные цены, учреждение не пустовало. Чуть ли не о каждом из сидящих мой собеседник мог рассказать всю подноготную. «Можете мне поверить. В нашем городе треть, а то и половина трудоспособного населения нигде не работает». — «Всё же, наверное, где-нибудь числится?» — «И не числится, в том-то и дело». — «А как же борьба с тунеядством, и вообще». — «А вот так: никак, — отвечал делопроизводитель. — Да какие они тунеядцы, они не тунеядцы». — «На что же они живут?» — «А по-разному. Промышляют кто чем. В Москву ездят, в Ленинград, скупают продукты, здесь продают». Я спросил, откуда берутся деньги у тех, кто покупает. Перепродают, сказал он, деревенским. Мы ещё немного поговорили на эту тему. Был рабочий день, но делопроизводитель никуда не спешил. Я заказал ещё четыреста грамм водки и по второй порции дурнопахнущего рубленого шницеля.

У него был свой взгляд на положение дел в районе. Население уменьшается, молодёжь бежит из деревни — и пусть бежит, тем лучше. Почему же лучше, спросил я. «Воздух чище будет, — сказал он презрительно. — Народ-то у нас какой? Ему дай волю, он всё перепортит. Всякой дряни нанесут, всё загадят. Если бы не этот народ, какой бы у нас рай тут был! Работать не работают, а только ломают. И колбасу жрут». — «По-вашему, было бы лучше, если бы вовсе никого не было?» — «Безусловно. От них всё равно никакой пользы. И природа будет целей. А места у нас красивые. Я не говорю о городе, тут смотреть нечего, а вот вы поезжайте-ка в глубинку».

«Собственно говоря, я за этим и приехал», — возразил я и объяснил, чем я занимаюсь, вполне готовый к тому, что он поднимет меня на смех; упомянул, куда и к кому я держу путь. Делопроизводитель искоса поглядел на меня, подняв бровь. «Уж не к этому ли, как его». — «Вы его знаете?» — «Как не знать, его все знают. Старик со стаканчиком. Ошивался тут одно время. Да он тронутый. Его и в больницу забирали».

Я спросил: что это значит, со стаканчиком?

«Такая профессия. Обслуживание алкоголиков. Положим, вы встретились с приятелем, то есть, конечно, не вы, извините. Короче говоря, собираются мужики выпить, в горсаду на скамеечке устроились, тут он и подходит: с портфельчиком, одет прилично, гаврила на шею — я имею в виду, в галстук, — культурно, скромно; и предлагает свои услуги. У него с собой и закуска, хвостик селёдки, помидорчик-огурчик. стакан, чтоб не пили из горла. Слово за слово, ему тоже наливают. Пустую бутылку себе, за день целую сумку наберёт. Что ж, — вздохнул делопроизводитель, — всё лучше, чем побираться. — И зевнул сладко: — Уа-ах!.. Давно его не вижу».

«Уехал в свою деревню?»

«Надо полагать. Только трудненько вам будет туда добраться, кругом сплошные болота».

Делопроизводитель вернулся к больной теме.

«Я район знаю, как свои пять пальцев. Ничего там не осталось. Одни печные трубы; избы, какие были, разобрали и увезли. У нас тут целые улицы из таких домов. Скоро весь город превратят в деревню. Эва, — и он кивнул на людей за столами, — это, как вы думаете, кто такие? Поселяне, туды их в калошу».

Ночевал я в Доме крестьянина — род ночлежки. Ехать надо было километров сорок автобусом по большаку, а там как придётся. Отправление на рассвете. Лишний раз я испытал на себе таинственное свойство нашей отечественной географии: близость расстояний обманчива; вы словно опускаетесь в воронку — чем дальше, тем глубже. Имея некоторый опыт, я вёз с собой водку, копчёную колбасу, ещё кое-какие припасы; на конечной остановке, это было довольно большое село, удалось найти подводу. Сколько-то времени спустя мужик свернул в сторону, и последний отрезок пути, километров десять, я нёс поклажу вкуче со скромной аппаратурой на себе. Светило жёлтое солнце. Я брёл где по лесной тропе, где мимо пустошей, блестящих там и сям болотной влагой, слушал пение птиц, отдыхал на пригорках. Но нельзя сказать, чтобы здесь вовсе не ступала человеческая нога; дорога, то со следами колёс, то едва различимая в густой траве, в конце концов привела меня к цели.

Это была в самом деле глухая, тайная, топкая, вся в некошенных травах, в камышах и осоке, посвистывающая и пощёлкивающая птичьими голосами, старинная наша матушка-Русь — срединная Россия, какой она была, наверное, во времена Ильи Муромца и славного князя Гостомысла, да так и осталась; выйдя к речушке, я увидел на другом берегу селение — полдюжины серых изб и сараев.

Мне повезло, под зелёными прядями ивы покачивалась почерневшая лодка. Орудия лопатообразным веслом, я перебрался через поток. Мало что осталось от бывшей деревни, и всё же делопроизводитель был не совсем прав, здесь существовал кто-то, лаяла собака, глухая старуха, выйдя на крылечко своей хибары, трясла головой в ответ на мои расспросы. Явилась и стала рядом с бабусей девочка лет семи, она довела меня до избы, к удивлению моему довольно хорошо сохранившейся: окна в наличниках, сарай, огород. Общие сенцы — направо вход в сарай, налево в избу. Позже я узнал, что к хозяину приезжает изредка дочь из Великих Лук, хочет забрать его к себе, а он ни в какую. Сам он являл собой весьма плачевное зрелище.

Нагнувшись, чтобы не расшибить лоб о притолоку, я переступил высокий порог и не сразу разглядел в полутьме чёрные голые ступни и порты сидевшего на печи хозяина.

Лохматый, отчего голова казалась очень большой, тощий и малорослый старец, сильно за семьдесят, в рубище, сивобородый, с вытекшим глазом и большими мохнатыми ушами, сполз с лежанки, стоял, почёсываясь, шевеля заскорузлыми большими пальцами ног с ногтями, похожими на когти, моргая единственным оком. Я подал ему огромные разношенные валенки, он зашаркал по избе, уселся на лавку и спросил:

«А ты кто такой будешь?»

Он делал вид, что страшно недоволен моим вторжением, но на самом деле был польщён, что гость проделал ради него такой долгий путь. Вместе с тем нетрудно было заметить, что его подозрительность была не только обычным недоверием крестьянина ко всякому постороннему. «А ты часом не из энтих?» Понятно, кого он имел в виду.

Я попробовал объяснить, зачем я здесь. Хозяин проворчал: «А чего рассказывать-то. Уже всё рассказано». — «Кому?» — «Ты святую книгу читал?» — спросил он. В доме не было никаких книг. Я спросил, читал ли он её сам. Он махнул рукой.

«Зачем мне читать. Я и так всё знаю». Таково было наше знакомство и первое впечатление о некотором смещении времён.

В этот вечер долго разговаривать не пришлось, я был измучен, для приличия посидел немного за дощатым столом перед пузатой керосиновой лампой. В углу блестел чёрный образ в жестяном окладе, за окошками стояла тьма. Старик выпил водки, подобрел; я улёгся на железной кровати, он всё ещё сидел, прикрутив фитиль, и больше я ничего не видел и не слышал. Открыв глаза, я увидел, что в горнице светло. Древние ходики показывали немислимое время. С настенного календаря много лет никто не срывал листки. Я вышел. Дед сидел, босой и лохматый, на крылечке. Солнце блестело за лесом.

В огороде находилось дощатое отхожее место, тут же на столбе висел цинковый умывальный. Я услышал голоса, старик разговаривал с девочкой, я догадался, что её прислала старуха разузнать, что и кто. Старик охотно отвечал, словно хвастал моим визитом; выходило, что я прибыл к нему с важным и таинственным заданием. Нёс обо мне фантастическую дичь. Вот вам, кстати сказать, пример того, как действительность превращается в сказку. Я был обрадован: это обещало богатый улов. В сарае удалось отыскать старый продавленный самовар, которым обитатель избы, очевидно, никогда не пользовался. Мы позавтракали втроём, и девчонка побежала домой.

Очистили стол, старик следил недобрым оком за приготовлениями. Это ещё что, спросил он.

Магнитофон, сказал я, будешь говорить, а я буду слушать.

Я придвинул к нему чашечку микрофона, нажал на клавишу, остановил, нажал на другую, послышался шорох, на всю избы раздался голос чревоушателя:

«... говорить, а я буду слушать».

«Не пойдёт».

Я остановил ленту.

«Почему?»

«Сказал не пойдёт, и всё!»

Помолчав, он снова спросил:

«А ты вообще-то. Ты кто такой?»

Я показал ему паспорт, штамп трудоустройства, вот, сказал я, видишь: научный институт. Ну и что, возразил он, они всюду.

«У него, может, и крест на грудях, а посмотришь — чёрт с рогами».

Я спросил:

«Где ты видишь у меня рога?»

II

Как я уже говорил — и охотно поделился бы своими мыслями, будь он жив, с незабвенным Косьмой Кирилловичем, — мне всё больше внушает сомнения то, что мы принимаем за действительность, о чём обычно говорят: а вот на самом деле... А что было на самом деле? Причуды пространства — здесь, на дне воронки — соединились с причудливым зигзагом времени. Я не философ и, вероятно, выражаюсь неуклюже. Я действительно заболел. Можете считать и так. Но ведь то новое и неожиданное, что завладело мною, не столько мысль, сколько чувство, интуиция, называйте как хотите, — на самом деле старо, как вся наша цивилизация. Да и не только наша: таково было мироощущение древнейших народов, такова мудрость индийцев.

Старик сказал:

«Я когда мальчонкой был, мы рыбу бреднем ловили, вон в той речке. А нонче не то что рыбу — как река называется, позабыли. Тогда она была широкая. И в озеро впадала. А теперь и озера нет».

«Куда же оно делось?»

«А Бог его знает, под землю ушло. Болото одно осталось. Может, когда и опять появится. Или удочкой. Я страсть как любил удить рыбу. Бывало, придёшь, ещё солнце не встало. Сядешь на бережку, такая кругом благодать! — Он подпёр щеку ладонью, поглядывал на катушки, мигал единственным глазом. — А как лента кончится, что будешь делать?»

«Другую поставлю».

Мы выпили, закусили; я ждал продолжения.

«Колбасу где брал, в городе, что ль? — Под городом подразумевался районный центр. — Давай ещё по одной, мать её в калошу... Давно было дело. Как сейчас помню. Было мне тогда годков этак восемнадцать. Уже усы пробивались. Красивый был, девки на меня заглядывались. Сижу я, значит, жду, когда клевать начнёт. День только ещё занимается. И ни души кругом, ни ветка шелохнёт. Вдруг порочиваюсь, гляжу — он рядом стоит».

«Кто?»

«Чего?.. — переспросил дед, словно очнулся. — Кто стоит-то? Он и стоит, как сейчас вижу. В белой рубаше, в лаптях, у нас и лаптей-то никто не носит. Забыли давно, как лапти плести. Я говорю: это откуда у тебя? И показываю; а лапти-то новенькие. Он смеётся, сам, говорит, сплёл. А ты, говорит, вот что, парень. Ты эту ловлю брось, иди за мной, будешь человека ловить. Так и сказал».

Пауза; он снова покосился на неслышно струящуюся ленту.

«Я говорю: куды ж я пойду? Я тут родился, у меня тут и мать, и отец. Оставь, говорит, родителей своих, иди со мной. Я тебя кой-чему научу. Ну я и пошёл. Шли, шли, места вроде знакомые, каждый кустик меня знает, а тут попали незнамо куда. Пришли в деревню, он стучится, хозяин открывает; как увидел его, поклонился до земли, заходи, говорит, милости просим, учитель дорогой. Видно, знал его али молва уже досюда дошла. Переночевали, а наутро и он пошёл с нами».

Я остановил аппарат, поблагодарил старика и вышел на крыльцо. Начало припекать. По-прежнему вся деревня была как вымершая. Я спустился к топкому берегу: за стеной осоки темнела и блестела чистая вода. С наслаждением окунулся, подождал, пока высохнет голое тело.

Когда я вернулся, хозяин сидел на печи, свесив босые ноги с лежанки.

«Здорово, дедушка, отдохнул маленько?»

Он мрачно отозвался:

«Здорово...»

«Узнаёшь меня?»

Он ничего не ответил, вздохнул, слез с печи. Мы уселись друг против друга. Главное в таких случаях — дать разговориться сказителю. Довольно скоро бросилась в глаза непоследовательность его рассказа; меня не это смущало. То, что хранилось в его памяти, на ходу превращалось в импровизацию, и наоборот. Я напомнил ему, на чём мы остановились.

Теперь уже говорилось о целой компании. Он называл её «артель».

Сколько же их было, спросил я, не удержавшись.

«А кто его знает, я не считал».

Может быть, двенадцать?

«Не, — сказал он, — куды такая орава. Иногда разные. Походит, походит, и уйдёт. Ну и ступай, никто тебя не держит. А один...»

Он хитро взглянул на меня.

«Что один?»

«Один оказался сволочью!»

Я дал ему знак помолчать минутку, проверил запись; голос из магнитофона послушно повторил его слова.

Отлично; едем дальше. Верил ли он в чудеса? Мне кажется, верил; во всяком случае, верил в правдивость своего рассказа. Так я услышал от него историю о нищем; где это было, я так и не мог понять. Нищий этот сидел на крыльце сельсовета, ходить он не мог, каждое утро его приносили и сажали, вечером уносили домой. Однажды он исчез, и явился некто, рассказавший о том, что он встретил паралитика в поле, тот спокойно шёл, а на вопрос, кто его исцелил, ответил: Божий сын, учитель. После этого слава о чудотворце разнеслась по всей округе. Народ выбегал ему навстречу, как-то раз подъехала машина из участковой больницы, старая колымага довоенных времён с красными крестами, оттуда вынесли девочку, утонувшую в реке. Другой раз учитель сидел на пне, на пригорке, люди собрались вокруг, матери принесли детей, и он держал речь, — о чём, рассказчик уже не помнил.

«А всё-таки?».

«Память-то как решето. О любви говорил... Любите, говорит, все друг дружку, и больше ни о чём не заботьтесь. Что вам начальство поёт, не слушайте, начальство начальством, а вы, говорит, живите своей жизнью. Врагов любите... Если кто вдарит, не давайте сдачи, простите ему: дурак, он и есть дурак. Сам не знает, что делает. Тут одна тётка вылезла, молодая. Из района приехала. Подходит и говорит: что ж, по-твоему, и врагов народа надо любить?»

«Что же он ответил?»

«А ничего не ответил».

Я спросил, были ли женщины среди учеников.

«Само собой; женщины-то всё больше за ним и бегали. А одна вообще осталась».

III

Прошло два дня, дед был готов повествовать ещё и ещё. Материал превзошёл все мои ожидания, я даже стал опасаться, что не хватит кассет. То и дело оказывалось, что его рассказы представляют собой вариации на хорошо известные темы, чему, конечно, не следует удивляться. Как уже сказано, в доме не было никаких книг, вообще ничего, что могло бы напомнить о религии, кроме образа в красном углу; я не видел, чтобы хозяин, входя в избу, когда-нибудь перекрестился. Всё же я спросил, приходилось ли ему читать Писание.

«Чего?»

«Ты, дедушка, читать-то вообще умеешь?»

«А как же. Совсем, что ль, меня за тёмного считаешь?»

«Ну и...?»

Я хотел сказать: ты ведь мне попросту пересказываешь эту книгу. В таком случае мы имеем дело с так называемым народным православием, и можно будет соответственно интерпретировать мой материал, опираясь на классические работы К.К.Тереножкина. Собственно, я к этому и готовился.

Дед промолвил:

«Всё враньё».

«Что враньё?»

«Что там написано».

Но ведь, осторожно возразил я, дело происходило очень давно, в Палестине, две тысячи лет тому назад, и те, кто об этом сообщают, хоть и не были свидетелями, но всё-таки были учениками учеников...

«Не знаю, кто там понаписал, написать всё можно, а вот я, вот-те крест, — и он стукнул себя в грудь, — видел сам своими глазами, ходил с ним, уж мне-то не знать!»

Он добавил:

«Писать они все горазды...»

Кто — они?

«Писаря! Всё пишут да пишут».

Две тысячи лет назад, повторил я.

«Ну и что? За яйца бы их всех повесить».

Я спросил старика: верующий ли он? Он нахмурился.

«Всё сказки».

«А это что?» — и я показал на угол.

«Икона, что ль? А кому она мешает; висит и пушай висит».

Он пробормотал:

«Если бы Бог был, разве бы он это допустил?»

«Что допустил?»

«Да всё! Всё это безобразие... Вот наш старшой, вот он был как бог. Потому и гинул».

Невозможно было добиться, где именно случились эти события, из его путаных объяснений получалось, что компания бродила где-то поблизости, может быть, в пределах одного района. Но, с другой стороны, всё как будто происходило в каком-то дальнем, глухом и неведомом краю. Мифическая география, раздвинувшая пределы нашего мира? Сакральное время, неожиданно вторгшееся в наши тусклые дни? Приведу ещё один эпизод из того, что я услышал.

Кто-то приехал на мотоцикле за учителем: звали в соседнюю деревню. Расстояние, по здешним понятиям, небольшое, километров десять; двинулись туда. Застали старуху-мать, ещё каких-то женщин, у всех красные от слёз глаза. Была там и внучка, подросток лет пятнадцати. Оказалось, что отец ездил в город по свим делам, вернувшись, слёг, посылали за фельдшерницей из медпункта, она дала таблетки, ничего не помогло. Подсев к женщинам, учитель начал их утешать, девочка вспыхнула и закричала: «Не нужны нам твои уговоры, иди откуда пришёл». И кулачком этак перед его носом. «Где покойник?» — спросил учитель (старик, как всегда, называл его «старшой»). «В погреб; завтра поп приедет, будем хоронить». — «Ну, пошли, поглядим». События развивались по известному сценарию: кругом зрители, учитель велел отворить погреб и громко позвал мёртвого. Сколько-то времени прошло в молчании, учитель, прочистив горло, снова: «Эй, ты! Лазарь! Выходи».

Старик утверждал, что слышал, будто старшой прибавил шопотом: выходи, а то меня убьют.

Толпа заволновалась, раздались возмущённые возгласы, угрозы, чудотворец молчал, стоял, задумавшись, окружённый учениками, готовыми, если надо, его защитить. «Помогите ему», — сказал учитель. Его не поняли. «Вылезти помогите». — «Да ведь он помер, чего людей мутишь, мозги засираешь». Кто-то сказал: «Ишь повадились... ходят тут». — «Милицию надо позвать», — сказал другой. — «Пушай неповадно будет». Ещё кто-то сказал: «Сами справимся. Ну-ка, папаша, подойди сюда. Ты вот всё людей учишь. А теперь мы тебя маленько поучим». Толпа снова зашумела, кто-то из учеников, кто похрабрее, ответил: «А вы не суетитесь. Делайте, что он говорит».

Когда уже собрались уходить, девочка встретила у околицы и попросилась уйти вместе с ними. Учитель спросил: «Как тебя зовут?» — «Марья меня зовут, Маша». — «Вот что, Маша, — сказал учитель, — ступай домой, отец твой ещё не выздоровел, будешь за ним ухаживать». — «Есть кому за ним ухаживать; а я хочу с вами... с тобой». — «Куда ж ты пойдёшь, наша жизнь походная. Мы мужики, нам и дождь, и холод не страшны». — «Нет, пойду с вами. Будь мне отцом».

«И её с собой взяли?» — спросил я.

«А куды ж денешься».

IV

Время учителя, баснословное время, о котором я только что упомянул, имело собственные будни; мало-помалу передо мной прояснился образ жизни странствующей «артели»: кормились чем придётся, ночевали в заброшенных сараях, в избах, в сельских клубах, на сеновалах. Маша не отходила от учителя ни на шаг; в первую же ночь объявила, что ляжет подле него. И в баню, и везде с ним.

«Где ж это вы мылись?»

«Где придётся. По субботам; он особо следил, чтобы разные насекомые не заводились. Люблю баньку! — сказал старик. — Старые кости погреть. Только нынче уж не попаришься».

Я опять спросил: известно ли ему, что в Евангелии есть рассказ о воскресении Лазаря? Старик махнул рукой. Наступила пауза.

«Хорошо тут у вас, — заметил я. — А как ты зимой управляешься?»

Он пожал плечами.

«Да так и управляюсь. Мы привычные. А то ещё был такой случай... Вышли к озеру. Большое, берегов не видно».

«Селигер?» — спросил я.

«А шут его знает, не помню. Да какой там Селигер, — подальше будет, теперь уж не найти. Там такие места, никто и не доберётся».

«Где — там?»

«Там, далече...»

С хитрым видом, ухмыльнувшись, он добавил:

«Если б и знал, всё равно бы не сказал!»

«Это почему же?»

«А потому — тайна! Вот, значит, пришли. А солнце уж садится. Велел нам искать переправу, а сам остался, хочу, говорит, один побыть, переночую у лесника, а завтра встретимся на том берегу. Ну искать не пришлось, выпросили у лесника баркас, сели и поехали. Четверо на вёслах, один на руле, другие так сидят, плавём этак не спеша. И ведь надо же, не расспросили как следует, думали, чего там, берег недалеко, засветло поспеет. Видим, солнце садится в тучах, ветерок поднялся, волны всё выше. И берег пропал. Совсем темно стало. Лодку нашу так и бросает, вверх-вниз, этак и перевернуться недолго. Братцы! что делать? Вдруг один говорит: а это кто там? Смотрю, фигура вдали. И вроде бы приближается. Привидение какое, или что? А это он там, хочешь верь, хочешь нет, стоит, и вода через босые ноги переплёскивается. Лица не разобрать, а только видно, что улыбается. Не пужайтесь, говорит, я с вами. Н-да, вот так».

Помолчали; старец развёл руками.

«Ну сам понимаешь, как это может быть? Чтобы человек стоял на воде. Вот ты, положим: ты можешь стоять? Это надо помешаться в уме, чтоб такое увидеть. Спятить, по-простому говоря. А на самом-то деле... на самом деле, вот-те крест!»

«Что, что на самом деле?»

«А вот ты угадай! — Он хихикнул, с хитрой сумасшедшинкой потряс корявым пальцем перед моим лицом. — То-то и оно, что человек-то был не простой! И буря затихла. И все доплыли, вот так».

«А Маша, где она?»

«Чего?»

«Ты говорил — всегда была с ним?»

«Какая Маша; не было никакой Маши».

«Она тоже с вами сидела?»

«Где?»

«В лодке!» — сказал я, теряя терпение.

Колючий взгляд. «Ты чего плетёшь-то? Какая такая Маша?»

«Девчонка — ты же сам рассказывал».

«Чего я рассказывал, ничего я не рассказывал».

Снова молчание. Сумасшедший старик. Я забарабанил пальцами по столу. Тема эта, однако, меня живо интересовала; кто знает, думал я, может, удастся разыскать вторую свидетельницу.

«Слушай, отец, — проговорил я и взял его за бороду, — если ты будешь крутить, я с тобой по-другому заговорю...»

Выпучив глаза от страха, он залепетал:

«Провалиться мне... вот-те крест...»

«То-то же, — сказал я. — Смотри у меня. — Помолчали. — Сколько ему было лет?»

«Сколько лет было? Годков тридцать. А может, пятьдесят».

«Как он выглядел?»

«Красивый был, с кудрями».

«Выходит, она жила с ним как с мужем, я правильно понял?»

«Ну жила, ну и что?»

«И он был не против?»

«А чего — не мужик он, что ли».

«Ты сказал, она была несовершеннолетняя».

«Ну и что».

«Ничего. А с другими?»

«Чего с другими?»

«С другими тоже спала?»

«Ну бывало. А чего тут такого? Коммуной жили. Твоё, моё — не было этого. Всё делили».

Я сказал:

«Хочу тебя спросить: а Маша эта. Она часом не забеременела?»

Видимо, воскресение Лазаря имело место после эпизода с хождением по водам, — другого объяснения я не могу предложить, если, конечно, не считать, что всё совершалось в особом времени, где хронологии в обычном смысле не существует.

«Вот что, — сказал я. — Где у тебя припасы? Щи будем варить».

V

Десять месяцев спустя, приехав повидаться с дедом-сказителем, я на всякий случай заглянул в райисполком к моему приятелю — делопроизводителю, и тот сообщил, что старик укатил в Великие Луки. Мне удалось связаться с дочерью; так я узнал, что на самом деле дед никуда не уезжал, а умер в своей избе довольно скоро после того, как мы виделись. Дочь увезла его хоронить в свой город, а кто сейчас живёт в его доме, неизвестно. Слышимость была плохая, разговор прервался.

Я не уверен, что застань я его в живых, я услышал бы во второй раз то же самое. Хорошо известно, что записанный однажды рассказ в дальнейшем не повторяется, сказитель прибавляет новые эпизоды, опускает старые. Мне уже приходилось упоминать о народном православии, которое никакая власть не могла истребить. В дни, когда я гостил у старика, передо мной разворачивался эпос, возможно, существующий в других изводах, в памяти и воображении других рапсодов, если они ещё живы. Вернувшись, я уселся за работу, заново сверил отпечатанный материал с магнитофонной записью, — к сожалению, в двух-трёх местах лента оказалась испорченной, — но что-то произошло: я почувствовал, что утратил желание заниматься анализом текста.

Не стану вдаваться в подробности моих тогдашних планов. О том, чтобы публиковать мою запись, конечно, не могло быть и речи. Я собирался выступить с

предварительным сообщением на конференции о латентных феноменах культуры, представлялось весьма перспективным интерпретировать мой материал как часть специфического пространства текстов, выполняющих ряд параллельных идеологических функций, помимо официальных — газетных, школьных и прочих — текстов.

Стоило мне, однако, вспомнить моё путешествие в озёрный и болотистый край, глухую деревню, рассвет на берегу сонной речки, искры света на воде, росу, которой осыпала меня ива, услышать кашель кривого старца и его сиплый голос, — стоило только вспомнить, и мои академические проекты опали, как высохшая листва. Чуть ли вся моя наука рассыпалась в прах. Или, по крайней мере, потребовала коренного пересмотра. Представляю себе, что сказал бы, услышав это, незабвенный Косьма Кириллович.

Но мы забежали вперёд.

Мой отъезд из деревни — точнее, поход с магнитофоном и рюкзаком, в надежде встретить по пути какой-нибудь транспорт, — я наметил на завтра. Хотелось напоследок узнать, чем же всё-таки кончилась вся история, куда девался учитель, — если дед ещё был в состоянии прибавить что-нибудь к своим рассказам. Может быть, следовало сказать: к своим рассказам? Ведь прошло столько лет.

В том-то и дело. Дед говорил, что ему в то время было не больше двадцати. Теперь ему под восемьдесят. Следовательно, дело происходило до революции, в крайнем случае — в первые годы советской власти. У старика же, судя по мелким подробностям, получалось, что учитель явился и странствовал со своей командой сравнительно недавно.

Взглянём на дело с другой точки зрения. Может быть, это было явление Мессии? Второе пришествие, о котором толкуют верующие — и окончившееся неудачей? Незачем говорить о том, что подобная версия могла иметь для меня смысл и значение лишь как часть всё того же эпоса.

«Куды делся. Никуды не делся. Пропал».

«Как это, пропал».

«А вот так. Кто говорит, ушёл на север. В скиту будто бы скрывается, а какие там скиты, нигде ничего не осталось. А кто и вовсе разную чепуху понёс. Туда, дескать, вознёсся. — Он ткнул пальцем в почерневшие стропила потолка. — Куда это он вознёсся, на крыльях, что ль? Сказки всё это».

«Значит, — спросил я, — его всё-таки помнят?»

«Язык без костей — вот и болтают что взбрэндится».

«Что с ним дальше-то было?»

«Сгинул! Сгинул, и всё», — сказал дед и неожиданно всхлипнул.

После некоторого молчания:

«Что случилось... а вот то и случилось. Я тебе так скажу: у каждого бывают такие минуты, что хоть вешайся. Вдруг затосковал наш старшой, всё, говорит, ни к чему. Вот я с вами хожу, учу народ уму-разуму, я ведь русский народ люблю. Хочу, чтоб жили по совести, по человечеству, друг дружку уважали, чтобы один другому помогал. А что получается? Вот умру — они, как были, такими и останутся. И даже ещё хуже. Всё напрасно, и жизнь моя, говорит, прошла без толку. Что это я себе вообразил? Ничего тут не поделаешь и не переделаешь. Потом подумал и говорит: ступайте вы, дорогие мои, любимые, своєю дорогой, возвращайтесь к родным, а я пойду моим путём, моей судьбе покорюсь».

«Так и сказал».

«Так и сказал; сам слышал, своими ушами. Мы, конечно, переполошились, дескать, как мы тут без тебя. Тогда уж и нас возьми, веди куда хочешь. Нет, говорит. Вот петух пропоёт, я с вами и распрощаюсь. Только не получилось по-евоному. А может, он и об этом думал. Может, предполагал. В общем, что там говорить, арестовали его».

«Кто арестовал?»

«Ну что, что, — сказал дед, раздражаясь, — непонятно, что ль? Как людей арестовывают? Приедут ночью — и поминай как звали».

Так я и знал — этим должно было кончиться. И тут уж, разумеется, никаким мифотворчеством не пахло.

«... Ведь никто слова не скажет, никто не заступится. Да ещё потом пойдут разговоры, всё шепотком, дескать, нет дыма без огня, коли взяли, значит, за дело. А то и вовсе ни гу-гу. Им велят молчать, они и будут помалкивать, словно воды в рот набрали. Словно и не было такого человека. Какой-токой учитель — не было никаких учителей. Нет, чтобы сказать: братцы! Милые мои... это что ж такое делается! Людей хватают ни за что ни про что, а мы тут сидим и молчим. Человек добра хотел... У! — прошипел старик. — Я бы этих сук поганых, мандавошек!.. А вот я тебе так скажу: прав был наш старшой. Таким людям, как он, здесь делать нечего».

«Где — здесь?»

«В России нашей, чтоб ей черти...»

Россия большая, заметил я.

«Большая-то она большая, а всё равно найдут. Они везде. Такому человеку всё равно жить не дадут».

«А остальные?»

«Какие остальные?»

«Ты говорил — вы жили коммуной».

«Верно. Только на одном месте не жили. То в одну деревню, то в другую. Всё делили промеж собой. Только вот завёлся среди нас предатель-иуда, как бы сказать — стукач. Деньги за это получал».

«Откуда ты знаешь?»

«Откуда знаю... Меня потом тоже посадили. Обо всех спрашивали, а про иуду ни слова. Будто его и не было. Да ведь они всюду. Ты-то, небось, тоже, а?»

«Дедушка!»

«Ну ладно, не сердчай. — Он продолжал: — Вот как-то пришли в одно село, хотели в сарае переночевать. А уж там все знают, мальчишка прибежал, говорит, председатель к себе зовёт. Пошли к председателю, изба большая, под железной кровлей, сразу видно — начальство живёт. Сам стоит на крыльце, кланяется, руками разводит, милости прошу, гости дорогие. А там стол накрыт, хозяйка бегаёт туда-сюда. Учитель говорит: спасибо, только ведь мы не пьём...»

Я подлил старику, он бодро опрокинул в рот четверть гранёного стакана, отдуваясь, понюхал хлеб. Покосился на икону, хрустнул зелёным лучком.

«Председатель колхоза?»

«Ну да. Колхоз-то у него — три бабы с половиной, чего-то там ковыряют, а сам небось богатый. Сидим, кушаем. Хозяйка потчует, наливочки домашней, говорит, ведь можно? И спать, говорит, для вас приготовлено, вас в горнице положим, а друзья ваши, если хотят, можно на сеновале. Учитель поблагодарил, извините, говорит, столько хлопот вам доставили. — Что вы, что вы, это для нас большая честь, великая радость. — И вот видим, лицо у нашего старшого грустное-грустное. Посмотрел он на нас на всех и говорит: тоскует моя душа, что придётся вас покинуть. Не станет пастуха, и разбредётся стадо. А мы сидим, ничего не понимаем. Он опять обвёл всех глазами, опустил голову и промолвил: один из вас меня предаст. Ложитесь, говорит, спать, небось устали, и хозяевам отдыхать пора. А я выйду, посижу на воле».

«Не знаю, — сказал старик, — ничего-то я больше не знаю... Чтó было, как было, всё забыл. А может, проспал. Молодой был. И другие — прохрапели всю ночь. Утречком выходим, председатель сидит, и лица на нём нет. Что такое? А то, говорит, что нет больше вашего учителя. Приехала машина, вывели его и затолкали в машину. И увезли — может, в район, а может, ещё куда».

Катушки вертелись. Старик мигал своим глазом.

«Говори, отец, говори...»

«Приехали втихаря, фары потушены, собака забрехала. Спрашивают: здесь живёт такой-то? Председатель напугался, нет, говорит: не живёт он у нас, попросились переночевать, мы и пустили. — Где он? — Председатель опять: попросились-де на ночь, а кто такие, знать не знаю. — Как же это вы пустили к себе людей и не знаете, кто это. — Да пожалел, говорит, погода была плохая. И тут вдруг выходит этот. Сейчас, говорит, я его разбужу. А его и будить не надо, сам вышел из горницы. Иуда этот говорит: здравствуй, учитель! Как спалось? Подошёл к нему и в щёчку чмокнул. И вот вдруг слышат — я-то спал, ничего не слышал, а люди рассказывают, — слышат, петух в сарае закукарекал. Слышанное ли дело. На дворе темень, а он вдруг запел».

«А что же председатель?»

«Забрали, говорит, вашего учителя. Не сразу, говорит. Девчонка эта так за него уцепилась — не дам, кричит, не дам! Царапается, кусается, как бешеная. Пока её не огрели так, что она ничком повалилась».

VI

На этом, собственно, сбор материала закончился; дед впал в ступор, каждое слово надо было вытягивать из него клещами. «Говорю тебе, помер. Чего тебе ещё надо?» — «Где?» — «На этапе помер, с уголовниками везли».

А ты, хотел я спросить, тебя позже забрали? Где вы встретились, в этапной камере? Сколько ему влепили? Сколько дали тебе? Что стало с другими? С Машей?

Сказитель храпел на печи. Наутро, как уже сказано, я собрал свои пожитки, добрался до районного центра, на это ушёл целый день. Хочу повторить: страна у нас обширная, но вовсе не обязательно отправляться в далёкое путешествие. Ехать надо не вдаль, а вглубь.

Я не могу — по крайней мере, сейчас — заниматься сопоставлением моего «текста» с апокрифической литературой. С гностическими евангелиями, например. Точно так же нет у меня ни малейшей охоты обсуждать вопросы христианского вероучения, фантазировать о Втором пришествии, что-нибудь такое. Это не моя область. Нечего и говорить о том, что я отнюдь не считаю рассказы кривого рапсода чистым вымыслом, — в этом отношении я остаюсь последователем К.К.Тереножкина. Я стараюсь свести концы с концами. То, о чём я ещё раз, не боясь повториться, хочу сказать, есть всего лишь одна из версий — одно из возможных объяснений. Но я убеждён, что я прав.

Мне трудно подыскать подходящие выражения. Это скорее чувство, чем теория. Я больше не верю в то, что вне нашего, для всех одинаково текущего времени нет никакого другого времени: повторяющегося, циклического, ещё какого-нибудь. Я в это не верю, потому что соприкоснулся с другой реальностью. Много повторяется, напоминает уже известное нам. И вместе с тем всё происходит по-другому. Но это не «переписывание», не плохая копия безупречного оригинала. Это просто другой оригинал. То, что мы называем правдой, исторической достоверностью, о чём говорим: «на самом деле происходило то-то», одинаково верно и для этого, и для того, другого бытия. Но одно исключает другое. И с этим приходится как-то мириться.

Мною были предприняты кое-какие дополнительные розыски. После известных перемен появилась возможность «ознакомиться с делами». Было такое короткое время: тайная полиция приоткрыла свои архивы. Я сидел в зале для посетителей, видел людей, листавших пухлые папки. Последовал новый вызов к окошечку: меня заверили, что никакого «дела» о странствующем учителе и его спутниках не существует. Уничтожено? Нет, оно не могло быть уничтожено.

Расхрабрившись, я спросил: следственного дела нет, а как насчёт оперативного? Оперативные дела, сказал человек в погонах, не выдаются, но и этих документов нет.

«Я думаю, — добавил он, глядя на меня открытым, честным взором бывшего палача, — что такого человека попросту не существовало».

Мне не удалось найти Машу; предполагаю, что её нет в живых. Много времени и труда потребовалось, чтобы набрести на другой след. Он тоже оказался тупиковым. В городе Великие Луки я разыскал дочь старика, она развелась и жила с внучкой. Она смогла сообщить лишь то, что я уже слышал от делопроизводителя районного совета. Внучка (по странному совпадению её тоже звали Мария) никогда не видела одноглазого дедушку, вообще ничего не помнит. Несколько раз спросила меня, не путаю ли я.

Я уже ничему не удивляюсь.

2005

ПОВЕСТИ СТРЕЛКИНА

Редакция! Эти бумаги я нашел на скамейке в саду на Невском, когда барышню ждал. Она как взглянула, так и рассмеялась: «Раз на Стрелке нашел — значит, “ПОВЕСТИ СТРЕЛКИНА”!» Пошли в редакцию, может, денег дадут!» Отсылаю бумаги тебе. Надеюсь, они тебе пригодятся. Делай с ними что хочешь, а я свой долг выполнил, о чем и сообщил участковому, который ведет список моих добрых дел, необходимый для отчета в колонию РК-125, откуда меня досрочно-условно выпустили. Так что никто не скажет, что я чужое присвоил, выбросил или пустил на махру, что у нас на химии то и дело случалось (даже Ленина жгли, не говоря уже о всяких других). А если гонораром поделишься, возражать, конечно, не стану. Заранее благодарю.

Демьян Чурук, разнорабочий

ВЕРНЫЙ СЛУГА

Один большой начальник отправился к любовнице в пригород Москвы. Свой белый «мерседес» с шофером он оставил у переезда, а сам двинул напрямик, через пути. Идти было довольно долго, но он хотел еще раз обдумать неприятное положение — его телохранитель зачастил к его любовнице — и решить, от кого избавляться, если их связь подтвердится.

Застав у девчонки того, кого он и предполагал застать, он заметил раскрытую постель, придвинутое к ней зеркало, бутылку коньяка на столе, панику в их глазах. Одежда охранника была явно не в порядке. А когда, рванув со злости халат на девчонке, он увидел знакомый секс-лифчик, он дал охраннику тяжелую пощечину; тот въехал ему по скуле, девчонка закричала, а он, разбив в ярости ногой зеркало, выбежал наружу и ринулся прямо через пути, прокручивая в голове список тех своих знакомых, которые могли бы помочь нанять надежных парней, чтобы отомстить обидчикам.

Краем глаза он видел далекую фару поезда, но думал успеть, однако запнулся, замешкался и чудом перескочил через рельсы под самой фарой.

Не успел он оглянуться, как вдруг оказался в потоке грохота, лязга и свиста — это мчалась встречная электричка. Он попал между двумя поездами. Его стало кружить и бить о вагоны. Потеряв ориентацию, не понимая, что происходит, и думая, что он попал под поезд и вагоны грохочут над ним, он закрывал голову руками — но кланица только нарастало; он вытягивал руки — их било о поручни; он пытался устоять — а его швыряло между поездами и било о вагоны. Почувствовав страшную боль в руке, он рухнул без сознания.

Когда электрички умчались, его заметили грибники, переживавшие у кромки леса. Они оттащили его с путей, кое-как стянули ногу — рана была глубока, лилась кровь, а из сломанной руки зловеще вылезали белые кости.

Кто-то добрый побежал через лес к переезду, увидел белый «мерседес» и стал просить шофера срочно доставить в больницу раненого, попавшего между поездами, но шофер наотрез отказался везти неизвестно кого неизвестно куда, потому что он ждет хозяина и уехать никуда не может.

— Умер-шмумер, я тут при чем? Не надо было между поездами скакать! Как я могу хозяина бросить в лесу одного? Нет, это не идет. В «скорую» позвонить — да, пожалуйста, нет проблем — (что он и сделал по радиотелефону), — а уехать с поста не могу, не имею права, друг!

И он даже отъехал от переезда, чтоб избавиться от настырного просителя.

Кто-то добрый прибежал назад и вместе с грибниками стал смотреть на раненого, который то терял сознание, то приходил в себя и шептал:

— Ну что это, где шофер? Где машина? Почему здесь? Зачем? Что?

— Придет машина, сейчас придет, мы вызвали, потерпи!

Грибники что-то пытались делать, но тщетно: кровь лилась из ран, вся трава кругом была черна и липка, от нее поднимался удушливый сладковатый запах, и грибники оттаскивали раненого от натекающих луж, ахая, ругая «скорую» и разрывая на бинты свои рубахи.

Через два с половиной часа, когда их, наконец, нашла «скорая», раненый был едва жив и по дороге в больницу умер. А верный слуга все ждал, удивляясь сексуальным успехам шефа — обычно тот укладывался в полчаса.

ЖИЛЕТЧАТЫЙ И КОБУРНОЙ

Однажды встретились два бывших одноклассника. Они сели прямо на кухне, собрали выпить и закусить. Один, здоровый, снял куртку и остался в кобуре, второй, толстенький, повесил пиджак на стул и расстегнул жилетку.

Кобурной сказал:

— Мы знакомы сто лет, знаем друг друга от и до. Пока я сидел, ты бизнесменствовал...

— Бизнесменил потихоньку, — уточнил в жилетке.

— Вот-вот, — усмехнулся кобурной, — ты всегда был отличником, слова знаешь. Поэтому я и предлагаю тебе бизнеснуть разок вместе.

— У нас ведь разные бизнесы? — заметил жилетчатый.

— Но цель-то одна. Короче: хочешь пару миллионов баксов?

— Кто же откажется, родной?

— Тогда я завтра принесу тебе четыре лимона фуфловых долларов, они мне ничего не стоят, дружок из Азии подогрел, а ты их будешь постепенно растворять в своем банке. Понятно говорю? Моя фирма сдает валюту, все честь-честью, потом двери на запор и ерши их в общаке, с настоящими гриннами тасуй. И все. Оформлять будем как полагается: фирма, доходы, приходы, расходы и вся прочая поебень, как там у вас для марьяжа полагается. Мне — лимон, настоящих, остальное тебе, сколько налимонишь...

— Ты когда вышел-то, братан? — перебил его жилетчатый.

— Полтора минуло, а что?

— Так, просто. Отстаешь от жизни... — Он помолчал, играя цепью от часов.

Друг детства смотрел на него, не мигая.

— Выходит, ты хочешь продать мне за миллион настоящих долларов несколько кило резаной бумаги? — сказал он погодя.

— Это не бумага. И не продать, а в дело войти.

— Как бы то там ни было. Все дело в том, родной (мы с тобой близкие люди, можем говорить открыто), что в банке уже год настоящей валюты никто в глаза не видел, так что твое фуфло будет просто лишним. Давно этим занимаемся. Если бы ты только знал, откуда только туфтовые баксы не идут!.. Из Польши, из Сингапура, из Африки. Вот, говорят, Иран у «штази» два станка купил и уже три миллиарда долларов нашлепал. Теперь вот Азия. А рублей сколько фуфловых ходит —

ужас! Да и совесть тоже надо иметь, рухнет же экономика, чего тогда делать? У пьяного ежика сосать?

— Это что же, все места заняты, что ли? — кобурной уставился на него тем противным, отрешенно-стальным взглядом, за которым всегда, начиная с пятого класса, следовала вспышка. — Смотри, чтоб тебе с этим ежиком раньше не пришлось встретиться, пока экономика еще стоит!.. Ты что мне, политграмоту вздумал читать, о совести вспомнил, шалава? Я тебе дело говорю — а ты мне романы тискать, Паустовский?.. Что у кого «штази» купила?.. — Он потянулся к плечу и, не отводя взгляда от жилетчатого, начал отстегивать хлястик кобуры.

— Стой, не кипятись, — поспешил объяснить жилетчатый, кладя свою отманикюренную ладошку ему на лапу, — просто пойми: у нас все забито. Но я попробую спросить напротив, может, они чем-нибудь помогут. Не волнуйся, не пропадет твоя кукла, найдем ей применение. Отвечаю. Слово банкира! — сказал он напоследок, украдкой утирая холодный пот.

И они выпили за встречу, за дружбу и на посошок, а потом разбежались: один на надежном «Вольво» — в банк, другой на быстром «БМВ» — в аэропорт, встречать из Азии никому не нужные лимоны, которым, однако, скоро нашлось очень даже неплохое применение, так что кобурной пригласил жилетчатого в ресторан, куда тот явился в сопровождении двух любовниц, и познакомился с приятелями друга детства, вспомнив при этом поговорку о том, что друзья моего друга — мои друзья.

Шкафы и лбы с умилением смотрели, как жилетчатый пил ликер из крошечных рюмочек, курил черные сигарки и хлопал по мордашкам своих девочек. И говорили, чокнувшись стопарями:

— Вот, понимаю, чистая работа. А тут, понимаешь, ни сна, ни покоя, одна маета — а результаты?..

— Учиться надо было, родя!

— Да, говорила мне мамка — учись на компьютере...

— А ты все больше кошек за хвосты вешать!

— Во-во. Ну будем!

— За связь науки с производством! — говорил жилетчатый и с пьяной слезой дарил другу детства свои часы с цепью, тот стаскивал с пальца перстень, оркестр настраивал балалайки, амбалы и бугаи вставали и пили, а девочки, шаря по ним глазами, перешептывались меж собой:

— Ну жлобы, жлобы!.. А наш-то щекотунчик — сила!

АНТИПАТРИОТКА

Села женщина с сыном в поезд на Белорусском вокзале, ехала к мужу за границу.

Проводники, как водится, помогли ей затащить коляску и скарб, дали чай и пообещали приглядывать за вещами, потому что надо было часто водить в туалет простуженного ребенка.

Накормив и напоив сына, она достала книгу и принялась читать. Она привыкла быть одна и надеяться только на себя — муж четыре года работал на Западе, она иногда ездила к нему, в остальное время писала бодрые письма, хотя ночами плакала в подушку. Она не могла оставить больных родителей, муж не мог бросить выгодную работу, кормившую их всех; брак их подвергался непосильным проверкам, оба чувствовали это, и оттого встречи их каждый раз бывали все печальней.

Незадолго до польской границы (была почти ночь) она в очередной раз повела сына в туалет и, вернувшись, обнаружила, что в купе нет ничего, даже пакета, куда она собирала грязные пеленки. Купе было абсолютно пустым.

Она кинулась к проводникам, но у них было заперто. Она побежала в соседний вагон — там та же картина: ни души, только злобный бой вагонных колес о шпалы и рывки пола на стыках рельс.

С ребенком она не могла идти дальше. Вернувшись, попыталась обдумать случившееся, взять себя в руки, но положение было идиотски нелепым.

Вскоре вошли польские пограничники, осветили ее фонариком и потребовали документы. Она сказала, что ее только что обокрали, на что пограничники опять, уже внимательнее осветив ее и осмотрев с ног до головы, сказали, что «по-руску не мувимы» и где «папиры»? Она ответила на смеси всех известных ей славянских слов, что ничего нет, все украли.

— Фшистко украдли? Пашпорту теж нема? — удивились они.

— Няма, нямя! — отвечала она, чуть не плача.

Ребенок молчал, однако пограничники осветили и его, как будто это была кукла, в которой везут героин. Они тупо смотрели на него. И тут ей показалось, что они пьяны. Это испугало ее, но она собралась в кулак и еще раз повторила им все.

Тут послышались лязг дверей, голоса, по вагону кто-то пошел, и пограничники, без долгих разговоров приказав:

— Идзь до пшоду, цыганка, порозмавямы у начельника! — повели ее на таможду, где царила большая суета, ходили солдаты с собаками, ездили автокары и ругались какие-то люди, чей багаж везли два носильщика под надзором толстого майора.

На таможде ее опять долго «не розумели», расспрашивая с издевкой, ошупывая взглядами и пару раз недвусмысленно трогая за бока, а замначальника таможди предложил переночевать у него в гостях, выпить водки, а может, и заработать, что так любят ее соотечественницы, он их много повидал.

Она вспыхнула, резко ответила, замначальника немного стих и приказал привести проводника из ее вагона. Когда того доставили, он спросил:

— Знаш те кобете? Мяла она билет? Папиры? Где ей багаж? Где жечы? Вещи, вещи где?

Проводник, еле держась на ногах, утираясь и делая удивленное лицо, разводил грязными руками:

— Первый раз вижу, ваше яснепанство! В нашем вагоне не было, у меня глаз алмаз, а слово железо! — и показывал какую-то засаленную папку, где на местах «28» и «29», действительно, было пусто. — Вот, нету билетов, ваше сиятельство! Пустое купе было, первый раз вижу!

И замначальника отпустил его, сказав:

— Свинья Иван, завше пьян, гнуй! — а ей предложил, во-первых, написать заявление о краже и, во-вторых, дать телеграмму родственникам, чтоб они прислали деньги на обратный билет, но только на его имя, потому что без документов на почте ей деньги не выдадут. Позвонить он ей не разрешил, потому что это служебный телефон и занимать его нельзя.

Наконец, их отвели в очень подозрительную комнату «матери и ребенка», где она испытала столько страха, сколько не собрать за всю прежнюю жизнь. Всю ночь стуки и грохоты пугали ее, не давая заснуть; ребенок нервничал, ничего не понимал, и она боялась, что ночью пьяные пограничники сделают с ней что-нибудь страшное.

На другой день она все-таки сумела позвонить брату, и тот перевел деньги срочным платежом.

Убедившись, что валюта поступила, замначальника велел посадить ее в первый проходящий поезд, приказав шустрому проводничку:

— Одвезешь до Москвы, пес! — на что тот козырнул, пообещав:

— Будет сделано, шеф, лишь бы ты был здоров!

— И всадишь до таксувки, быдлак! — подобрел замначальника, вдруг вспомнив, что еще немного долларов капнуло на счет. Пустячок, но приятно.

Шустрый проводник поселил ее у себя в купе и приставал к ней до тех пор, пока она не сказала, что ее будут встречать и ему не поздоровится, если она скажет брату. Тогда он, пробурчав:

— Стервоза натуралис! — надолго исчез и появился только перед Москвой, а на ее напоминание о такси огрызнулся: — Делать мне больше нечего — на такси всяких сажать!

После этого она, улетев через неделю самолетом, больше назад не возвращалась, хотя очень любила свою родину и никогда уезжать из нее не собиралась.

КАРТОТЕКА

Зовут его Ганс, фамилия Мюллер. Работает он в одном из туристических бюро во Франкфурте-на-Майне. У него есть хобби — русские красавицы. Вся стена увешана их снимками. Это большая коллекция, причем все карточки строго пронумерованы, а в папках хранятся досье: письма красавиц, его ответы, новые послания. Это его картотека, которую он начал вести после того, как один раз, будучи в Москве по льготной турпутевке, дал, по наущению знакомых, ради шутки, объявление в «Учительскую газету» (туда было дешевле всего): «Немец приятной наружности ищет русскую женщину для совместного будущего».

После того, как число писем за несколько дней перевалило за полсотни, он составил картотеку, потом уехал, но и дома продолжал получать пачки писем, которые ему пересылали с оказией московские знакомые.

Он их нумерует, классифицирует, раскладывает по группам, а на папки клеит фотографии. В список «А» попадают те женщины, с которыми он переспал бы с большим удовольствием. Эти фото он подолгу рассматривает. Письма этой группе пишутся длинные. Русского языка Ганс не знает, но у него есть помощник — казахстанский немец, переселенец из Караганды (5 марок письмо).

Список «В» — для баб, с которыми он переспал бы охотно, им Ганс пишет аккуратно, хотя письма тут покорооче (3 марки письмо). Самые уродливые дамы попадают в список «С», и цена им 1 марка — отказ плюс пять марок за пересылку, на что Ганс, как ни странно, никогда не скупится, а в первом и последнем своем письме пишет всегда одну и ту же причину отказа: «Я чувствую, что мы не сойдемся характерами».

Письма претенденток — разной длины, грамотности и накала, но все содержат один и тот же мотив: вырваться, бежать!

Женщины изо всех сил расписывали свои достоинства, хобби и плюсы, причем все письма были очень красочны и почти в каждом были литературные сравнения: писали о схожести своей судьбы с судьбой Катерины (которой тошно в темном царстве); о близости к поступку Анны Карениной (если не уедет из Чебоксар); сделав предложение заключить брак заочно, извинялись за смелость, ссылаясь на Татьяну Ларину; подобно Вере Павловне, видели во снах дворцы Франкфурта и Дюссельдорфа; были и такие, которые за мужа и семью готовы в горящие избы входить; одна учительница из Перми протестовала против того, что ей приходится быть в роли той гагары, которой только и остается, что следить за полетами Буревестников, сидя дома, в хрущобе, потому что зарплата у нее 100 000 рублей, что равняется старым 100.

Были рассказы о карельских реках и о соблазнительных таежных ночевках, об ухе на озере и грибах на прутиках, о кострах и сибирском раздолье (хотя слова «тайга» и «Сибирь» для Ганса обозначали конец света, и он, бывало, смеялся в душе над дурочкой, которая верила, что он может вот так просто взять и поехать жить на край света, где, говорят, тараканы, а люди от голода едят ягоды и корни); кто-то пытался заманить его на Алтай, где растет женьшень; какая-то учительница немецкого языка признавалась в том, что с детства мечтала поцеловать порог дома, где родился Генрих Гейне; другая рассказывала о способах заварки сибирского чая и о тайнах двойных пельменей; кто-то предлагал все свои знания и

силы великой Германии, где покой и порядок, в отличие от Кемеровской области, где страшно не только самой по улицам ходить, но и собаку выпустить: поймают и на шапки перелицуют; были оптимистки-патриотки, которые хотели забыть ошибки прошлого и строить интернациональную семью, где оба ребенка, говорящие на четырех языках, закончили бы Пажеский корпус и Пансион благородных девиц («или как это там называется»); были готовые ко всяким трудностям совместной жизни, а какая-то пожилая учительница из Мордовии, сразу попавшая в список «С», страстно желала только одного: увидеть Париж — и умереть.

Ганс не особо вникал во все эти тонкости, брал несколько раз в году отпуск и льготным тарифом летел в Москву, в одну теплую гостиницу, где и производил осмотр претенденток. Заранее, из Германии, он извещал всю группу «А» и выборочно группу «В» (про запас) о своем приезде. И женщины ехали к нему со всех концов за свой счет, заранее зная, что он — очень занятой человек и больше чем несколько часов, уделить не сможет. За ресторан платили тоже они, что было одним из жестких условий встречи.

Он тщательно готовился и спускался в вестибюль. Дальше бывало по-разному: одни, пожав потную руку, тут же уходили (внешне Ганс был довольно уродлив, с толстым задом и в свиных очках); но большинство застревало, а большинство от большинства оставалось и на ночь, потому что всем без исключения Ганс говорил одну и ту же фразу:

— Надо проверить совместимость, без этого не идет, ты же понимаешь сама, — и некоторые старались всю, а он фотографировал их «на память», говоря: — Ты мне очень нравишься. Я думаю, что я женюсь на тебе.

Наутро он аккуратно записывал данные для визы, говорил, что надо подумать, но что он уже близок к тому, чтобы жениться именно на ней, редко назначал новое свидание, но для большинства на этом все заканчивалось — претендентка летела обратно в Читу или Томск, а он шел принимать ванну, готовиться к завтраку с очередной претенденткой — день был расписан плотно.

Пропустив в среднем тридцать-сорок женщин, он, довольный, улетал домой, в свой городок под Франкфуртом. Там все знали о его хобби, и он подробно и охотно, обстоятельно сверяясь с дневником и показывая фотографии, рассказывал собутыльникам о русских красавицах, на что молодые люди смеялись, говорили:

— Slawen sind Sklaven!¹ — и просили взять с собой в поездку, а пожилые печально качали седыми головами:

— Armes Russland! Das ist nicht gut! Und besonders für uns!²

Все это длилось до тех пор, пока однажды его не опоили и не обобрали до нитки, после чего он на время перестал ездить в Москву, но потом дал объявления в престижных изданиях и запасся канцпринадлежностями, а заодно и дискетами, потому что намеревался теперь составлять картотеку на компьютере и только менять имена в письмах, чтобы не платить казахстанскому немцу, который довольно злобно ругался с ним из-за этого, доказывая попутно, что никогда ему не понять русских женщин.

— А я и не хочу! — отвечал Ганс. — Ты же меня знаешь: если я один раз пересплю с женщиной, то потом она мне противна. Такая уж у меня натура. Я люблю коллекционировать женщин.

— Вот был бы Сталин жив, тогда посмотрел бы я на тебя! — огрызнулся казахстанский немец, ибо ссылаться ему было больше не на кого.

¹ Славяне — рабы.

² Несчастливая Россия! Это нехорошо! Особенно для нас!

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Студентка пришла к доценту с темой семинара.

Он был в хорошем настроении и быстро все утвердил, сделав попутно студентке комплимент.

Придя домой, она говорила слушавшей ее со слезами радости на глазах матери:

— Какой приятный человек! Такой внимательный!.. Вот это я понимаю — ученый! Недаром все хвалят его! По глазам видно — глубокая натура! И одет со вкусом.

Когда она принесла ему первый текст, то внезапно выслушала долгую и язвительную нотацию, где слова «тема куца, материала недостаточно, методология ни к черту, подход негоден» были далеко не худшими. Она в слезах прибежала домой:

— Индюк, как это я раньше не замечала! Дурак надутый! Наверно, поссорился со своей крысой-любовницей, а я-то тут при чем? В красном свитере каком-то... И вообще — как ученый может иметь такую мертвую душу, так не понимать людей? Непостижимо!

Скоро она должна была нести готовый доклад. Она очень трусила. Вопреки ожиданиям, успех был полным. Придя домой, она рассказывала:

— Все-таки он очень обаятелен, просто душа! Настоящий специалист, недаром его и в Европе знают. Во все вник, все усек. И галстук был так повязан, с ложбиночкой, знаешь?..

— Знаю, знаю, — говорила всепонимающая мама. — Чай стынет, пей!

На семинаре он вдруг за что-то раскритиковал ее в пух и прах: и решения проблемы нет, и тема раскрыта поверхностно, и говорит она невнятно, и делает ошибки в ударениях, что вообще уже переходит все границы.

Дома с ней случилась истерика:

— Мелочник! В таких вещах копаются, как ему не стыдно! Ерундист поганый! Эстетика, этика, а сам одет, как козел! Разве это по-мужски? В таких пустяках роется, как в грязном белье! Фу, противно просто! Тоже, со свиным рылом в кашный ряд! И как ему только диссертацию удалось защитить?..

— За деньги! — хмуро подавал голос папа, мама поджимала губы, дедушка вспоминал о добрых временах, когда таких вейсманистов-морганистов ставили без лишних слов к стенке, а бабушка уже спешила со спасительным ужином.

А вскоре он неожиданно похвалил ее, привел в пример другим студентам, а наедине вдруг пригласил к себе на дачу. И она, сияя, шептала подруге в трубку:

— Фигура, взгляд — что надо! Бабы писаются от него. Говорят, двух любовниц имеет...

— Смотри третьей не стань.

— А хотя бы, что тут такого?.. Только польза будет. Он и в науке разбирается — будь здоров, и мужик что надо!..

ПРОСТОТА ПРОСТАТЫ

Как-то главврач большой больницы вызвал к себе двух онкологов, разлил по стопкам спирт с медом и сказал:

— Парни, по-людски зарабатывать хотите?

— Что за вопрос, шеф! — ответили парни, вытирая руки о передники.

— Вот и хорошо. Будем делать профилактику. Профилактические операции. Кумекаете?

— Чего-то не кумекается. Как это?

— Как-как, очень просто, элементарно. Разрезать, посмотреть и зашить — вот и все. Если чего нашли — хорошо, тащи наружу, если нет — зашивай и баста. Чего же проще?.. Вот, слышали, на Западе, — главврач показал большим пальцем куда-то через плечо, — все люди профилактику рака делают, врачи бабки гребут лопатами, по Таити-островам шатаются, а мы что, хуже? Делайте просто: поступил больной, так ты, Кеша, осмотри его, все анализы сделай, а потом говори родственникам, что дело труба, что надо срочно резать, иначе метастазы по всему телу пойдут, и что есть у нас только один спец по этой части — доктор Гоша. А Гоша режет. Ну и вот. Рак ведь дело такое — не спрашивают, сразу бегут бабки собирать, действует лучше всякого киднякинда...

— Чего? — не поняли ребята.

— Ну когда детей воруют.

— И уши режут? — понял Кеша. — Киднепинг?

— Да хрен его. Главное — суть. Там хоть за выкуп торгуются, а у нас никто и не пикает — тысяча, так тысяча. Значит, ты, Кеша, с родственниками беседы проводишь...

— В трудных случаях к вам посылаю, — вставил тот.

—... само собой, мы же вместе, ребята, я — за вас, вы — за меня. Только так и прорвемся. Чего делать-то остается? Надо волками грызть все кругом, иначе капитализм этот сраный не пережить. Значит, ты с родичами балакаешь, а Гоша режет. Деньги на три части делим. Операция — штука зеленых, как обычно.

— Или три, — сказал Гоша.

— А хоть бы и пять, зависит от трудности.

— Бывает запущенная стадия.

— Или в два этапа оперировать приходится...

Парни сели — разговор обещал быть интересным. Главврач разлил еще по одной:

— Все правильно, — обрадованно сказал он, — только не забывайте родственникам опухоли какие-нибудь показывать, они это любят.

— Совсем здоровых тоже резать? — уточнили ребята.

— Конечно, их-то и резать! Больному — какая уже профилактика? А здоровому, если его раскрыть и обратно зашнуровать, — никакой проблемы. Заодно и посмотрите, что к чему там у него... Ради профилактики. А я через отчеты все проведу как следует. И тридцать процентов, соответственно, мне.

— По рукам! — сказали ребята, и все выпили по третьей рюмке спирта с медом, тмином и лимоном, который так хорошо готовила любовница главврача медсестра Ниночка.

И начали парни строгать. Родственники исправно собирали деньги, больные переживали свой личный апокалипсис, а главврач надзирал, оформлял и прикрывал. Все шло отлично: не успевали вкатить коляску, разрезать, подождать минут двадцать, чтоб перед младшим персоналом не светиться, зашить и выкатить, — а деньги уже делились на три пачечки в одном из кабинетов.

Но вот как-то Гоша, переборщив с морфином, который он аккуратно делал себе перед каждой операцией, наткнулся на что-то, похожее на опухоль, и с размаху, как следует не рассмотревши, вырезал ее. Опухоль, однако, оказалась заросшей, но вполне простой простатой, которая очень скоро дала о себе знать своим отсутствием.

Родственники с боем взяли банку, в которой Гоша показывал им вырезанную «опухоль», отнесли другим врачам и подняли шум, несмотря на то, что парни с главврачом пытались доказать им, что простата была не простая, а с опухолью, и

надо было обязательно резать, лучше раньше, чем позже, опухоль отрезали вот отсюда, а потом, заодно, вырезали и саму простату, потому что, раз появившись, опухоль появилась бы вновь («Сто процентов!» «Обязательно!»), так не лучше ли сразу, тем более, что больной уже стар и простата ему вообще ни к чему, только проблемы создает? И вообще, если очень хотите, можем обратно пришить, простата в спирте долго сохраняется, орган не хитрый.

Но родственники не успокаивались, подали жалобу в Минздрав, явилась комиссия, и главврач решил отправить ребят в отпуск, от греха подальше, потому что одному отбредиваться всегда легче, чем троим.

Они купили двойные путевки на Канарские острова и полетели, спрятав в плавки доллары, перевязанные резиночками.

После двух бутылок водки и посещения казино, где они ставили только на «красное-черное», после ошутимого проигрыша и обильного обеда они познакомились с двумя мулатками, кожа у которых шуршала под рукой, как замша, а соски были в полгруды. Они танцевали ламбаду и пили ликер «бенедиктин», не замечая, что в нем плавают кусочки нерастворившихся таблеток.

Утром, очнувшись на пляже и обнаружив, что они обчищены дотла, они начали лаяться между собой.

— Говорил я тебе — побойся бога! Ведь клятву Гиппократу давал! Вот и наказание! — твердил более совестливый Кеша, а Гоша искал по карманам мелочь опомелиться и огрызнулся:

— Иди ты в задницу со своим Гиппократом! Вспомнил! Чтоб он сгорел и сдох, проклятый! Сколько теперь тут куковать, перевода ждать? И на хер ты этих шалав коричневых вчера приваживал, дурень! Какого цвета у них писки да как они сосут? Вот теперь сам сосать будешь! Ни паспортов, ни денег! В консульство идти надо!

— А есть тут вообще такое? — виновато спрашивал Кеша.

— Розовое влагилице в крапинку есть для любопытных! — плюнул Гоша и поплелся в отель давать телеграмму.

Когда они, получив перевод и благополучно загорев, через месяц вернулись в больницу, главврач закрыл дверь, налил по рюмке медовухи и сказал:

— Поступило, братцы, очень интересное предложение. Есть тут такая контора, фирма «Альфа-Гамма-Зет», так она органами торгует. Трансплантация, реплантация, плантация... Отрезал, в банку запалял, немцам отправил — и всех делов.

— А какие органы? — уточнили ребята.

— Всякие. Разные. За почку, к примеру, 20 или 30 штук зеленых платят. Нам за вонючую простату выговор дали, а могли бы — деньги, ясно? Это же так просто!.. Я с фирмой договор уже заключил, так что думайте, решайте, хотите — будем работать, нет — охотников навалом. Завтра, кстати, презентация. В морге.

— Почему в морге? — удивился Кеша.

— Потому что там наверху есть большой зал, его по ночам задешево сдают своим.

— А... Ну да... Но резать — это по его части, я ведь терапевт, — кивнул Кеша на Гошу, а тот, наученный горьким опытом, спросил:

— Резать-то можно, нет проблем, а вот материал кто поставлять будет?

— Это уже по договоренности. Вот завтра и посидим, подумаем, покумекаем, что к чему, спешить в таком деле не следует.

— Конечно, — согласились ребята и пошли по отделениям делать обход, а главврач позвонил на фирму «Альфа-Гамма-Зет» и попросил зарезервировать еще два места на завтрашнюю презентацию.

КАК БЫЛ СПАСЁН ВАНГ-ФО

РАССКАЗ

От переводчика

Маргерит Юрсенар (этот псевдоним является анаграммой её настоящей фамилии де Крайенкур) родилась 8 июля 1903 года в Брюсселе, а умерла 17 декабря 1987 года в США на острове Мон-Дезер, расположенном в штате Мэн, на востоке страны, где в деревянном доме, названном ею «Маленькая забава», она провела последние сорок лет своей жизни.

Одна из наиболее выдающихся французских писательниц, М. Юрсенар в 1980 году стала первой женщиной, вошедшей в когорту «бессмертных», — была избрана членом Французской академии, что сопровождалось, в частности, традиционным вручением шпаги.

Критики называли её «женщиной-островом», а также «самым большим писателем XVII века, живущим сегодня». В поэтическом сборнике «Огонь» (1974) она писала: «Одиночество... Я не верю так, как они верят; я не живу так, как они живут; я не люблю так, как они любят... Я умру так, как они умирают». А устами римского императора второго века, медитирующего о войне, о власти, о тщете, окрашенной грустными тонами античной чувственности, и, конечно, о смерти, она выразила своё художническое и человеческое кредо: «Я чувствовал себя ответственным за красоту мира».

Двадцатое столетие редко удостоивалось внимания писательницы, но накануне последней мировой войны из-под её пера вышел роман, посвящённый борьбе с большевизмом в Прибалтике в начале 20-х годов («Le Coup de grâce»).

Все произведения М. Юрсенар, включающие в себя, кроме романов и новелл, три книги мемуаров, театральные пьесы, стихи, эссеистику и переводы, опубликованы в парижском издательстве «Галлимар». Самый известный её роман (вызвавший при своём появлении восторженный отзыв Томаса Манна) «Воспоминания Адриана» был опубликован в русском переводе в начале 80-х годов.

Новелла «Как был спасён Ванг-Фо» вдохновлена древнекитайской даоистской легендой и открывает сборник «Восточные новеллы», вышедший впервые из печати в 1938 году. Данный перевод был первым на русском языке. С разрешения издательства «Галлимар», он появился сначала в парижском еженедельнике «Русская мысль» и в том же году — в московском молодёжном журнале.

Читателю «Зарубежных записок» предлагается обновлённый вариант перевода, специально подготовленный для этого издания.

Александр Радашкевич

Старый художник Ванг-Фо и его ученик Линг брели по дорогам царства Хань. Они медленно продвигались вперёд, поскольку Ванг-Фо останавливался ночью созерцать звёзды, а днём — полюбоваться на стрекоз. Они были налегке, поскольку Ванг-Фо любил образы вещей, а не сами вещи, и ни один предмет на свете не казался ему достойным того, чтобы его сохранить, кроме кистей, баночек с лаком и тушью, свёртков шёлка и рисовой бумаги. Они были бедны, поскольку Ванг-Фо отдавал свои работы за миску пшённой каши и гнушался денег. Его ученик Линг, согнувшийся под тяжестью набитого набросками мешка, уважительно горбил спину, будто подпирая небесный свод, поскольку в глазах Линга этот мешок был наполнен осеженными горами, весенним половодьем и ликом летней луны.

Лингу по рождению не было предназначено скитаться по дорогам со стариком, пытавшимся овладеть рассветом или запечатлеть сумерки. Его отец занимался обменом золота, а мать была единственным ребёнком торговца нефритом, который, прокляв её за то, что она не родилась мальчиком, завещал ей всё своё богатство. Линг вырос в доме, где достаток оберегал от превратностей судьбы. От такого тщательно законопаченного существования он стал пугливым: боялся насекомых, грома и лиц покойников. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, отец выбрал ему невесту, очень красивую девушку, поскольку мысль о том, что он осчастливит сына, утешала его в том возрасте, когда ночь годится лишь для сна. Жена Линга была хрупкой, как тростинка, ребячливой, как молоко, сладкой, как слюна, и солёной, как слёзы. После свадебных торжеств родители Линга нашли в себе скромность скончаться, и их сын остался в выкрашенном киноварью доме лишь с молодой женой, которая беспрестанно улыбалась, да сливой в саду, каждую весну одевавшейся в розовые цветы. Линг любил эту девушку с чистым сердцем, как любят зеркало, которое не потускнеет, или талисман, который всегда отведёт беду. Следуя моде, бывал он и в чайных заведениях, проявляя умеренную склонность к акробатам и танцовщицам.

Однажды ночью, в кабаке, он сел за один стол с Ванг-Фо. Старик уже был навеселе — для того, чтобы как можно лучше нарисовать пьяницу; голова его склонилась набок, как будто он силился определить расстояние, отделявшее его руку от чарки. Рисовая водка развязала язык этому молчаливому труженику, и в ту ночь Ванг говорил так, будто молчание было стеной, а слова — красками, чтобы её расцветить. Благодаря ему, Линг познал красоту пьяных лиц, размытых паром горячего питья, бурое великолепие мяса, неравномерно облизываемого языками пламени, и изысканную розоватость винных пятен, усеивающих скатерти, как увядшие лепестки. Порыв ветра распахнул окно, и ливень хлынул внутрь. Ванг-Фо наклонился к Лингу, чтобы восхитить его мертвенно-синеватым зигзагом молнии, и Линг, к изумлению своему, перестал бояться грозы.

Линг расплатился за старого художника, а поскольку у Ванг-Фо не было ни денег, ни крыши над головой, он смиренно предложил ему пристанище. И они вдвоём отправились в путь; Линг держал фонарь, свет которого играл в лужах неожиданными огнями. В ту ночь Линг с удивлением узнал, что стены его дома были не красными, как он привык считать, а цвета загнивающего апельсина. Во дворе Ванг-Фо заметил тонкие очертания куста, на который до того никто не обращал внимания, и сравнил его с сушащей волосы девушкой. В коридоре он с восторгом наблюдал за неуверенными движениями муравья вдоль стенных щелей, и ужас Линга перед этими существами испарился сам по себе. И тогда, поняв, что Ванг-Фо явился, чтобы одарить его новой душой и иным восприятием вещей, Линг, в знак уважения, уложил старика в той спальне, где умерли его отец и мать.

Долгие годы Ванг-Фо мечтал изобразить древнюю принцессу, играющую под ивой на лютне. Ни одна женщина не обладала достаточно нездешним обликом, чтобы послужить ему моделью, но Линг вполне подходил для этого, поскольку он не был женщиной. Потом Ванг-Фо заговорил об изображении юного принца,

стреляющего из лука у подножья высокого кедра. Никто из молодых людей того времени не был достаточно ирреален, чтобы послужить ему моделью, и тогда Линг поставил позировать под садовой сливой свою собственную жену. Затем Ванг-Фо изобразил её в одеянии феи среди закатных облаков, и юная женщина заплакала, поскольку это было предсказанием смерти. С тех пор, как Линг стал предпочитать ей самой портреты, сделанные с неё Ванг-Фо, лицо её поблекло, словно цветок на пригорке под горячим ветром и летними дождями. Однажды утром её нашли висящей на ветви расцветшей розовой сливы: концы шарфа, который её задушил, переплетаясь с волосами, развевались по ветру; она казалась ещё более тонкой, чем обычно, и непорочной, как красавицы, воспетые поэтами минувших веков. Ванг-Фо нарисовал её в последний раз, поскольку ему нравился тот зеленоватый оттенок, который приобретают лица мёртвых. Его ученик Линг растирал краски, и это занятие требовало такого прилежания, что он позабыл пролить слёзы.

Линг продал одного за другим своих рабов, вещи из нефрита и рыб из фонтана, чтобы обеспечить учителя баночками пурпуровой краски, привозимой из западных стран. Когда в доме ничего не осталось, они покинули его, и Линг закрыл за собой дверь прошлой жизни. Ванг-Фо устал от города, где лица больше не таили для него никакого секрета уродства или красоты, и учитель с учеником пустились вместе бродяжничать по дорогам царства Хань.

Слава о них опережала их в деревнях, на подступах к крепостям и на порогах храмов, где встревоженные пилигримы находили себе приют на закате дня. Говорили, что Ванг-Фо обладал властью вдыхать жизнь в свои полотна вместе с последним прикосновением кисти, которое происходило в глазах у всех. Крестьяне умоляли его нарисовать сторожевого пса, а господа хотели от него изображения солдат. Священники почитали Ванг-Фо за мудреца, а простые люди страшлись его, как колдуна. Ванга радовало это различие во мнениях: оно позволяло ему изучать на лицах окружающих выражение благодарности, страха или почитания.

Линг выпрашивал пищу, охранял сон учителя и пользовался моментами его вдохновения, чтобы помассировать ему ноги. На рассвете, когда старик ещё спал, он уходил выискивать робкие пейзажи, скрытые зарослями тростника. Вечером, когда упавший духом учитель бросал свои кисти на землю, он собирал их. Когда на Ванг-Фо нападала тоска и он заговаривал о своём преклонном возрасте, Линг с улыбкой указывал ему на крепкий ствол старого дуба; когда же Ванг веселел и начинал отпускать шуточки, Линг смиренно притворялся, что слушает его.

Однажды, на закате солнца, они достигли окраин императорской столицы, и Линг отыскал для Ванг-Фо постоянный двор, где они могли переночевать. Старик завернулся в тряпье, а Линг прижался к нему, чтобы согреть, потому что весна едва наступила и глинобитный пол был совсем ледяным. На рассвете тяжёлые шаги отозвались в коридорах ночлежки; был слышен испуганный шёпот хозяина и приказы, выкрикиваемые на варварском наречии. Линг затрепетал, вспомнив, что своровал накануне рисовую лепёшку учителю на ужин. Не сомневаясь, что пришли за ним, он подумал о том, что завтра будет некому помочь учителю перейти вброд очередную речушку.

Вошли солдаты с фонарями. Пламя, просвечивая раскрашенную бумагу, отбрасывало на их кожаные каски красные и голубые отблески. Тетива луков дрожала у них за плечами, и самые свирепые из них вдруг зарычали без всякой причины. Тяжёлые руки легли на затылок Ванг-Фо, который не мог не заметить, что цвет рукавов у них плохо сочетается с цветом накидок.

Поддерживаемый своим учеником, Ванг-Фо пошёл за солдатами, спотыкаясь на бугристой дороге. Кучки прохожих насмеялись над этими преступниками, которых, без сомнения, ведут, чтобы обезглавить. На все вопросы Ванга солдаты отвечали дикой гримасой. Связанные руки причиняли ему боль, и Линг, в отчаянии,

с улыбкой смотрел на учителя, что являлось у него наиболее нежным способом плакать.

Они подошли к порогу императорского дворца, фиолетовые стены которого высились среди наступившего дня, как кусок закатного неба. Солдаты провели Ванг-Фо через бесчисленные квадратные и круглые залы, чья форма символизировала времена года, страны света, мужское и женское начало, долголетие, а также прерогативы власти. Двери сами раскрывались перед ними, издавая определённую ноту, и расположение их было таково, что, пересекая дворец с востока на запад, вы проходили всю гамму.

Всё в сочетании стремилось дать представление о сверхчеловеческой власти и утончённости, и чувствовалось, что малейшие приказания, отдаваемые здесь, являются окончательными и ужасающими, как мудрость предков. Наконец воздух разрежился; молчание стало таким глубоким, что даже подвергаемый страшным пыткам не осмелился бы закричать. Евнух приподнял завесу; солдаты затрепетали, как женщины, и маленькая группа вошла в зал, где восседал на троне Сын Небес.

В этом зале, окруженном мощными колоннами из лазурного камня, не было стен. За мраморными стволами цвёл сад, и хотя каждый цветок в его гуще принадлежал к диковинному виду, привозимому из-за океана, ни у одного не было запаха — из страха нарушить сладостными ароматами медитацию Небесного Дракона. Из почтения к безмолвию, в котором проплывали его мысли, никакой птице не было позволено перелететь за ограду сада, и даже пчёлы были выдворены оттуда. Громадная стена отделяла этот сад от остального мира, чтобы ветер, пролетающий и над околевшими собаками, и над усеявшими поля сражений трупами, не мог себе позволить даже коснуться императорского рукава.

Небесный Повелитель восседал на троне из нефрита, и руки у него были морщинисты, как у старца, хотя ему едва исполнилось двадцать лет. Его одеяние было голубым, что представляло зиму, и зелёным, чтобы напоминать о весне. Лицо его было прекрасно, но невозмутимо, как повешенное слишком высоко зеркало, способное отражать лишь звёзды и неумолимые небеса. По правую руку от него стоял министр Совершенных Наслаждений, а по левую — советник Заслуженных Мук. Поскольку придворные, расположенные у подножья колонн, напрягали слух, чтобы уловить малейшее слово, слетевшее с его уст, он привык говорить всегда тихо.

— Небесный Дракон, — вымолвил павший ниц Ванг-Фо, — я стар, я нищ, я немощен. Ты — как лето, я — как зима. У тебя Десять Тысяч Жизней, а у меня лишь одна, и та подходит к концу. Что я тебе сделал? Мне связали руки, которые никогда не причинили тебе вреда.

— Ты спрашиваешь, что ты мне сделал, старый Ванг-Фо? — сказал император. Его голос был так мелодичен, что от него хотелось плакать. Он поднял правую руку, которая от отблесков нефритовых плит была голубовато-зелёной, как водоросли, и Ванг-Фо, восхищённый длиной его тонких пальцев, старался припомнить, не сделал ли он посредственного портрета императора или кого-то из его родственников, за который он заслуживал бы смертной казни. Но это было маловероятно, поскольку до сих пор он редко бывал при императорском дворе, отдавая предпочтение крестьянским лачугам, а в городах — увеселительным кварталам на окраинах и кабакам вдоль набережных, где перебранивались подвыпившие носильщики.

— Ты спрашиваешь, что ты мне сделал, старый Ванг-Фо? — переспросил император, вытягивая свою хрупкую шею к ожидавшему его слов старику. — Я скажу тебе. Но поскольку чей-либо яд может проникнуть в нас лишь девятью путями, я должен показать твою вину и провести тебя по коридорам памяти, рассказав историю моей жизни. Мой отец поместил коллекцию твоих произведений в самой секретной части дворца, поскольку считал, что изображённые тобою лица не

должны рассматриваться невеждами, в присутствии которых они не могут опустить глаза. В этих залах, старый Ванг-Фо, я и был воспитан, так как меня растили в строгом одиночестве. А чтобы уберечь во мне непорочность от загрязнения человеческими душами, от меня удалили бурлящий поток моих подданных, и никому не позволялось даже пройти мимо моего порога из страха, что тень от мужчины или от женщины может упасть на меня. Несколько старых слуг, которых мне оставили, показывались как можно реже; часы протекали в замкнутом круге, краски твоих работ оживали с рассветом и угасали в сумерках. Ночью, когда мне не спалось, я смотрел на них, и так, почти десять лет подряд, я смотрел на них каждую ночь. Днём, сидя на ковре, узоры которого я знал наизусть, и положив пустые ладони на покрытые жёлтым шёлком колени, я грезил о наслаждениях, уготованных мне в будущем. Я представлял себе мир, с царством Хан посередине, похожим на безликую и полулю поверхность ладони, изборождённую роковыми линиями Пяти Потоков. Вокруг простиралось порождающее чудовищ море, а ещё дальше высились горы, поддерживающие небо. И чтобы легче было вообразить всё это, я обращался к твоим образам. Ты заставил меня поверить, что море похоже на покрывающую твои полотна водную пелену — такую голубую, что упавший в неё камень должен превратиться в сапфир; что женщины раскрываются и закрываются, как цветы, подобно несомым ветром по аллеям твоих садов созданиям; что молодые воины с тонкой талией, охраняющие пограничные крепости, сами являются стрелами, способными пронзить вам сердце.

В шестнадцать лет я увидел, как распахнулись ворота, отделявшие меня от мира; я поднялся на террасу дворца, чтобы полюбоваться облаками, но они были куда менее красивы, чем облака твоих закатов. Я приказал подать носилки и, трясясь на дорогах, представлявших собой, как оказалось, лишь грязь и камни, я объездил все провинции империи, не обнаружив твоих садов, где обитают девушки, подобные светлячкам, — твои девушки, самое тело которых сравнимо с садом. Усеявшие берега острые камни отвратили меня от океана; кровь истязаемых на пытках оказалась не так ала, как гранат на твоих полотнах; в деревнях мошкара не давала мне полюбоваться красою рисовых полей; плоть живых женщин стала мне отвратительна, как мёртвое мясо, подвешенное на крючках у лавочников; меня тошнило от зычного хохота моих солдат. Ты лгал мне, Ванг-Фо, старый мошенник: мир — это скопление случайных пятен, которыми забрызгал пустоту обезумевший художник и которые мы всю жизнь смываем своими слезами. Царство Хан — отнюдь не самая прекрасная страна, а я — не настоящий император. Единственная империя, над которой имеет смысл царствовать, это та, в которую тебя, старый Ванг, приводит дорога Тысячи Поворотов и Десяти Тысяч Цветов. Ты один безмятежно царствуешь над вершинами, покрытыми таким снегом, который вовек не растает, и над полянами нарциссов, которые никогда не увянут. Вот поэтому, Ванг-Фо, я раздумывал, какую казнь уготовить тебе — тебе, чьё чародейство внушило мне отвращение к тому, чем я владею, и жажду того, чего у меня не будет. И чтобы заключить тебя в ту единственную темницу, откуда ты не найдёшь выхода, тебе выжгут глаза. Потому что твои глаза, Ванг-Фо, это волшебные двери, через которые ты проникаешь в своё царство. И поскольку твои руки — это две дороги с десятью ответвлениями, уводящими в сердце твоей империи, тебе их отсекут. Всё ли ты понял, старый Ванг-Фо?

Услышав приговор, ученик Линг выхватил из-за пояса свой зазубренный нож и бросился на императора. Два стражника схватили его. Сын Небес улыбнулся и добавил со вздохом:

— И ещё я ненавижу тебя, старый Ванг-Фо, за то, что ты умел внушать к себе любовь. Убейте эту собаку.

Линг отпрыгнул вперёд, для того чтобы его кровь не забрызгала учителю платье. Один из солдат поднял саблю, и голова Линга отделилась от шеи подобно срезан-

ному цветку. Слуги вынесли тело, и Ванг-Фо в своём отчаянии залюбовался прекрасным алым пятном, оставленным его учеником на зеленоватых плитах пола.

Император сделал знак, и два евнуха осушили Ван-Фо глаза.

— Теперь слушай, старый Ванг-Фо, — сказал император, — и утри свои слёзы, потому что сейчас не время плакать. Глаза у тебя должны быть ясными, чтобы та малость света, которую им осталось видеть, не замутилась слезами. Ведь не только из мести желаю я твоей смерти и не только из жестокости хочу увидеть твои муки. Есть у меня среди твоих работ один чудесный пейзаж, на котором горы отражаются в речном устье и в море, бесконечно, разумеется, уменьшенные, но зрительно более достоверные, чем в природе, — будто отражённые на поверхности стеклянного шара. Но эта работа не завершена, Ванг-Фо, и шедевр остаётся пока лишь наброском. Когда ты рисовал, устроившись в безлюдной долине, твоё внимание, должно быть, отвлекла пролетающая птица или бегущий за ней ребёнок. Клюв этой птицы или румянец ребёнка заставил тебя забыть о лазурных веках водной шири. Ты не дорисовал ни кайму ризы моря, ни космы водорослей на скалах. Ванг-Фо, я хочу, чтобы ты посвятил оставшиеся тебе часы дневного света завершению этой работы, чтобы она воплотила в себе те последние тайны, которые ты накопил за долгую жизнь. Не сомневаюсь, что твои руки, которые так скоро упадут на пол, не задрожат над куском шёлка, и бесконечность отразится в твоей работе штрихами отчаяния. Не сомневаюсь и в том, что твои глаза, которые ты вот-вот утратишь, прозрят некие связи на пределе человеческих чувств. Таков мой замысел, старый Ванг-Фо, и у меня есть власть, чтобы заставить тебя его осуществить. Если же ты откажешься, то, прежде чем ослепить тебя, я прикажу сжечь все твои произведения, чтобы ты уподобился отцу, у которого убили всех сыновей, лишив его тем самым надежды на продление рода. Но, если желаешь, подумай о том, что мой приказ исходит скорее от доброты: мне ведь известно, что полотно шёлка — это единственная любовница, которую ты когда-либо ласкал. И предоставить тебе кисти, краски и тушь, чтобы занять последние часы жизни, это всё равно что привести уличную девку осуждённому перед казнью.

Император шевельнул пальцем, и два евнуха почтительно внесли незаконченное полотно, на котором Ванг-Фо успел лишь набросать море и небо. Ванг-Фо отёр слёзы и улыбнулся, потому что этот маленький набросок напомнил ему о юности. Всё говорило в нём о душевной свежести, на которую Ванг-Фо не мог больше претендовать, но в то же время в нём чего-то недоставало, так как в пору его создания он ещё мало созерцал горы и скалы, купающие в море свои нагие уступы, и ещё недостаточно проникся грустью заката. Ванг-Фо выбрал кисть из тех, что подал ему раб, и принялся размывать незавершённое море широкими голубыми мазками. Присевший у его ног евнух растирал ему краски. Он довольно плохо справлялся с этим, и тогда больше всего пожалел Ванг-Фо о своём ученике Линге.

Ванг начал с того, что подкрасил розовый кончик крыла у лежащего на горе облака. Затем он нанёс на поверхность моря мелкие морщинки, которые лишь усилили впечатление ясной безмятежности. Выстланный нефритом пол странным образом начал увлажняться, но Ванг-Фо, поглощённый своим полотном, не замечал, что работает сидя в воде.

Хрупкая лодка, возникшая под ударами кисти художника, занимала теперь на шёлковом полотне весь передний план. Слаженный шум вёсел неожиданно слышался издали, быстрый и оживлённый, как биение сердца. Шум всё приближался и постепенно наполнил собою весь зал, потом затих, и капли задрожали на поднятых лодочником вёслах. Уже давно раскалённое докрасна железо, предназначенное для глаз Ванга, остыло на углях у палача. Придворные, погружённые в воду по плечи, соблюдая этикет, не двигались, лишь вставая на цыпочки. Наконец

вода достигла уровня императорского сердца. Молчание стало таким глубоким, что было слышно, как слёзы падают в воду.

Да, это был Линг. Он был в своей старой одежде, и на правом рукаве у него виднелась всё та же прореха, которую он не успел зашить утром, когда пришли солдаты. Только вокруг шеи у него был повязан странный красный шарф.

Ванг-Фо мягко сказал ему, не отрываясь от полотна:

— Я думал, что ты умер.

— Как же я мог умереть, — почтительно ответил Линг, — пока вы живы.

И он помог учителю взойти на барку. Нефритовый потолок отражался в воде, и казалось, что Линг гребёт внутри грота. Погружённые в воду косички придворных извивались на её поверхности, как змеи, а бледная голова императора, подобно лотосу, покачивалась на волнах.

— Смотри, мой ученик, — меланхолично заметил Ванг-Фо. — Эти несчастные погибнут, если это уже не произошло. Я не сомневался, что в море достаточно воды, чтобы утопить императора. Что же делать?

— Не беспокойся ни о чём, учитель, — прошептал ученик. — Скоро они окажутся на суше и даже не вспомнят о том, что когда-либо замочили рукав. Один лишь император сохранит в сердце немного горечи от морской воды. Эти люди не созданы для того, чтобы раствориться внутри картины.

И он добавил:

— Море прекрасно, ветер сопутствует нам, птицы морские вьют себе гнёзда. Отбудем же, мой учитель, в ту страну, что за всеми морями.

— Отбудем, — сказал старый художник.

Ванг-Фо взялся за руль, а Линг налёг на вёсла. Слаженный их шум снова наполнил собою весь зал; настойчивый и размеренный шум, подобный биению сердца. Уровень воды незаметно начал понижаться вокруг высоких отвесных скал, и они снова превратились в колонны. Вскоре лишь редкие лужицы поблёскивали кое-где в углублениях нефритового пола. Наряды вельмож оказались сухими, и лишь у императора несколько клочков пены ещё белело на полах его облачения.

Шелковое полотно, завершённое Ванг-Фо, осталось лежать на низком столе. Весь передний план занимала на нём барка. Она понемногу удалялась, оставляя за собой пенный след, расплывавшийся на невозмутимой поверхности моря. Уже и не различить было лиц тех двоих, что в ней уплывали. Хотя ещё можно было заметить красный шарф Линга и развеваемую ветром бороду Ванг-Фо.

Биение вёсел стихало, потом совсем смолкло, поглощённое пространством. Император, нагнувшись вперёд и приставив руку к глазам, следил за исчезающей баркой Ванга, которая стала уже едва различимой точкой в бледной глубине заката. Наконец барка завернула за скалу, которая отгораживала открытое море; тень утёса поглотила её; пенный след стёрся в водной пустыне, а художник Ванг-Фо и ученик его Линг исчезли навеки в этом море нефритовой голубизны, которую Ванг-Фо только что придумал.

Перевод Александра Радашкевича

Copyright Editions Gallimard, 1938

Русский перевод Copyright Alexander Radashkevich, 1990

КОГДА БОГИ УДАЛИЛИСЬ НА ПОКОЙ

Случилось так, что чемодан с бумагами Маргерит Юрсенар десять лет пролежал в гостинице Meurice в Лозанне. В 1939 году чемодан приплыл в Америку. Открыв его, писательница обнаружила пожелтевшие документы, письма забытых людей, старый хлам; всё полетело в огонь.

Неожиданно ей попало несколько машинописных листов с обращением: «Дорогой Марк...» Это было начало записок Публия Элия Адриана, предназначенных для наследника будущего императора и философа Марка Аврелия.

Впоследствии Юрсенар рассказывала, что находка вызволила её из длительного литературного кризиса, вернула к давнему замыслу романа о римском императоре Адриане. «Есть книги, пишет она в «Заметках к “Мемуарам Адриана”», к которым нельзя приступать, пока не перешагнёшь порог сорокалетия». В юности, посетив развалины летней резиденции Адриана в Тиволи, Юрсенар увлеклась идеей, осуществлённой тридцать лет спустя. «Мемуары» вышли в 1951 году. Книга сделала автора мировой знаменитостью, хотя и не принесла (чему не приходится удивляться) немедленного коммерческого успеха. Она существует в прекрасном русском переводе.

Столетие Маргерит Юрсенар было недавно отмечено множеством публикаций в разных странах; среди самых заметных обстоятельная биография, написанная журналисткой и литературоведом Жозианой Савиньо (J. Savigneau. Marguerite Yourcenar. L'invention d'une vie. P. 2003). Юрсенар родилась в 1903 году в Брюсселе, её мать умерла через десять дней после родов, отец, французский дворянин, вернулся с девочкой на родину, не обременял дочь строгой опекой, зато приохотил к путешествиям. Маргарита-Антуанетта-Жанна-Мария Гислен де Креянкур получила домашнее образование и официально нигде больше не училась; это не помешало ей стать почётным доктором многих университетов. Свою обширную гуманитарную эрудицию она в большой мере приобрела самостоятельно. Восемнадцать лет опубликовала первую книжку. Псевдоним Юрсенар анаграммой отцовской фамилии Craupencour.

Писательница вела кочевой образ жизни, подолгу жила в Греции, Италии, Испании, повидала множество других стран, в том числе США и Канаду, путешествовала по Африке, по Индии; между прочим, побывала (в 1962 г.) в Ленинграде. Время от времени возвращалась в Париж, где жила в маленьких отелях. Вместе со спутницей жизни американкой Грейс Фрик поселилась в двухэтажном коттедже на острове Маунт-Дезерт в Северной Атлантике, у берегов штата Мэйн, провела там с перерывами почти сорок лет, до своей смерти в декабре 1987 года.

Когда весной 1980 г. Маргерит Юрсенар была избрана во Французскую академию, возникла проблема мундира; Юрсенар не хотела и слышать о традиционном *habit vert*, зелёном кафтане с золотым позументом, и брюках с лампасами, не говоря уже о шпаге. «В крайнем случае кинжал, чтобы было чем заколоться». Немолодая дородная дама, первая женщина в синклите «бессмертных» за 350 лет существования Академии, явилась в зал заседаний в чёрном бархатном костюме: длинной юбке, из-под которой выглядывали широкие штаны, и просторной блузе. Вместо треуголки белая шаль, на отвороте блузы брошь в виде римской монеты времён Адриана. В этом виде она изображена и на юбилейной марке, выпущенной бельгийской почтой.

Маргерит Юрсенар писала романы, новеллы, воспоминания (одна из последних мемуарных книг называется «Что? Вечность»), путевые записки, эссе о современниках: Томасе Манне, Борхесе, Кавафисе, Юкио Мишима, а также пьесы и стихи. Если бы понадобилось назвать десять крупнейших французских прозаиков XX века, она была бы в их числе. В современной ей литературе она осталась, как и положено крупному писателю, одиночкой. Это можно отнести и к ней самой, к её образу жизни, к её личности и судьбе: «*fille sans mère, femme sans enfant, amoureuse sans homme*» (дочь без матери, женщина без детей, возлюбленная без мужчины).

В «Заметках к “Мемуарам Адриана”» есть такое место: «Я отыскала в письмах Флобера, в томике, который усердно читала в юности, незабываемую фразу: “Когда боги древности уже не существовали, а Христа ещё не было, в эпоху от Цицерона до Марка Аврелия, настал момент, когда человек остался один, предоставленный самому себе”. Значительная часть моей жизни прошла в усилиях понять, а затем и описать этого человека, одинокого и вместе с тем прочно привязанного к миру».

Кесарь Адриан римлянин II века, но это и европеец наших дней, современник Юрсенар и сама Юрсенар. Роман, как бы написанный (по замечанию одного критика) на серебряной латыни эпохи последнего цветения римской литературы, вместе с тем и блестящий образец французской традиции: ясность, логика, благородная сдержанность, дисциплина. Можно заметить, что наиболее выпуклые, самые удавшиеся персонажи писательницы отнюдь не женщины. Это относится не только к «Мемуарам Адриана», где абсолютное доминирование мужчины черта эпохи и необходимое условие литературной игры. Начиная с героя первого романа «Алексис, или трактат о поражении» (другой перевод «Алексис, или рассуждение о тщетной борьбе»), до врача Зенона в романе «Философский камень» и старого художника Ван Фо из «Восточных

рассказов» мужчины стоят в центре повествования. Женщины у Юрсенар почти всегда пассивны и обыкновенно оказываются на второстепенных ролях. Ещё одна черта: на первый взгляд, её не интересует (если говорить о художественной прозе) наше время. На первый взгляд.

Удивительное дело: её проза, давно ставшая классической, выглядит весьма актуальной на фоне сегодняшних литературных дебатов. Например, стало общим местом утверждение, будто в наше время особенно возросла популярность литературы факта и документа, тогда как интерес к «выдуманной литературе», fiction, угасает. Роман по-своему отвечает на тенденцию вытеснить художественную фантазию фактологией: он выворачивает это противопоставление наизнанку. Роман имитирует человеческие документы: письма, дневники, записки, и они оказываются убедительней всякого подлинника. Это, конечно, не новость; эпистолярный роман излюбленный жанр XVIII столетия, достаточно вспомнить две самых знаменитых книги: «Опасные связи» Шодерло де Лакло и гётевского «Вертера». Два других (и более убедительных) примера относятся к только что минувшему веку. Это роман Т. Уайлдера «Мартовские иды», в котором все «документы», за исключением стихов Катулла, изобретение автора, и, конечно, «Мемуары Адриана», главная и наиболее известная книга Маргерит Юрсенар. Адриан, приёмный сын Траяна и римский император со 117 по 138 год, увековечил себя множеством сооружений, был инициатором кодификации права, покровителем искусств и литературы, но оставил лишь незначительное число личных документов и уж во всяком случае никаких воспоминаний не писал.

Далее, вы можете услышать сегодня вновь оживший девиз «показывать, а не рассказывать», рассуждения о преимуществах прозы, непосредственно воспроизводящей живую жизнь, перед романами, в которых действительность более или менее поставлена под сомнение, опосредована рефлексией и т.п. Наследие автора, о котором идёт речь, обесценивает и этот тезис. Наконец, вновь и вновь нас уверяют, что граница между серьёзной и тривиальной литературой отменена. И снова рафинированная проза Юрсенар смеётся над этой чушью.

Борис Хазанов

У НАС ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА...

ПИСЬМО СИБИРСКОМУ ДРУГУ

Валерию Волкову

Чем меньше тратишь — больше пьешь.
Трезветь нет времени. Недаром
Москву, спаленную пожаром,
отдали — что с нее возьмешь?
У нас обычные дела.
Кто ходит в должность, кто по кругу,
искусство перешло в науку,
наука в технику ушла.
Кому бедлам — кому Эдем.
Людей так много — нас так мало.
Мы рады все начать сначала,
чтоб не исчезнуть насовсем.
Меняем мысли, внешний вид,
Господь, на нас взирая свыше,
молчит — и как его услышишь,
когда весь космос говорит.

* * *

Отложим все дела на завтра,
на послезавтра, до зимы.
Пусть обнаженной будет правда,
а ложь не вылезет из тьмы.
Чистосердечное признание
и откровенный разговор.

Пусть будет северным сиянье,
и лишь карманным будет вор.
Пусть у деревьев будет крона,
у жизни — времени запас,
и у окна сидит Мадонна,
не замечающая нас.

* * *

На очень диком севере
кому не одиноко?
И Хиллз вам тут не Беверли,
река — не Ориноко.
И тучки одинокие
плывут без остановки,
как странники убогие,
как божи коровки.

И холодно, и голодно
тому, кто одинокий,
и выглядит немолодо,
и ростом невысокий,
и часто он простуженный —
в таблетках вся квартира, —
болезнями пристыженный,
оторванный от мира,

сидит на табуреточке
на фоне мироздания,
в одной руке таблеточки —
в другой стихов издание.

И холодно, и голодно
тому, кто одинокий,
и выглядит немолодо,
и ростом невысокий,

* * *

Серее серого асфальт,
вдали поскрипывает альт.
Сидит сапожник без сапог
и смотрит в небо, как пророк.
Идет старушка с прибабахом

крошить батон голодным птахам.
Проходит дервиш по бульвару,
проносит юноша гитару.
И то ли ангел, то ли птица
над нами медленно кружится.

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Алине

Мари осталась без Хуана,
а дон Хуан без донны Анны.
Лишилась Анна Командора,
а Командор лишился жизни,
как все почтенные идальго.
Мадрид моложе, чем Толедо,
Эль Греко старше, чем Веласкес,

а Сарагоса в Арагоне,
как в Каталоньи Барселона.
Не хуже Гонгоры Сервантес,
Дали не лучше, чем Пикассо,
Каррерас звонче, чем Бандерас.
Хоть оба Хулио, однако —
Иглесиас не Хуренито.

* * *

Маше и Лёне Зильбербургам

Сидишь, бывало,
на пенечке
в своем шалаше,
думаешь о баобабах, —
ветренный,
как ненастный день,
голодный,
как сто китайцев
времен Мао.
А рядом
сестра моя — жизнь
в Разливе.

Чеховская чайка
по имени Джонатан Ливингстон
летит
с востока на запад,
с севера на юг,
и тень ее крыльев
ложится на землю
от горизонта до горизонта.
«Вот и осень пришла», —
скажет старик
и скроется до весны
в своем вигваме.

* * *

Светлане Колокольцевой

Я вам пишу уже давно,
уж ночь как будто на исходе,
и даже выпито вино,
и самогон уже не бродит.
Пишу открытку, как портрет
иль как потомкам завещанье,

как Ветхий, Господи, Завет
иль старины седой преданье.
Я вам пишу. Всему свой срок:
срок уповать и упиваться,
есть время выбора дорог,
прощать есть время и прощаться,
есть время камни собирать,
о благе ближнего радея,
есть время жить и умирать
в седом краю Гиперборея.

* * *

Я свернусь калачиком в кровати -
мне б до лучших выспаться времен.
Спой мне, Бунин, «Песнь о Гайавате».
Гайавата, подари мне сон.
Пусть уснут разбросанные мысли
о далеком, о добре и зле.
Словно тучи, надо мной нависли
дни и ночи жизни на земле.

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

* * *

Время остановилось
на точке кипения.
Точка кипения
стала
точкой отсчета.
Точка отсчета
оказалась
на линии жизни.
Линия жизни
прошла
через черту оседлости.

Черта оседлости
достигла
критической массы.
Критическая масса
переполнила
чашу терпения.
Чаша терпения
нагрелась
до точки кипения.
На точке кипения
остановилось время.

* * *

Зима прошла,
весна прошла,
лето прошло,
и осень прошла.
Время отпусков тоже прошло,
а время собирать камни
прошло так быстро,
что времени разбрасывать камни
никто не заметил.
Время жить и время умирать
тоже прошло
и все забыли

о содеянном,
о не содеянном
тоже забыли.
Памяти нет ни у кого,
да и нужна ли эта память,
коли и вспоминать-то не о чем?

* * *

Тяжело живется
старым людям.
Тяжело живется
молодым людям.

Детям
тяжело учиться
тому,
как тяжело живется.

* * *

Полное одиночество
требует полноты общения,
полнота общения
требует
полной отдачи,

полная отдача
требует
полной сосредоточенности,
полная сосредоточенность
требует
полного одиночества.

* * *

Вожди играют в диктатуру,
в войну играют генералы,
играют бедные в богатых,
богатые играют в Бога,
а Бог играет на трубе.

Труба играет как придется,
судьба, играя человеком,
бредет туда, куда бредётся,
а человек, судьбой играя,-
наивный, в общем, человек.

* * *

Ходишь
вокруг да около,
набираешься ума-разума
или сидишь
перед открытой книгой,
вспоминаешь
о далеком и близком,

погружаешься в былое и думы
и того не узнаешь,
что знать следует.
Говорил Екклесиаст:
«...составлять много книг —
конца не будет,
и много читать —
утомительно для тела».

* * *

«...возвращается ветер на круги свои».
Екклесиаст

Кружатся
разные птицы
(поди угадай,
где сокол,
где воробей)
так высоко,

что до звезды дотронься —
и она зазвенит,
так далеко —
кричи — не кричи,
никто не услышит...
Время,
что песок сквозь пальцы.
Просторы такие,
что Руси не хватит.
Пронеслась Птица-тройка,
промелькнул «Летучий голландец»,
а Вечный жид, Вечный жид
все места себе не находит...
Мир как был,
так и есть, —
скучен и однообразен.
Люди как были, так и есть, —
докучливы и ленивы,
ленивы и умом, и сердцем.
Всякая тварь
к свету тянется
и тепла ищет.
А человек и того не делает,
мечется
между пустотой и неведеньем,
ищет свое место и не находит,
исчезает навсегда
и появляется ниоткуда...
Двадцать веков прошло,
а сколько пройдет, —
неведомо.
Многое
случалось на этом свете,
многое и случится.
Тяжело оказаться
в конце времен —
тяжело и в начале.
Все возвращается
на круги свои,
но что-то и не возвращается.
Все проходит,
а что-то и не проходит.
Все движется —
и ничто не меняется.
Кто напишет Книгу книг
или Песнь песней,
тот не возрадуется,
а, уйдя, не вернется.

ГОРОД, КОТОРЫЙ СОШЁЛ С УМА

РОМАН-ФАРС

На любой остановке сойди...
Из песни

Здесь будет город заложен
Назло...
А. С. Пушкин

ГЛАВА 1

Васильев посмотрел на расписание движения поездов, висящее над проходом к кассам. Поезд в Город уходил через час. И было указано, что билеты в направлении Города — в кассе номер шестнадцать. Васильев прошёл в кассовый зал. Шестнадцатая располагалась у входа, слева за бетонной колонной. Васильева порадовало то, что привычной очереди не было.

— Научились работать наконец-то! — довольно отметил Васильев и подошёл к окошечку.

— Один до Города, — сказал Васильев и начал рыться в бумажнике.

— А зачем вам в Город? — спросила кассирша.

Васильев оторопел. Потом рассердился. Потом начал считать до десяти, чтобы успокоиться. Но успел сосчитать только до восьми.

— Я вас русским языком спрашиваю, мужчина, — зачем вам в Город? — повторила кассирша свой нелепый вопрос и добавила ядовито:

— Давай, соображай скорей. А то вас тут много таких...

Васильев взялся соображать, но тут из-за васильевской спины в окошко кассы протянулась рука с деньгами и мужской голос пробасил:

— Один до Города. Командировка.

Кассирша приняла деньги, пощёлкала клавишами на загадочных аппаратах и выдала билет.

— Вот видите, мужчина? Человек объяснил цель визита — и никаких проблем.

— А зачем объяснять? — спросил Васильев несколько грубовато.

— Инструкция.

Кассирша сделалась любезной, как нянька в детском саду:

— Город — закрытая территория. По инструкции положено спрашивать цель визита. А то... — кассирша закатила глаза в потолок.

— А то что? — Васильев чувствовал, что сейчас сорвётся и начнёт орать.

— А то, — терпеливая кассирша перестала рассматривать потолок и взялась рассматривать Васильева. — А то, что в противном случае вы никуда не приедете. То есть приедете, конечно. Но куда угодно, только не в Город.

Кассирша замерла, наслаждаясь произведённым эффектом. А потом снова ожила:

— Я Вас в который раз спрашиваю, мужчина? Глухой? Цель визита?

Васильев замялся:

— Да, собственно... Я родился в этом Городе... Понимаете...

Он чуть было не обмолвился о том, что Город снится ему каждую ночь, но не успел.

— Так что же Вы тогда молчите, что возвращенец? — заорала радостно кассирша. — Так бы сразу и сказали. А то молчит, как партизан на допросе.

Она деловито выхватила у Васильева деньги, так же деловито потрещала загадочными клавишами, выдала билет и сдачу и пожелала счастливого пути.

Васильев взял билет и пошёл в вокзальную столовую, размышляя на ходу, что бы мог значить этот загадочный допрос в кассе?

Уже запивая шницель по-рижски компотом, он решил, что волноваться и ломать себе голову не стоит. Он уехал из Города двадцать лет тому назад, и за этот срок обязательно должно было что-то измениться. Возможно, что изменились правила на железной дороге. Успокоив себя, Васильев забрал чемоданы из камеры хранения, вышел на перрон и даже успел покурить до прихода поезда.

Соседи по купе подобрались скучные. Потреться было не с кем. Да и кому охота разговоры разговаривать с шестидесятилетним стариком? Васильева вполне устроила эта мысль. Он достал книжку. Начал было читать, но заснул, перелистнув несколько страниц, и проснулся от голоса проводника:

— Следующая Город. Прошу приготовиться к выходу.

Васильев уставился в окно. Уже вечерело, и за окном были видны лишь цепочки огней, складывающиеся в замысловатые узоры. Васильев попробовал угадать по этим узорам знакомые места, но ничего узнать не смог. А тут сразу вывернулся вокзал с кучкой встречающих на перроне. Васильев дождался немного, пока в коридоре рассосётся толпа, и вышел со своими чемоданами в тёплый вечер.

Он пристроил чемоданы в металлическом гробике автоматической камеры хранения, а сам через боковой ход — на привокзальную площадь.

— Чем брать такси, пройду-ка я до гостиницы пешком. Совмещу прогулку с воспоминаниями, — решил Васильев, глянув на очередь на стоянке такси. И двинулся по старинной брусчатке. Город лежал у него под ногами. Это потому, что вокзал стоял на горке, а город раскинулся вниз. Уже включили фонари, и были видны тени редких прохожих.

— А в мои годы тут по вечерам самый центр тусовки был. И встречались-расставались, и ссорились и мирились... — с грустью подумал Васильев, проходя мимо киоска со всякой мелочёвкой.

— Олечка! — окликнула его продавщица киоска, — забеги ко мне. Я тут оставила кое-что для тебя.

Васильев сразу вспомнил, что киоскершу зовут Ольга Степановна, и что она, по доброте душевной, всегда оставляла для него дефицитные сигареты с фильтром.

Васильев толкнулся в дверь позади киоска. Тотчас дверь приоткрылась, в дверной щели показалась рука с пакетом и раздался голос:

— Бери скорей! Чего ждёшь? Рубль с тебя.

Васильев взял пакет, и дверь закрылась. Он снова обошёл киоск и, уже стоя перед стеклянной витриной, начал копаться в кошельке. Как она сказала? Рубль? Шутки тут у них... рубль, — и Васильев протянул Ольге Степановне доллар.

— Ты что? Офонарел, парень? Ты что же это мне даёшь? — Ольга Степановна уставилась на зелёную купюру так, как если бы Васильев подал ей вместо денег ручную гранату. Налюбовавшись, Ольга Степановна, вздохнув, отодвинула от себя странную денежку и подобрала:

— Ладно, Олежа. Что с тебя возьмёшь? Вечно фокусничаешь. Нет денег — так и скажи. Завтра занесёшь. А то подшучивать над старухой взялся.

Васильев посмотрел на Ольгу Степановну. И стало Васильеву нехорошо. Потому что за двадцать лет Ольга Степановна нисколько не изменилась. Как была «сорок пять — баба ягодка опять», так и осталась. Васильев поблагодарил Ольгу Степановну и повернулся лицом в сторону вокзала. И тут Васильеву стало ещё хуже. Потому что на фронтоне вокзала сиял, составленный из красных лампочек, транспарант: «Слава КПСС!»

Васильев развернулся и пошёл вниз по улице к гостинице, думая о том, что вот так и сходят с ума. Просто и обыденно. И некому пожаловаться и рассказать о своём горе. Ну кто в это поверит? Васильев добрёл до бывшего Городского бульвара и присел на лавочку под тополями. Он автоматически сунул руку в пакет, что вручила Ольга Степановна. В пакете лежали три пачки «Элиты». Васильев раскрыл одну пачку и закурил.

— Эй, старик! Выдай сигаретку другану! — прохрипело слева, и перед Васильевым возник бомж, лохматый и оборванный.

Васильев присмотрелся. Перед ним стоял бывший школьный товарищ Колька Щукин. Только очень старый. Васильеву отлегло немного. И он решил, что съеденный шницель был не совсем хороший и что предыдущие галлюцинации вызваны заурядным пищевым отравлением.

— Ну что? Признал? — сказал Колька, садясь на скамейку рядом с Васильевым. Васильев кивнул головой.

— Это хорошо, что признал, а то некоторые чураются, — похвалил Колька Васильева, вытряхнул несколько сигарет из пачки, которую Васильев всё ещё держал в руке, и ловко рассовал эти сигареты за уши. — А то, понимаешь, спиртыга есть, а ни тебе запить, ни закурить. — И Колька показал горлышко бутылки, засунутой во внутренний карман того, что осталось от пиджака. — Будешь? Ну как хочешь. Моё дело было предложить...

Колька глотнул из бутылки, занюхал рукавом и только потом закурил.

Васильев подумал, что вот как оно бывает: не виделись лет тридцать, не меньше, а поговорить не о чем.

Но Колька нашёл тему для разговора:

— Дай-ка, парень, я тебе пульс пощупаю. Давай, давай! — Колька схватил руку Васильева своей грязной лапой и прислушался.

Всё нормально, профессор. — Колька назвал Васильева школьной кличкой. — Всё в порядке. А то... Ты выпей, брат, а то крыша протечёт, чего я тебе расскажу.

— Щука! Ты зачем мне пульс шупал? — Васильев был насторожен и недоверчив.

— Ты в зеркале давно себя видел? — озадачил Колька Васильева.

Васильев посоображал немного и признался:

— Утром... Когда брился...

— Ты сейчас на себя посмотри, а потом с вопросами выставляйся.

Колька порылся в своих лохмотьях и достал круглое ручное зеркальце.

Васильев взял этот неизменный атрибут дамской косметички, и тогда ему стало так плохо, что, держа правой рукой зеркало, он левой потянулся к Колькиной бутылке и сделал пару глотков. Потому что увидел в зеркале Васильев себя самого сорокалетним. Исчезла седина, разгладились морщины, и тяжёлые синеватые мешки под глазами испарились неведомо куда.

— Вот-вот, братан! — правильно понял Колька васильевское молчание. — А ты думал... хаханьки.

— Что это, старина? Как это? — промямлил Васильев и для прояснения мозгов снова приложился к бутылке с тёплым разбавленным спиртом.

— Я тебе скажу как другу, только ты не перебивай. — У Кольки неожиданно появились менторские интонации. — Ты не перебивай. Сам видишь — я уже кривой и могу забыть что или перепутать.

Васильев согласно кивнул и Колька начал свой рассказ:

— Лет пять тому назад сели мы с мужиками вон там, в татарском дворе. Сидим. Разговор уже пошёл. А тут выскакивает какой-то ханурик и начинает права качать.

Кричит, что он такой и сякой, и ваще сейчас в ментовку позвонит. А Синяк... Ты должен его помнить... Он в «Б» классе учился. Так вот. Синяк... А он даже слово мент не выносит, не то чтобы... Вот он схватил кол да и приложил этому ханурику по котлу. А сам — бежать. А ханурик — брык с колёс. И лежит. Я ему пульс пощупал — нету пульса! Ну, думаю, попал. Попробуй теперь от мокрухи отмазаться. А пока я думал, ханурик этот встал и пошёл. Так, без пульса, и пошёл себе. Я с той поры у всех пульс проверяю. И вот что я тебе скажу, друган. Ты не поверишь, блин! Здесь у нас многие без пульса. Покойники, что ли? Но живут, как ни в чём ни бывало. И не стареют, что примечательно. Кроме таких, как я, конченных. Зря ты, брат, вернулся. Видишь сам — только приехал, а уже помолодел. А дальше? Приехать-то к нам можно, а вот уехать нельзя.

— Как это нельзя? — спросил Васильев, которому в историю с пульсом верилось плохо: мало ли что алкашу почудится?

— А вот так, — сказал Щука и поднялся. — Пойду-ка я в свою конуру, Олега. А то хмелеуборочная заметёт.

Васильев посидел ещё немного, посмотрел на удаляющегося Кольку, а потом и сам поднялся. Он шёл по улице и всё думал о том, что же происходит. И, может быть, и придумал бы, но вышел на площадь, на которой стоял бетонный параллелепипед гостиницы.

Васильев попросил у сонной дамы отдельный номер и подал свой паспорт.

Дама посмотрела на американские корочки и проснулась:

— Посидите в холле, пожалуйста, мистер, — проворковала она. — Я посмотрю для Вас что-нибудь получше. Не беспокойтесь — это займёт минут пять, не больше.

И дама не обманула. Ровно через пять минут к Васильеву подошли двое симпатичных мужчин, показали свои удостоверения и попросили пройти с ними.

Город — это живой организм. Сомнений в этом нет и быть не может. С той давней поры, как неандертальцы, — или как там их ещё? — обнесли свои десять землянок частоколом, город родился и, как всякий новорожденный, начал расти и развиваться.

— Я — Город, — сказал город сам себе, — потому что я огорожен. Не то что какая-нибудь деревня...

В детстве я никак не мог решить: «деревня» — это потому что она из дерева построена, или потому что там деревья растут? Остановился, помнится, на первом варианте.

И город отлично знает, что он обязан создать хоть одно каменное строение, иначе он теряет свой статус и превратится в деревню.

То, что дома в городах возводят архитекторы и строители — заблуждение, и не более. Города сами подбирают себе архитектуру, нанимают строителей, выбирают жителей и организуют эксплуатационно-ремонтные организации.

Ах, какие модники эти города! Какие кокетки! Вот попробуйте построить дом, который городу не нравится. Попробуйте. Ничего у вас из этой затеи не получится. Строители будут запивать, подрядчики воровать, а стройматериалы исчезать со стройплощадки в неизвестном направлении. И если, несмотря ни на что, вам удастся довести строительство до конца, то дом сгорит — или взорвётся, или... Город много чего может придумать, чтобы избавиться от неполюбившегося.

Город — организм сложный. Запутанный кишечник канализации, нервы электрических проводов и кабелей, системы отопления и водоснабжения. Непонятная никому схема поставки продуктов. И невнятная сетка улиц. Можете смотреть на карту, пока в глазах не позеленеет, но если город захочет, чтобы вы заблудились — заблудитесь непременно. Даже там, где вы родились и прожили всю жизнь.

А рождение — это вообще непонятный процесс. Каждый город убеждён, что это именно он, и никто иной, родил знаменитого человека. Нет... Знаменитого — это как-то... Знаменитый — он знамя должен нести, высоко это знамя вздымая. Скажем так — Известного. А иногда и Великого. И мы, как ни странно, разделяем это убеждение. Вот цитата из энциклопедии: «1799, 26 мая (6 июня). А. С. Пушкин родился в Москве...»

То есть сначала родился в Москве, а только потом о тех, кто его реально родил.

Люди тоже привыкают к тому, что в их появлении на свет город играет самую главную роль. И называют себя по именам городов — москвич, бакинец, скобарь, новгородец, туляк, парижанин... О! Парижане! Величайший миф, который создал тщеславный город. Он и так пробовал, и этак... И революции придумывал, и Луёв бесчисленных, и Наполеона... И успокоился только тогда, когда стальным фаллосом взметнулась над городом Эйфелева башня и возник миф, что это город любви. Берлин может свои Парады любви ещё сто лет проводить — всё будет зря! Потому что место занято. Париж со своими костлявыми женщинами и некормленными мужчинами арабского происхождения был, есть и будет городом любви, моды и прочих плотских удовольствий.

Жители некоторых городов вообще позабыли своих родителей. И появились Ростов-папа, Одесса-мама... Но всех переплюнул Киев, присвоивший себе странный титул — «Мать городов русских»... После этого горожанин любого городишки просто обязан считать себя киевлянином.

И только генетические бродяги — американцы — привязаны не к городам, а к работе. Скажите любому «среднему американцу», что на необитаемом острове он получит хорошую работу. Максимум через два часа он будет готов к отъезду. А месяца через три уже будет на этом необитаемом острове в собственном доме смотреть бейсбол по телевизору и пить пиво «Бадвайзер».

Что касается рождения самих городов, то они возникают только в определённых местах. И мест этих уже не меняют никогда. Войны и стихийные бедствия ни на что не влияют — город, стёртый, казалось, с лица земли, упорно вырастает на прежнем месте. Ну чтобы отойти в сторону немного? Там и место покрасивее, и безопасней. Нет. Ни на шаг! Великая загадка исчезновения городов майя объясняется просто — они были построены не там, где им хотелось.

У каждого города — свой характер. И у жителей разных городов характеры свои. Вот попробуй тут разберись — горожане формируют характер города или город характер горожан? Я склонен думать, что город.

Здесь нелишне вспомнить феномен Одессы. Боже ж ты мой! Куда бы жизнь ни заносила человека, рождённого в Одессе, он будет отличаться от рождённых в иных городах, как чукча от англичанина. И, не дай бог, соберутся где-то хотя бы три одессита. Они обязательно самоизолируются от остальных недостойных жителей и назовут свой микрорайончик «Маленькая Одесса». И сразу же начнут там растить, холить и лелеять не существующий нигде, кроме Одессы, еврейский акцент и откровенное хамство, называемое одесским юмором.

Города разумны. Это неоспоримо. Это надо воспринимать как данность. Коллективные умишки различных социальных групп сливаются в городе воедино и формируют городской интеллект.

И — согласитесь со мной — любое разумное существо однажды может сойти с ума...

ГЛАВА 2

Город спал. Сладко посапывали, а иногда и храпели в своих кроватях взрослые и дети, рабочие и служащие, не говоря уже об интеллигенции, которая, несмотря на то, что по своей сути всего лишь прослойка, но тоже спать хочет. Спали собаки, кто в будках, кто на хозяйских ковриках, а кто и на голой земле. Спали умные

вороны на ветвях столетних тополей. Спали сторожа в своих будках. Спали любовники, натешившись от души. Спали супруги, отложившие под предлогом головной боли исполнение своего долга на потом. Спали следователи Васильева, довольные тем, что поймали наконец-то вражину, так ловко таившего свой звериный оскал под маской простого туриста. Спали все. Только Васильев всё ходил по камере-одиночке от стены к стене и пытался понять, что происходит.

И конечно, он был очень испуган. Он вспоминал, как зять отговаривал его от поездки, утверждая, что Васильева непременно арестуют как американского шпиона. И вот — пожалуйста! Он был прав. А вдруг ещё и пытать начнут? С них ведь станется.

После того как прошагал Васильев километров тридцать, он устал. И присел на нары, чтобы перекурить. И тут же возникла новая проблема. Васильев не умел крутить самокрутки. А после ареста у него не только изъяли часы, документы и деньги, но и разломали каждую сигарету на части и вместо зажигалки выдали коробок спичек и газету. Табак, выпотрошенный из сигарет, был аккуратно завернут в кулёчек и со словами: «Бери, блин! Мы же не звери какие» выдан ошеломлённому Васильеву.

Васильев несколько раз видел в кино: идейные крестьяне, перед тем как изречь что-нибудь мудрое, ловко крутили самокрутки. Васильев оторвал кусок газеты, насыпал на этот обрывок табаку и начал стараться. Но непростое это было дело. Ох, непростое. Табак просыпался на пол, газета рвалась в самый ответственный момент... И Васильеву хотелось плакать от беспомощности. Но в конце концов хитрое сооружение было выстроено и Васильев закурил. А затянувшись несколько раз, начал рассматривать жалкие останки «средства массовой информации», что выдали ему в дежурной части. Васильев прочитал название «Красное знамя» и только потом дату выхода — 29 апреля 1981 года. Дальше он читать не стал, а просто курил и тупо смотрел на дату. И как только докурил, так сразу его и осенила простая, казалось, но, по сути, гениальная мысль:

— Это у меня бред! Это у меня пищевое отравление, и я в реанимации. И я просто-напросто брежу.

Потом вспомнил Васильев, что в том здании, где было расположено сначала НКВД, потом Гестапо, потом снова НКВД, уже много лет находится женское общежитие пединститута, и немного успокоился, потому что вряд ли его там пытать будут.

— И даже если мне пригрезится, что меня пытаются, то это тоже будет всего лишь бред. Такой же как и всё остальное здесь.

Эта мысль так понравилась Васильеву, что он совершенно успокоился, сходил на парашку и заснул на нарах сладким сном человека, который только что решил задачу квадратуры круга.

Утром Васильева поднял мрачный сержант, сводил оправиться, а потом выдал кружку кипятку, два кусочка сахара-рафинада и ломоть чёрного хлеба. Васильев с удовольствием позавтракал, повозился с самокруткой и закурил, довольно отметив про себя, что в этот раз мучений с табаком было меньше.

А действительно. Чего я переживаю? — утешал себя Васильев. — Современная медицина творит чудеса. И рано или поздно я приду в сознание. И этот бред закончится.

Тут снова сержант прогремел металлической дверью и повёл Васильева на допрос.

В кабинете, куда привели Васильева, следователей было двое. Один — очень любезный, но суетливый. Он сразу же предложил Васильеву сесть и спросил, какой кофе сварить — покрепче или послабее. Второй молча сидел за столом под чёрно-белым портретом Дзержинского и причёсывался. У него была ровненькая детская чёлочка, закрывающая не только лоб, но и брови. И он время от времени доставал расчёску и проводил ею по волосам. Потом энергично фукал на расчёску и прятал её в нагрудный карман пиджака.

Оба следователя были в штатском.

— Ну что? Признаваться будем или как? — недружелюбно спросил тот, что с чёлочкой. — Я — старший следователь капитан Фесенко. И мне поручено вести расследование твоих преступлений.

Васильев подумал немного, а потом сказал:

— Я — гражданин Соединённых Штатов Америки Олег Петрович Васильев. Я требую консула и адвоката.

— Требуй. Твоё право, — согласился Фесенко. — А где мы тебе этого консула возьмём? Родим, что ли?

Второй следователь радостно засмеялся и поставил на стол перед Васильевым чашку кофе. Потом подумал и добавил пачку сигарет. Васильев не стал отказываться от халявы. И кофейку глотнул, и закурил.

— Ну так что? — Фесенко начал писать на бланке. — Так и запишем — Олег Петрович Васильев. — Потом почесал шариковой ручкой подбородок, — с какой целью прибыл в Город? Организация диверсий? Сбор разведданных? Организация шпионской подпольной сети?.. Зачем, короче, приехал?

Васильева такая масса идиотских вопросов стала раздражать:

— Вы что? Чокнулись тут массово? Я родился в Городе. Имею я право посетить родительские могилки?

И тут зазвонил телефон. Фесенко взял трубку:

— Старший следователь капитан Фесенко слушает.... Есть... Понял... Слушаюсь... Есть...

Потом он нажал кнопку селектора и прорычал:

— Фесенко говорит. Вещи временно задержанного Васильева немедленно ко мне!

После этого Фесенко в очередной раз пригладил расчёской чёлочку, встал из-за стола, пошептал на ухо коллеге, сказал:

— Разбирайся сам, лейтенант, — и вышел, хлопнув дверью.

Весёлый лейтенант тут же занял освободившееся место во главе стола, покрутил задом, устраиваясь поудобнее на стуле, и представился:

— Лейтенант Савин.

Потом помолчал немного для торжественности момента и продолжил:

Значит, так, гражданин Васильев. Дело ваше закрыто. Был звонок сверху.

Оказывается, Город Вас помнит как работника идеологического фронта, так сказать, и выражает уверенность, что и в дальнейшем вы приложите все силы, знания и, я не побоюсь сказать, талант для воспитания подрастающего поколения, так сказать, в духе... и прочее... сами понимаете. На прежней работе в Бюро оркестров вы уже восстановлены. Кстати, завтра Первое мая. И вам доверено с группой товарищей вести первомайский репортаж с площади Ленина. Текст репортажа и пропуск на площадь уже у вас дома. А вот и ключи... — лейтенант Савин достал из ящика стола ключи на брелоке и торжественно выложил на стол.

Сказать, что Васильев растерялся, — это ничего не сказать. Пока лейтенант двигал свою речь, в голове Васильева возникло не менее сотни вопросов. Но задал он только один:

— Как же это — Первое мая? Я, как помню, в августе сюда приехал...

— Не волнуйтесь зря, гражданин. — Савин был просто счастлив, заметив васильевское недоумение. — Просто в Городе на практике осуществилась великая мечта всего человечества, и сказка стала былью. Вот поживёте немного у нас... освоитесь... сами поймёте, что к чему. Теперь что касается Первого мая. Согласитесь, что у трудящихся, у нашего доблестного рабочего класса должны быть и праздники, а не только будни. И чем больше этих праздников, тем лучше. Вот, к примеру, завтра Первое мая, а послезавтра — Новый год.

— Какой Новый год? — снова возник Васильев. — Новый год зимой, а сейчас лето.

— А у нас всё время лето, — объяснил Савин Васильеву, как неразумному ребёнку. Поэтому Новый год мы празднуем когда захотим. Да! Вот ещё! — спохватился следователь. — Совсем вы меня заболтали. Вот ваши вещи, изъятые при аресте, — он пододвинул поближе к Васильеву пакет. — Можете и не проверять — нам чужого не надо. Правда, ваш американский паспорт заменён на наш. Только представьте, с какой гордостью вы будете вынимать из широких штанин!.. Доллары Ваши обменены по действующему курсу — девяносто четыре копейки за доллар.

— Спасибо, — сказал Васильев. Уж очень ему хотелось побыстрее вырваться из этой конторы.

— Вот и хорошо, что мы нашли взаимопонимание, — зардовался лейтенант.

— Я уверен, что и по следующему вопросу мы найдём точки соприкосновения. Васильев изобразил предельное внимание.

— Вы, товарищ, должны понимать, что посильное сотрудничество с нами — это большая честь для любого гражданина, тем более коммуниста.

— Я беспартийный, — перебил Васильев, — и никогда не был членом.

— Странно, — удивился Савин. — Но, в конце концов, это дело времени. Рано или поздно Партия окажет вам доверие... Так о чем это я?.. Да! Я о том, что сотрудничество — это большая честь.

— Так вы и есть эти самые честь, совесть и разум эпохи? — неискренне удивился Васильев.

— Увы, — с грустью отметил лейтенант. — Честь у нас в Горкоме находится, ум — в Горисполкоме, а совесть в Народном суде.

— А вы тогда что? — задал Васильев нелепый вопрос.

— А мы — прямая кишка, — гордо ответил Савин и, заметив Васильевскую улыбку, добавил: — Без ума, чести и совести всю жизнь жить можно, а вы попробуйте хотя бы недельку пожить без прямой кишки. То-то!.. Так вот, мы предлагаем вам сотрудничество. И мы уверены, что с вашей энергией и работоспособностью вы окажете неоценимую услугу, так сказать...

— Не имеете права, — спокойно сказал Васильев и, увидев недоумение лейтенанта, пояснил: — я — иностранный гражданин. Следовательно, мою вербовку должен вести отдел внешней разведки. А у вас такого отдела нет.

— Действительно... Как-то не продумали этот вопрос, — разочарованно протянул лейтенант, но тут же воспрял духом. — Но мы ещё встретимся. Вот решим этот вопрос, получим полномочия, так сказать, и встретимся.

Лейтенант Савин выписал пропуск на выход. Васильев сгрёб пакет со своим барахлишком, прихватил на дорожку лейтенантскую сигарету — и оказался на воле.

А на воле было хорошо. Васильев прошёл мимо здания детской больницы, во дворе которой красовались трёхметровые бетонные фигуры зверей. Видимо, по замыслу скульптора больные дети должны были радостно выбегать в больничный двор и водить хороводы вокруг этих монстров.

Васильев прошёл, не торопясь, в городской парк, присел там на скамейку и закурил лейтенантскую сигарету. Надежд на то, что всё происходящее — бред, почти не осталось. Васильев курил и думал, что всё просто — это или он сошёл с ума, или город. Оставалось только понять — кто. Васильев начал рассуждать:

— Говорят, что сумасшедший не допускает и мысли, что он сумасшедший. А я такую мысль допускаю. Значит, я здоров. И сошёл с ума не я, а Город. А если Город сошёл с ума, то всё происходящее вполне объяснимо.

Васильев поднялся и побрёл к своему бывшему дому, думая о том, что надо просто принять правила игры. И потихоньку придумать, как отсюда вырваться.

Улица, по которой шёл Васильев, была уже в праздничном наряде: между домами висели гирлянды разноцветных лампочек и транспаранты « Мир, труд, май!» Витрины магазинов тоже были убраны в красное. Васильев, идя через

центральную площадь с памятником Ленину, а потом по улице мимо магазина тканей, мимо странного Парка скульптур с изваянием Дон Кихота, у которого пацаны не только обломали меч, но и поборвали медные латы, мимо чудом сохранившихся строений девятнадцатого века, всё пытался понять хоть что-нибудь, но так ни до чего и не додумался.

ГЛАВА 3

Васильев поднялся на третий этаж дома, в котором жил когда-то. Постоял возле двери квартиры. Ему почудилось жутковатое эхо, которое гуляло по пустым комнатам перед отъездом. Потом порылся в кармане и достал ключи. А достав, удивлённо отметил, что в связке не только ключ от квартиры и почтового ящика, но и от машины, и гаража.

— Это хорошо, — отметил Васильев, открывая дверь. — Это всё-таки транспортное средство. Значит, есть на чём...

Васильев вошёл в коридор. Всё было так же, как в добрые старые времена, когда он ещё и не помышлял об отъезде. Васильев походил по комнатам, отметил, что пыли не было, погладил корешки книг, удивился тому, что рыбки в аквариуме живы, и сел на кухне перекурить.

Он включил радиоприёмник, стоявший на холодильнике. Потом вытряхнул на стол содержимое пакета, вручённого ему весёлым следователем Савиным.

По радио мужской голос пел песню из кинофильма «Я шагаю по Москве». Но что-то в этой песне было не то. Васильев прислушался и сразу понял что. Баритон пел: «А я иду, по Городу иду...»

Баритон старался, а Васильев, подпевая, перебирал своё имущество. Паспорт был в полном порядке — прописка, штамп о браке и прочие ненужные нормальному человеку отметки. В бумажнике — девятьсот шестьдесят два рубля. Васильев решил, что на первое время хватит, а там он обязательно найдёт возможность вырваться на волю. Лежали ещё в бумажнике не только советские водительские права и техталон, но и васильевский военный билет офицера запаса. Васильев взял свои часы на металлическом браслете и собрался было надеть их на руку, но спохватился — часы стояли. Васильев хотел было выругать тупарей, испортивших дорогую вещь, но тут же замер и вслушался. Входная дверь открылась, скрипнув, и в коридоре послышались шаги. Васильев схватил кухонный нож и вжался в стенку возле двери.

— Ты это... кончай за колюще-режущие предметы хвататься, — услышал Васильев и ещё больше испугался. — А то ненароком руки себе поцарапаешь. Лечи потом. И ваще... Я тут по службе.

Васильеву немного оттянуло. Он снова сел за стол. Нож, правда, из рук не выпустил. В дверном проёме стоял небольшой мужичок в ватнике и шапке-ушанке. И в такой шикарной бороде, что из бороды этой были видны только кончик носа да маленькие чёрные глазки.

— Ты меня не бойся зря, — сказал лохматый. — Я по службе зашёл. Присмотреть... Мало ли что?

— А вы кто? — спросил Васильев, всё ещё не выпуская нож.

— Я домовой здешний, — представился странный визитёр. — Меня Константином зовут. Всё ли в порядке нашли, Олег Петрович?

— Спасибо. Всё просто отлично, — выдал похвалу Васильев и пригласил лохматого садиться.

Тот, как был в шапке и ватнике, уселся за стол и по-хозяйски оглядел кухню.

— Это даже как-то неожиданно, — сказал Васильев, кладя нож в сторонку. — Я никогда не думал, что домоуправы будут проявлять такую заботу о жильцах.

— Я повторяю специально для тех, кто не расслышал, — терпеливо проурчал Константин, — я не домоуправ. Я домовой. Домоуправы — они за капремонты

отвечают, за дворников всяких... канализация, опять же... А наше дело смотреть за имуществом и порядок наводить. Чтoб возвращенцы претензий не имели.

— Ну вот и очередной сумасшедший, — с горечью подумал Васильев. А вслух сказал:

— Что-то раньше я вас в этих краях не видел.

— А как ты мог меня видеть, когда я совсем маленький был? — спросил Константин и пригорюнился. — Не кормил никто. Хорошо, если крошки со стола подберёшь да у кошки молочка из блюдца перехватишь. Ой и кошка же у тебя, Петрович! Зверь, а не кошка! Раньше, наверное, тигром была.

— Да... — протянул Васильев задумчиво. — Кошка была что надо. Собак била. Жаль, что околела.

— Ну это горе небольшое, — заверил Константин. — Кошку я тебе верну. Только ты её прячь куда-нибудь, когда я буду приходить. Нет. Лучше я сам её прятать буду — так надёжней выйдет. И не церемонься со своим выканьем. Называй меня на ты. Домовых все на «ты» называют. Вот попробуй. Сам увидишь, что на ты звучит лучше.

Васильев попробовал:

— Ты мне, Константин, честно скажи... Вот ты говоришь — возвращенцы. А много уехавших назад вернулось?

— Возвращаются все, кто не сумел оторваться! — гордо доложил Константин.

— Только каждому своё время.

— Да! О времени! — спохватился Васильев и протянул домовому свои часы. — Ты глянь. Может, починить можно.

Константин покрутил в лапах умерший аппарат и вздохнул:

— Не... В этом деле я тебе не помощник. Потому что у нас времени нет. — И, заметив испуганный васильевский взгляд, похвалился, — зато никто, никуда и никогда не опаздывает. И всё вовремя происходит. Вот, например, завтра Первомай. В самое время. Да! Вот тут тебе бумага. Велено передать.

Константин вынул из-под ватника пластиковую папочку и положил её на стол перед Васильевым.

Васильев раскрыл папку. Там были машинописные тексты комментариев и приколотый скрепочкой красный пропуск на площадь. Всё как обычно.

— Петрович! — тихонько спросил Константин, — а что ты мне на праздник подаришь? По праздникам положено подарки получать...

— Что хочешь, то и подарю, — расщедрился Васильев. Уж очень был ему симпатичен этот домовый. — Ну так что ты хочешь?

— А пирожные можешь? — спросил Константин. — Пирожные — они деньги стоят.

— Могу, могу, — успокоил Васильев домового, — видишь сам — деньги пока есть.

— Деньги — их экономить надо, — нравоучительно сказал Константин. — Вот мы с женой экономим. В банку на чёрный день откладываем. Уже две банки наложили. Из-под кильки. Но если ты такой богатый, давай двадцать две копейки — я сбегаю.

— А у тебя и жена есть? — удивился Васильев и раскрыл бумажник.

— А как же! — домовый даже привстал немного, чтобы в васильевский бумажник заглянуть. — У нас всё как у людей! Моя Марфа в девятой школе работает. Раньше домоводству учила, а теперь будет физике.

— Интересно... — протянул Васильев, выкладывая на стол три рублёвых бумажки.

— Она у тебя и физику знает?

— А зачем ей знать? — искренне удивился Константин. — Она же учить будет. А в наших школах на всех уроках учат одному — как правильно Город любить.

Васильев улыбнулся:

— Вот тебе, Константин, трояк. Купи себе дюжину пирожных.

— Чёртову? — обрадовался Константин

— Чёртову, — подтвердил Васильев и поднялся. — Пойдём вместе. Мне надо чемоданы из камеры хранения забрать.

На вокзале под недреманным оком дежурного милиционера Васильев открыл дверцу своей ячейки и удивился — там стоял только один чемодан. Он постоял немного и махнул рукой милиционеру, который и без того с любопытством поглядывал на Васильева.

— Что случилось, гражданин? — козырнул милиционер.

— Да вот, чемодан один пропал, — объяснил Васильев. — Вчера ставил два чемодана. А сегодня открыл — стоит только один.

— Что у Вас было в пропавшем чемодане? — милиционер был строг и деловит.

— Вещи разные... подарки... сувениры... — стал вспоминать Васильев. — Я, собственно, из Америки приехал погостить...

— Всё ясно! — обрадовался страж порядка. — Никто у Вас ничего не воровал. Чемодан ваш сам собой исчез. Потому что нашему человеку и даром не нужны заграничные шмотки.

Милиционер ещё раз козырнул и пошёл в центр зала, а Васильев с уцелевшим чемоданом — домой.

Дома Васильева встретил домовый Константин. Бисквитные крошки запутались в его бороде, но домовый был счастлив.

— Тут я тебе оставил кусочек, — сказал он Васильеву, довольно икнув. — Смотри не съешь случайно. Я завтра приду и проверю.

И тут зазвонил телефон. Васильев поднял трубку и услышал позабытый уже голос Ники Воскресенской:

— Олег! Если ты забыл, что у меня сегодня сдача «Трёх сестёр», то я тебя сожру. Вместе с ботинками. Только попробуй не прийти! И бутылку прихвати — потом посидим, как белые люди.

— Ты что, мать? — фальшиво удивился Васильев. — Как можно такое забыть? Конечно же, приду.

— В люди пойдёшь — переодеться не забудь, — напомнил Константин. — А то оделся, как ковбой буржуйский.

— На себя посмотри, — парировал Васильев. — Валенки зачем обул?

— Валенки — это национальная русская обувь, — надулся Константин. — Они, между прочим, для тепла придуманы. Ну я пошёл тогда, раз ты такой. Кошку не забудь покормить.

Константин ушёл — и тут же появилась и стала тереться о васильевские ноги кошка Милка. Васильев обрадовался так, что даже слеза навернулась. Он покрошил Милке колбаски, налил молока и двинулся в ванную. Горячей воды не было. Выбравшись, Васильев принял холодный душ. И это оказалось не так уж и страшно.

Порывшись в шкафу Васильев надел серый костюм, белую рубашку и красный в серую полоску галстук. Потом уложил в саквояж литровую бутылку смирновской водки, чудом оставшейся в чемодане, велел кошке Милке хорошо себя вести и пошёл в театр.

— Любите ли вы театр так, как люблю его я? — вопрошал неистовый Виссарион, обращаясь к читателям «Современника». Не знаю, что ему ответили его читатели, но если бы он задал бы такой странный вопрос городам, то ответ был бы короток и ясен:

— А как же! — сказали бы столицы.

Ещё бы! Им по статусу положено. В них ведь не только Столы, называемые министерствами и ведомствами, расположены, но и сотни лиц бьются в уличном лабиринте, играя свои роли. На то и Столица, чтобы лица эти были покрыты слоем грима и казались бы красивей, значительней, богаче, удачливей, чем на самом деле. Москва, она ведь потому Москва, что людей без масок в ней просто нет. Они в ней не выживают.

Поэтому в Престольной и живут шестьдесят девять театров. А это пусть не много, но всё же больше, чем в Париже. Санкт-Петербург, находящийся в постоянной войне с Москвой за возвращение былого столичного статуса, напрягся и породил на один театр больше, чем в сопернице. Но в этой странной гонке всех уложил Нью-Йорк, который нагло называет сам себя Столицей мира. Тридцать восемь Бродвейских и двести иных театров сделали его недосыгаемым для соперников.

Это ж страшно подумать! Сорок тысяч человек в Нью-Йорке не только называют сами себя артистами, но и состоят в различных актёрских профсоюзах. А ведь могли бы пользу приносить.

Но это в столицах.

А маленькие города театры не любят. Потому что одно от них беспокойство. Мало ли что?.. И приходится органы всякие специальные создавать для соответствующего идеологического контроля.

И самое главное в этой нелюбви к театру — это то, что аппаратчики — лицедеи по натуре и по профессии — опасаются, что вдруг кто-то сумеет притвориться лучше, чем они.

Может быть, именно поэтому провинциальные города недолюбливают театр. И это странно, потому что театры обожают свои города и носят их имена с той же гордостью, с какой нелюбимая жена носит фамилию мужа. И не только театры, но и вся так называемая творческая интеллигенция, как столичная, так и провинциальная. Художники переносят родные города на свои холсты, поэты пишут восторженные стихи, а композиторы не менее восторженную музыку. И иногда у них это даже получается. Феномен Арбата, который воспел Окуджава — это уже из области фантастики. Ну обычная маленькая московская улочка. Таких не только в столичных, но и в провинциальных городах пруд пруди. А вот смотри ты! Запел под гитару негромко пожилой, скромный человек — и страна подхватила: «... батяня, комбат! За нами Россия, Москва и Арбат...» А не будь Шагала, кто бы в мире, кроме географов, знал, что есть такой город — Витебск?

Да... Что уж говорить?..

Город, как положено, с подозрением относился ко всякой интеллигенции, не говоря уже о творческой, и театр не любил. Не любил, но терпел. Так терпит дама прыщик на интимном месте — и беспокойство, и выдавить больно.

Правда, Город несколько раз выдавливал свои театры за свои пределы. Но только, казалось, избавился, как созревающие девчонки тут же организовывали некое подобие театра и начинали разыгрывать душещипательные сценки для родителей и будущих женихов.

И вот, хорошо это или плохо — не знаю, — Город смирился. И завёл себе очередную труппу.

ГЛАВА 4

Васильев шёл на премьеру и вспоминал бунинские строки: «... я все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми... за одно то, как актер произносит слово «аромат» — «а-ро-мат!» — я готов задушить его!»

Васильев, идя по пыльному тротуару, и так и сяк поворачивал эту фразу и получал от этого несказанное удовольствие.

С таким вот хорошим настроением зашёл Васильев в книжный магазинчик, убедился, что новых книг не было и не будет, и только когда вышел, с ужасом вспомнил, что он тоже актёр, что на работе он уже восстановлен и что уже завтра ему нужно будет комментировать по радио первомайскую демонстрацию.

Васильев неожиданно так явно почувствовал запах грима, что его чуть было не стошнило.

Он постоял немного, вытер пот с лица и быстренько двинулся в сторону вокзала. В вокзальной кассе у него потребовали командировочное удостоверение, объяснив, что без этого удостоверения продать билет не имеют права.

— Ладно, — решил Васильев. — Завтра на этой демонстрации отработаю, потом сразу же в машину и — прости-прощай!

Настроение немного поправилось, и Васильеву даже захотелось навестить товарищей по профессии. Тем более — премьера.

Васильев дошёл, наконец, до Городского театра, почитал афишу и, уже поднимаясь по гранитным ступенькам к колоннам возле театрального входа (ну какой же это театр без колоннады?), ощутил за спиной некоторую странность. Он обернулся. В небольшом скверике напротив театра стоял памятник. Васильев сразу же увидел себя мальчишкой там, в забытых напрочь пятидесятых, благоговейно проходящим мимо этого шедевра. На бетонной скамье сидел бетонный же Иосиф Виссарионович. В правой руке он сжимал трубку, а левой приобнимал за плечи Максима Горького в тубетейке. Причём ростом Горький едва доставал Вождю до плеча.

Васильев налюбовался вдоволь на произведение монументального искусства и вошёл в театр, в аромат волшебства, праздника и загадки. Уже дали второй звонок, и фойе опустело.

Мимо Васильева пронеслась было, стуча каблуками, костюмер Зоя Таранькина. Но, спохватившись, затормозила и подошла к Васильеву.

— Олег! Принёс? — деловито спросила она, выхватила у Васильева саквояж и проинформировала. — Банкет на пятом. Смотри не опоздай. — И убежала так быстро, что Васильев не успел заметить куда.

Васильев поднялся по лестнице на второй ярус и устроился в кресле возле входа.

Пошёл занавес, и открывшаяся декорация сорвала аплодисменты. На сцене на заднем плане за столиками и креслицами высилась ступенчатая пирамида, напоминающая храмовые сооружения ацтеков. Пирамиду венчала копия вокзальной надписи: «Город».

Второй аплодисмент взяла актриса, играющая Ирину, сказав вместо: «Уехать в Москву. Продать дом, покончить всё здесь и — в Москву...» — «Уехать в Город...» Но когда Ольга подтвердила: «Да! Скорее в Город», аплодисменты перешли в овации. Зрители встали и начали скандировать:

— В Город, в Город!..

Васильев тихонько поднялся и на цыпочках прошёл в буфет. Буфет был пуст.

Только в уголке сидел главный режиссёр Города Игорь Николаевич Добежалов. Васильев подсел к нему и поприветствовал. Игорь Николаевич молча налил стакан пива и пододвинул его к Васильеву.

— Вернулся? — равнодушно сказал Добежалов и отпил из стакана. — Ну что ж. Все возвращаются...

— Я на время, Игорь, — заверил Васильев. — Я тут на пару дней — и назад.

— Это уж вряд ли... — протянул Игорь Николаевич. — Все говорят, что на пару дней, а потом...

Васильев взял Добежалова за кисть правой руки и вслушался. Под пальцами билась тоненькая ниточка пульса.

— Ну что ты дуришь? — спросил Добежалов, — сам знаешь, что я помер.

И тут Васильев сразу вспомнил, что он не только был на похоронах Добежалова, но и что-то говорил на этих похоронах.

— Ты не пугайся, Олег, — успокоил Игорь Николаевич Васильева, — я сам не понимаю, как это... И никто не понимает. Вернее сказать — не задумывается. Вот и ты не думай. Что есть, то есть.

Васильев выпил жидкого пива. Помолчал. Потом решил перевести разговор на другое:

— Ну и как тебе спектакль, Николаевич?

Добежалов тоже попил пивка и резюмировал:

— Сам не видел? Но говно полное. Завтра в газете будут рецензии о гениальных режиссёрских находках, о новом прочтении Чехова и прочая муть. Машка Коврижная уже написала. И сам Канарейкин обещал. Так что всё в порядке. Ника от радости так и парит. Но это же Ника. Крылья есть, а головы нет. Ты матроса у меня сыграешь?

— Какого матроса? — Васильев поперхнулся пивом, но быстро пришёл в себя.

— Может, и сыграю. Нет! Что это я? Я же завтра... Словом, вряд ли.

Добежалов поморщился:

— Матроса, Олег, революционного матроса сыграть — это большая честь. Приказано, вернее, рекомендовано, поставить «Шторм» Биль-Белоцерковского. К Седьмому Ноября. А хорошего матроса, фактурного такого... у меня нет. Ладно... Я не обижусь. Только пустое ты, Олег, затеял. Не уехать тебе.

— Это почему? — обиделся Васильев.

— А потому что Город не снаружи. Город — он внутри. Ладно... Пошли покурим.

И они вышли из театра в вечер и тусклые фонари. И возвратились уже в антракт. В фойе степенно прогуливались завсегдатаи театральные премьер: партхозактив, ответственные и полуответственные работники, которые вывели своих дам людей посмотреть-себя показать, несколько преподавателей музучилища и местного пединститута, отставные военные и просто родственники и друзья артистов. К Васильеву подошла коллега по бюро оркестров Елена Михайловна.

— Олег! — сказала она томным меццо-сопрано, — ты не забыл, что в субботу юбилей смерти Пушкина? Сто сорок четвёртая годовщина. Мы должны, мы просто обязаны устроить праздник, достойный памяти великого Поэта.

— Странный это обычай — праздновать день смерти... — протянул Васильев сквозь зубы. Кстати. Пушкин ведь в январе умер, а сейчас лето. И какой же это юбилей? Юбилей должен на цифру пять или десять заканчиваться.

— Не нашего это ума дело, — парировала Елена Михайловна. — Уже привлечена масса народу. Ты читаешь «Пророка».

— Хорошо, — неожиданно для себя согласился Васильев и направился в буфет.

Народ не торопился в зал, несмотря на настойчивый третий звонок.

Допивали, доедали и делились впечатлениями. И судя по отрывочным фразам, донесшимся до Васильева, публика была в восторге. За столиком в центре устроился Первый секретарь Михаил Мефодиевич.

Сами Михаил Мефодиевич с супругой сидели за столиком, а сопровождающие лица из «аппарата» стояли вокруг, с восторгом глядя, как Первый дожёвывает бутерброд.

Васильев хотел было пройти мимо незамеченным, но это ему не удалось.

— Олег Петрович! — властно остановил Васильева Первый. — Что не подойдёшь, не поздороваяешься? Зазнался, что ли? Это не к лицу нашему человеку.

— Да как-то неудобно было беспокоить, — попытался оправдаться Васильев.

— Неудобно штаны через голову одевать, — пошутил Михаил Мефодиевич, вызвав дружный, но негромкий смех «аппарата». Васильев подошёл поближе и пожал пухлую руку. А Михаил Мефодиевич продолжал:

— Это хорошо, что вернулся. На следующем партхозактиве сделаешь краткое сообщение о гримасах гнивающего империализма. Вот тут недавно Маркин приехал из Израиля, — Михаил Мефодиевич обвёл глазами свою свиту, и все дружно закивали головами, подтвердив тем самым приезд Маркина. — Так он такого порассказал о зверином оскале международных сионистов — страшно слушать было.

Первый помолчал немного, чтобы произнесённое лучше запечатлелось, и спросил:

— Ну и как тебе спектакль?

— Замечательно! — ответил Васильев.

— То-то! — Первый, похоже, был доволен. — И, что главное, ни одного приглашённого летуна. Все свои. Вырастили, так сказать... воспитали... А Воскресенскую будем поднимать. Местный кадр, так сказать, и вот — добилась.

Михаил Мефодиевич расправился с бутербродом и поднялся. И вместе со свитой двинулся в зал. Буфет тут же опустел. Только за столиком Добежанского эффектно жестикулировал Владлен Щепотько — неоспоримо гениальный актёр и режиссёр.

Васильев взял бутылку пива, тоже присел за столик и попытался врубиться в разговор.

Оказалось, что Владлен Гаврилович горячо и страстно приглашал Добежанского на вечер, посвящённый рождению стотысячного горожанина. Сценарий вечера писал сам Щепотько. Он же был режиссёром-постановщиком этого мероприятия. И, разумеется, ведущим вечера.

— Владлен Гаврилович, — осторожно спросил Васильев, — а как вы предугадали рождение этого стотысячного? Это ведь дело такое... Тонкое.

— Ничего сложного, Олег Петрович! — Щепотько довольно улыбнулся, — ничего сложного. Простая арифметика. Каждый день в Городе рождается пять младенцев. Остаётся только подсчитать. И всё.

— А вдруг родится не пять, а три? — усомнился Васильев.

Владлен Гаврилович улыбнулся ещё раз:

— А вот этого, уважаемый Олег Петрович, не может быть, потому что быть не может. В нашем роддоме каждый день пять пар счастливых родителей получают своего младенца. Годами, — вы вдумайтесь только! — годами в очереди стоят. Справки и рекомендации представляют. И вот наконец-то получают долгожданное чадо на целую неделю.

— А потом? — не понял Васильев.

— А потом сдают ребёнка обратно. Медики проверяют соответствующим образом новорожденного, и если всё в порядке, передают следующим родителям. Так что ничего незапланированного просто не может произойти.

Васильев заглянул в глаза Щепотько, и ему стало страшно. Однако он взял себя в руки:

— Ах вот как? — протянул он, — я совершенно с вами согласен, Владлен Гаврилович. Это разумно. И, наверное, много чего-то экономит.

Васильев стал пить пиво. А Щепотько всё никак не мог остановиться:

— Вы, Олег, конечно же, будете принимать участие в юбилейном Пушкинском вечере. Я не сомневаюсь. Вот вы специально послушайте, как я буду читать «Бесов». Нет! Вы специально выйдите в зал и послушайте.

Щепотько сделал глубокую наполненную паузу и продолжил:

— Вы же знаете Юрского? Он же гений!

— Гений, — согласился Васильев.

— Так вот. Я буду читать «Бесов» в его стиле.

Владлен Гаврилович ещё много бы чего наговорил, но из зала понеслись аплодисменты.

— Пора, — сказал Добежалов и поднялся.

Поднялся и Васильев, и они пошли вниз, а потом за кулисы поздравлять актёров.

Щепотько пошёл с ними. Время от времени забегая вперёд, он разворачивался и давал оценку спектаклю. Краткую, но сочную:

— Смело! Что уж тут скажешь? Смело — да и всё. Я, Игорь Николаевич, понимаю, что настоящий интеллигент должен находиться в постоянной конфронтации с властью. Я и сам как русский гуманитарий всё время против. Но Ника, по-моему, немного перегнула палку. Это слишком смело!

— Что — смело? — лениво спросил Добежалов.

— Я пока ещё и сам не знаю... — замаялся Щепотько, — я не сформулировал ещё... Оно должно отстояться, сами понимаете... Но свой вывод я сделал. Кстати

говоря, Вы обратили внимание, как хорош сегодня был Кондратьев в роли Тузенбаха? Раскованный, предельно органичный...

— Вы идите, Владлен Гаврилович, мы догоним, — Добежалов повернул в сторону туалета. — Пиво, понимаете ли...

— А вот Михаил Мефодиевич в восторге, — как бы между прочим проговорил Васильев. — Так и сказал: « Будем поднимать Воскресенскую...»

Щепотько начал меняться в лице: сначала побледнел, потом покраснел. Какого цвета стало его лицо в финале этих перемен, Васильев уже не видел, потому что вслед за Добежаловым вошёл в мужской туалет. Отводя душу, Васильев спросил:

— А что, Кондратьев действительно?..

— Конечно, — подтвердил Игорь Николаевич, полоща руки под струёй воды, — пьяный в хлам ваш Кондратьев. Перед спектаклем едва нашли. Весь театр облазили — пропал человек. Потом электрик обнаружил на колосниках под самой крышей спящим. Как не свалился, одному Богу известно. Сволокли его вниз, отпоили нашатырём... Поэтому и раскованный.

Когда Васильев вышел, Щепотько уже стоял у служебного входа с лицом нормального цвета. Только столько недоумения и обиды было в этом лице да и во всей фигуре Владлена Гавриловича, что был он похож на ребёнка, которому вместо конфеты дали пустой фантик. Щепотько уже открыл рот, чтобы выразить очередную точку зрения, но тут дверь распахнулась и из служебных помещений вышел сам Михаил Мефодиевич и сопровождающие его лица. Они в очередь пожали Добежалову с Васильевым руки и строем удалились. Последней выпорхнула из дверей завотделом культуры Марта Яновна Бородкина, подарила своё энергичное рукопожатие и побежала догонять своих.

— Вы видели? — трагически спросил Щепотько. — Нет! Вы видели, как я страдаю за убеждения? Мне никто не подал руки.

— Владлен Гаврилович! — Васильев попытался успокоить безутешного Щепотько. — Вы просто стояли в стороне. Вот, второпях, Вас и обошли.

— Нет, нет! Это интриги! — голос Щепотько трагически дрогнул. — Я недавно на концерте стихотворение Солоухина про кактус прочитал. В самом стихотворении ничего такого... Но вы же представляете, как я его прочитал? И вот, пожалуйста. Уже донесли.

— Владлен Гаврилович! — посочувствовал Добежалов. — Я бы на Вашем месте пошёл бы и напился. Но зная, что Вы не пьёте водку, ничего посоветовать не могу, — и открыл дверь в таинственный полумрак сцены.

А на сцене ликовала труппа. Обнимались и целовались недавние недруги и друзья. Бывшие, настоящие и будущие любовники и супруги. Таланты, признанные и не очень, лобызались с бездарями и одухотворённые творцы поздравляли приземлённых ремесленников. И поверх всего, ниспровергая все законы физики, парила Ника Воскресенская с огромным букетом роз в руках. И неизвестно, как долго длилось бы это всенародное ликование, но в софите пушечным выстрелом лопнула лампа. Тут же народ пришёл в себя и начал расходиться. Ника плавно приземлилась возле Васильева, чмокнула его в щёку и сказала:

— Иди на пятый. А я Кондратьева убью, суку, и сразу приду.

— За что же ты его так? — удивился Васильев. — Вот даже Владлен Гаврилович его хвалил. Раскованный, дескать...

— Раскованный? — переспросила Ника и рассмеялась специальным смехом. — Эта сволочь пьяная перепутала спектакли. Мы играем «Трёх сестёр», а он «Парня из нашего города». Это просто дурдом какой-то! Хорошо ещё, что наш зритель пьес не читает. Я — дура и ничего не понимаю, Олег! Ничего! Когда эта сволочь вышла в полевой форме сорок первого года и с автоматом в руках, никто и не удивился даже. Никто. Ты въезжаешь? Я — нет. А когда этот мудака взмахнул автоматом и заорал: « За Родину, за Сталина!», зал в восторге встал.

Ника постояла немного, подумала, а потом швырнула розы на пол:

— Нет! Держите меня четверо! Я этого гада в клочья разорву! — И тут же, сменив тон, деловито предложила: — Ну что мы тут стоим, как придурки? Пошли. А то выжрут всё без нас.

И они дружно поднялись по винтовой лестнице под самую крышу. Туда, где располагались репетиционный зал с небольшой сценой и несколько комнат, назначение которых постоянно менялось. В одной из таких комнат, стены которой были сплошь покрыты старыми афишами, уже был накрыт стол, суетилась, раздавая направо и налево приказы и матюги, Зоя Таранькина. Участники застолья сидели по принципу «в тесноте, да не в обиде». И только в углу возле окна спали, прислонившись друг к другу, Хрупак и Кондратьев.

— Не бери в голову! — крикнула Зойка Васильеву, раскидывая по столу тарелки, — это они твою водку импортную скоммуниздили и выжрали в туалете. Ничего. Эти очнутя. У них квалификация высокая.

И точно! Тут же Хрупак приподнял голову сказал:

— А закусить? — и начал устраиваться за столом.

А за столом уже было налито. И Добежалов, приподнявшись, сказал короткий тост за искусство и за всех присутствующих. Выпили. Начали закусывать. Васильев жевал солёный огурчик и удивлённо рассматривал наклейку на водочной бутылке. На знакомой зеленоватой этикетке красовалась надпись: «Городская особая». Но он не успел налюбоваться, потому что Хрупак заорал:

— Между первой и второй — перерывчик небольшой!

Тогда Ника предложила тост за дружбу. А потом непьющий Щепотько выдал тост за русскую интеллигенцию, которая претерпевает невероятные гонения. Потом искусствовед Мария Коврижная предложила выпить за гений Воскресенской. Она говорила долго, причём каждое третье слово у неё было «гениально». Она собралась было произнести в гении всех присутствующих, но неожиданно устала и закусила килечкой.

Потом Зоя Таранькина внесла дымящуюся кастрюлю с картошкой и со словами:

— Жрите, тунядцы! — поставила эту кастрюлю в центр стола.

И «тунядцы» прокричали «Ура!» и не стали церемониться. Картошка исчезла так же мгновенно, как исчезает кролик в шляпе фокусника.

После этого начали потихоньку подниматься и выходить в коридорчик покурить.

Васильев тоже вышел. Курильщики уже разбились на небольшие группки, и в каждой обсуждалось нечто очень важное. И только молодой плеябой Светлан Косяков ходил от группы к группе и читал стишок о городских памятниках. Он делал это с неизменным успехом уже лет пятнадцать.

— А потом будут соревноваться, кто кого быстрее заложит, — сказал негромко Добежалов, тоже вышедший на перекур. — Такие вот олимпийские игры...

Васильев сначала с недоверием посмотрел на Добежалова, а потом подумал, согласился и вернулся обратно к застолью. А там уже бушевало веселье. Витя Хрупак, похоже, отошёл от выпитого и пел под гитару Высоцкого, и все подпевали, как могли. И только две молодые актриски, уставившись друг другу в глаза, шипели по-змеиному и выясняли, кто же из них интриганка и режиссёрская подстилка.

Васильев присел, выпил рюмочку, и так ему стало хорошо и уютно, что не передать. Тогда Васильев отобрал у Хрупака гитару и спел несколько окуджавских песенок. И все дружно подпели. И так хорошо получилось, так слаженно, что Васильев даже не удивился, что, подпевая, друзья по застолью упорно заменяли слово Арбат словом Город.

Васильев удивился только когда поднялся Кондратьев, задумчиво оцупал на себе военную форму и, подойдя к зеркалу, изрёк:

— Ну вот и началось. Я так и знал. Но с вами, гниды, — обратился он неизвестно к кому, — я в разведку не пойду.

После такой речи Кондратьев попросил рюмочку для реанимации организма и вышел покурить.

— Интересно, что это он там увидел? — подумал Васильев и, воспарив, пролетел над головами сидящих прямо к зеркалу. И вот, когда Васильев посмотрел в мутноватое стекло, когда увидел свои остановившиеся, абсолютно мёртвые глаза, тогда ему стало страшно. Васильев глянул на Добежалова, ища поддержки. Но тот и лицом, и всей фигурой показал, что ничем помочь не может, что, дескать, у всех так оно начиналось.

Тогда Васильев довольно жёстко приземлился и, конечно же, не удержался бы на ногах, если бы не дружеская поддержка.

— Спасибо, братцы! — сказал Васильев и побежал в туалет. Там он, кое-как выблевав выпитое и съеденное, умылся холодной водой, и ему стало лучше. А как только стало лучше, он вернулся в застолье, где Хрупак уже наяривал «Цыганочку». Главный художник Янка Дукст, натянув на голову парик и нацепив несколько цветастых юбок, уже плясал, поводя плечами и потряхивая поролоновым бюстом. Все ждали выхода Зои Таранькиной. «Цыганочка» была её коронный номер. И начинала она её неизменным кувырком через голову.

Но у Васильева было так тошно на душе, что он не стал дожидаться, пока Зоя переоденется, заявил, что болен, и ушёл. На лестнице Васильев столкнулся с Ваней Кучерявым и его супругой Татьяной Крайней. Кучерявый только что был назначен главным редактором газеты «Красное знамя» и считал, что ему как начальнику положено задерживаться.

Васильев поприветствовал супругов. Он прекрасно знал, что Ваня быстро напьётся и будет петь комсомольские песни, а Крайняя сядет в сторонке и моментально заснёт, положив пухленькие ручки на колени.

Васильев шёл домой, не видя ничего вокруг — только зеркальное отражение собственных мёртво-оловянных глаз.

— А может быть, это всё-таки сумасшествие, — утешал себя Васильев так горячо, что уже начал в это сумасшествие верить.

Дома ждал его очередной сюрприз. За кухонным столом сидели домовая Константин и кошка Милка. Они играли в карты.

— Олег Петрович! — обрадовался Константин, увидев Васильева, — ты скажи своей кошке. Она передёргивает... Так ты скажи ей!

— Очко! — сказала Милка, перевернув карты, — шапку снимай, нечистик.

И тут же исчезла. Константин извиняющимся тоном объяснил:

А что мне оставалось? Пришлось вашу кошечку убрать. Не могу же я без шапки ходить. Мне без шапки должность не позволяет.

Васильев сел напротив Константина и закурил. На душе было противно-пре-противно.

— Крысы! — сказал Васильев Константину. — Они все, как крысы в бочке, жрут друг друга.

— Ну ты это кончай... — не согласился Константин, — это клевета, короче. Крысы — древнейшая цивилизация. Древнее только тараканы.

— Ага. — Васильев стал иронизировать, — у тебя и крысы цивилизация, и тараканы... Только люди не цивилизация.

— Молоды ещё, — загрустил Константин, — жизни ещё не видали... — Константин спохватился, — я, Петрович, вот сейчас тебе живой пример приведу. Свояк рассказывал. Он в ихнем доме жил. Говорил, что сам видел. И Константин начал излагать, заикаясь, сплёвывая на бок и жестикулируя. Но поскольку его рассказ на две трети состоял из ненормативных слов, выражений и прочего мата, то выкладывать его на бумагу я не буду. Совесть надо иметь. Одно дело матюгнуться пару раз по делу, другое... Словом, не буду — да и всё.

Когда Константин закончил свой рассказ, Васильев уже спал, уронив голову на стол. Константин потоптался вокруг, потом принёс подушку и подsunул её Васильеву под голову.

— Напьются, как свиньи, — ворчал Константин, — а потом туда же... Цивилизация...

ГЛАВА 5

А с утра наступил День международной солидарности трудящихся Первое мая!

— Вставай, Петрович! — Константин держал в левой лапе сковородку, а в правой деревянную ложку. И так самозабвенно колотил этой ложкой по сковороде, что напоминал камлающего шамана.

— Чего надо? — спросил Васильев, взял подушку и пошёл на диван.

— Ты чё, забыл, что ли? — удивился Константин. — Первомай сегодня. Весны, так сказать, и труда. И ты на нём работаешь.

Васильев вспомнил, что он действительно должен сегодня быть на демонстрации. Он поднялся, сварил кофе покрепче и закурил.

— Пива хочешь? — издевательски спросил Константин и, увидев, что Васильев согласно кивнул головой, добавил, — а я не дам. Потому что нету.

Васильев молча курил.

— Денег давай! — Константин был серьёзен. — Давай тринадцать семьдесят пять — я праздничный набор принесу. А ты, пока я бегаю, кошку покорми. Она хоть и жульническая кошка, но кушать тоже хочет.

Васильев молча вынул из бумажника пятнадцать рублей. Положил их на стол.

— Тут сдача выйдет, — озаботился Константин, — сдачу куда денем?

— Пирожных купи себе, — мрачно посоветовал Васильев. У него всё не проходил вчерашний холодок ужаса в животе, когда он увидел в зеркале свои глаза.

Васильев накормил появившуюся Милку, постоял под холодным душем и побрился. А когда оделся, за окном уже ревели в репродукторах «Москва майская».

Васильев хотел было закрыть окно, но диктор в это время понёс такое, что Васильев решил дослушать до конца.

По многочисленным просьбам трудящихся сегодня в Москве в Кремлевском дворце съездов в очередной раз начинает работу XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сегодняшний съезд создаст ещё более праздничное настроение у нашего народа.

«Ум, честь и совесть нашей эпохи», так назвал Владимир Ильич Ленин созданную им партию коммунистов. Вся наша действительность свидетельствует, что Коммунистическая партия достойно выполняет роль политического вождя рабочего класса и всех трудящихся. Вооруженная марксистско-ленинским учением, обладая силой научного предвидения, партия руководит великой созидательной силой строительства.

<...> Поэтому наш народ безгранично доверяет партии, всецело поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику, поэтому неколебим в народных массах авторитет партии как революционного авангарда, уверенно ведущего страну ленинским курсом к коммунизму. В единстве партии и народа неодолимая сила советского общества.

Политбюро Центрального Комитета заявило сегодня, что готово повторять Съезд ежемесячно...

После этого духовой оркестр заиграл «Прощание славянки» и в кухне появился Константин с двумя пакетами в лапах.

— Задержался малость, — проворчал Константин и поставил пакеты на стол, — очередь собралась — не протолкнуться. Хорошо, что знакомый из восьмидесяти шестого дома стоял. Я к нему и притёрся. А то бы стоять мне до Нового года.

Васильев развернул пакет побольше. Там была трёхсотграммовая бутылочка Рижского бальзама, банка шпрот, банка сайры, банка болгарских маринованных огурцов, кружок колбасы и пачка гречневой крупы. Словом, всё что надо для того, чтобы достойно встретить праздник.

Васильев пододвинул гречку к Константину:

— Бери, если хочешь.

— Возьму, — согласился тот, — как не взять, если дают?

Он моментально спрятал пакет в недрах ватника и посоветовал Васильеву:

— Ты давай, на работу иди. А мы тут с твоей кошкой в картишки пока перекинемся.

Тут же в кухне появилась Милка, перекусила и спросила деловито:

— На что играем, Лохматый?

— А на пирожные? — предложил Константин.

— Не... — Милка недовольно покрутила головой, — я пирожных не ем, — потом подумала и выдала свой вариант, — давай на щелбаны.

— А чем же ты щёлкать будешь? — удивился Константин.

— Хвостом, — ответила кошка и прыгнула на стул.

Васильев не стал ждать, чем закончится эта странная торговля, взял папку с текстами и вышел.

А на улице в репродукторах громыхали оркестры. Васильев сунулся было на центральную улицу, но сразу понял, что ему не протолкаться сквозь толпу — массы трудящихся уже стеклись ручейками в людскую реку и ждали только команды, чтобы пройти мимо праздничной трибуны, демонстрируя своё единство с мировым пролетариатом.

Тогда Васильев решил проходными дворами выйти на параллельную улицу и уже по ней добраться до гостиницы, где был оборудован временный корпункт местного радио. Васильев свернул было в подворотню, но его остановил милиционер в парадной форме.

— Почему на Вашем лице, гражданин, не видно признаков радости и восторга? — спросил милиционер, взяв под козырёк.

— Да так как-то всё... — проямил Васильев. Ему было неудобно признаваться, что он не понял вопроса.

— Если выражение дома забыли — это ничего. С каждым может случиться, — проявил заботу постовой, — у нас на этот случай даже инструкция есть. Вот. Берите и надевайте! —скомандовал заботливый милиционер, достав из полевой сумки бумажную маску на резиночке.

— Спасибо, — поблагодарил Васильев и взял маску. Всё было предельно просто.

На листке в клеточку из школьной тетради фломастером была нарисована улыбка до ушей. Для того чтобы эта маска держалась, к листку была прикреплена резиночка.

— Товарищ милиционер! А дырочки для глаз где же? — спросил Васильев, рассматривая шедевр карнавального искусства. — Я же не увижу, куда идти.

— А идти нужно туда, куда укажут! — засмеялся милиционер, — тем более если сплочёнными рядами...

Тогда Васильев догадался и показал сержанту пропуск на трибуну.

— Ну так бы и сказали сразу, гражданин! — обиделся милиционер, — а то все мозги затрахал.

Васильев прошёл в дальний конец двора. У дровяных сараев кучковались догадливые мужики — поправляли здоровье прямо из горлышка. Маски с выражением радости и восторга были у них подняты на головы и напоминали козырьки кепок.

Васильев вывернул в узкий проход между домами и вышел на улицу Гоголя.

Когда Васильев был в квартале от площади, его снова остановили и спросили пропуск. Васильев пропуск предъявил и подивился тому, как серьёзно была перекрыта улица — два автобуса стояли поперек, и из-за них выглядывало мурло бронетранспортёра. Васильев хотел было спросить, к чему такая баррикада, но не успел, потому что над головами на бреющем полёте пронеслась стая голубей. В клювах

каждый держал листок бумаги. Над площадью стоя рванула вверх, и запорхала метель листовок. Васильев подобрал одну. На ней было напечатано:

«Трудящиеся Города! Ознаменуем очередную пятилетку ударным инициативным трудом на благо Родины! Решения XXVI съезда КПСС — выполним! Все для блага человека, все во имя человека!»

Васильев сложил листовку, сунул её в карман и заторопился в гостиницу.

Там уже было всё «на мази». В фойе стоял длинный стол, на котором были установлены микрофоны. В центре стола красовалась красная лампа. Васильев отлично знал, что лампа эта загоралась тогда, когда с трибуны провозглашался очередной призыв Центрального Комитета к трудящимся. В это время диктор, ведущий репортаж, умолкал и вступал лишь тогда, когда лампа гасла.

У стола уже сидели постоянные дикторы — Добежалов, Ника, Косяков и странное существо по имени Иродиада Петровна Шмяк. На Иродиаде Петровне, как всегда, было навешено невероятное количество бижутерии: Иродиада Петровна считала, что творческий человек обязательно должен выделяться из серой толпы. Вокруг стола уже порхали барышни из идеологического отдела.

Васильев поздоровался с коллективом, положил свою папочку на место и вышел перекурить. У входа в гостиницу уже стояли тремя кучками духовики — два городских оркестра и один военный. К Васильеву подошёл тромбонист Яша Коган.

— Слушайте, Олег! — начал Коган озабоченно, — я вот тут всё думаю, думаю... Может, вы знаете ответ?

— Это смотря какой вопрос, — улыбнулся Васильев.

— А вопрос простой, — обрадовался Яша тому, что нашёл слушателя, — очень простой вопрос. Я вот всю жизнь играю марши. И только сегодня сообразил, что все наши марши минорные. Вы понимаете, Олег? Все. Кроме «Солдатушки, браво, ребятушки!»

— Ну и что? — равнодушно спросил Васильев.

— Как что? — Коган начал было горячиться, а потом неожиданно остыл и махнул рукой — хорошо, хорошо! Я уже забыл об этом, раз это никому не надо.

Васильев вернулся в холл как раз вовремя. Шустрые товарищи в штатском уже перекрыли лифт и лестничный марш, и из коридорной глубины появилось руководство. Михаил Мефодиевич, а вслед за ним и вся группа товарищей, подойдя к дикторам, лично поздравили с праздником. Михаил Мефодиевич при этом распорядился, чтобы в чай дикторам налили побольше коньячку для куражу.

Рявкнули оркестры на улице, и Косяков бодро и уверенно начал:

— Внимание, внимание! Говорит Город! Через несколько минут на площади имени Владимира Ильича Ленина начнётся парад Городского гарнизона и праздничная демонстрация трудящихся Города и района, посвящённая Международному дню солидарности Первое мая!

После этого микрофоны отключили, и можно было на время парада расслабиться. К Добежалову подошла горьковская дама:

— Игорь Николаевич! Поступило указание. Сегодня первой по площади пройдёт колонна ветеранов войны и труда. Вот текст, — она положила перед Добежаловым листок бумаги, — постарайтесь быть предельно внимательным. Это так важно.

— Хорошо, — согласился Добежалов, — буду предельно.

Помолчали. Собственно, говорить-то было не о чем. Попробовали чай с горьковским коньяком. Коньячок был что надо. Потому что после второго глотка Иродиада Шмяк начала интеллектуальную беседу:

— Женщины тоже разные бывают, — в глазах Иродиады стояла неутолимая тоска по настоящему мужчине. — Вот я вчера была у своего гинеколога. Вы не поверите, но он мне прямо сказал, что у меня очень узкое влагалище...

После такого заявления Иродиада Петровна обвела присутствующих взглядом, ища сомневающихся. Но сомневающихся не было. Всем было наплевать на особые

женские достоинства Шмяк. Она, может быть, ещё что-нибудь придумала бы, но горкомовские девочки замахали крылами, и звукооператор сказал:

— Врубаю.

Добежалов выдержал небольшую паузу и начал:

— Первомайскую колонну жителей города и района возглавляет группа ветеранов войны и труда. В первых рядах идёт член Коммунистической партии с 1916 года, участник Гражданской войны, латышский стрелок, человек лично охранявший Владимира Ильича Ленина...

В это время на столе вспыхнула красная лампа.

Добежалов переждал, пока с трибуны провозгласили очередной Призыв и начал своими словами:

— Во главе колонны ветеранов идёт член Коммунистической партии с 1916 года, участник Гражданской войны...

Загорелась красная лампа и с трибуны понеслось:

— Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперёд к победе коммунизма! Ура, товарищи!

Добежалов только пожевал губами, но начал сначала:

— На площадь, возглавляя колонну ветеранов войны и труда, вышел член Коммунистической партии...

Снова красная лампа не дала Добежалову закончить предложение:

— Работники государственного аппарата! Совершенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам и заботам советских людей!

Добежалов сделал паузу намного больше, чем было нужно, и сказал:

— Член уже вышел на площадь!

После этого Игорь Николаевич поднялся и, сказав:

— А ну вас всех на хер! — тоже вышел на площадь.

Горкомовские девочки ничуть не удивились. Моментально поделили тексты Добежалова между дикторами и — «машина» заработала. Васильев бодренько читал свои тексты о том, какими трудовыми подарками встречает Первомай выходящий на площадь очередной трудовой коллектив и думал:

— Вот бы мне, как Добежалову, встать бы сейчас и послать всех. А я не могу. Не могу — и всё. И, кажется, бояться мне нечего? И понимаю я весь маразм происходящего... А встать и уйти... Не-е-ет! Что-то тут не так. Это на массовый психоз похоже.

Васильев так углубился в себя, пытаясь понять, почему он не в состоянии прервать эту клоунату, что и не заметил, как закончилась демонстрация. Автоматически он отметил, что Иродиада, говоря о колонне железнодорожников, вместо «подъездных» путей сказала «подъёбные», и очнулся только тогда, когда Ника потрясла его за плечо:

— Ты что? Уснул? Я тебе уже четвёртый раз говорю, что вечером собираемся у меня. Посидим как люди ради праздничка.

— Да, да! Конечно! Я обязательно... — бормотал Васильев, а сам думал о том, что вот и с привычной компашкой расстаться он не в силах. Ведь и друзей-то настоящих в этой компашке не было, нет и вряд ли будут. А вот — на тебе! Тянет, как магнитом.

Васильев вышел на улицу и закурил. Он чувствовал себя смертельно уставшим. Вот так бы и лёг прямо на газон, на котором торчала на палке яркая табличка: «Здесь ходит только слон!»

По площади уже катили уборочные машины, сметая ненужные маски с радостными улыбками, гигантские гвоздики из гофрированной бумаги и шкурки воздушных шариков. Возле магазина на углу вытянулась вдоль стены змея очереди. Васильев подошёл поближе. Спросил, что дают.

— Говорят, что сметану выбросили, — угрюмо ответила женщина с красным бантом на куртке. — Но на всех не хватит.

— Значит, не повезло, — улыбнулся Васильев и тут же спросил, — а это что? На площадь въехал трейлер с огромной ёлкой.

— Вы, гражданин, больной, что ли? — окрысилась дама. — Завтра Новый год. Вот ёлку и ставят.

— Ага, — согласился Васильев. И сам не понял, с чем согласился. С тем, что больной, или с тем, что завтра Новый год.

Васильев смотрел на насупленные лица, на эту ёлку, которую уже начали краном снимать с трейлера, на суетливую женщину в брюках, наводящую порядок в очереди, и думал:

— Это чем же я недоволен? Тем, что измученные бытом люди не думают о свободе слова и прочей дребедени? Интересно, о чём бы я думал, выстояв вот такую очередину?

И тут Васильев вдруг понял, что если он не уедет сегодня, то он не уедет уже никогда.

— А Вам что нужно, мужчина? — спросила подоспевшая общественница.

Васильев обернулся и узнал в этой шустрой свою одноклассницу Таньку.

— А ничего мне не нужно, Таня, — сказал он негромко, — так... Подошёл узнать, что дают.

— Господи! Олег! Сто лет тебя не видела! — как будто обрадовалась Танька. — А я-то думала, что халявщик к очереди притирается. Сметану обещали. Тебя записать? Только смотри — на всех не хватит.

— Нет, Таня, — Васильеву всё больше и больше грустилось, — нет. Я просто так.

И Васильев медленно пошёл домой.

В кухне сидел Константин и перебирал карточную колоду. Из-под шапки у него выбивался белым чубчиком бинт.

— Вот я не пойму никак, Петрович, — спросил он обиженно, — почему твоя подлая кошка всё время выигрывает? Жульническая кошка — это ясно. А где жулит — не пойму.

— А со лбом что? — спросил Васильев.

— Мы договаривались как? На щелбаны договаривались, — начал жаловаться Константин. — Эта подлая кошка говорила, что хвостом бить будет. А когда до дела дошло, то привязала к хвосту ложку. И откуда ты такую заразу в дом привёл?

— Ладно, брат, не обижайся, — утешил Васильев домового, — вот тебе на пирожные для поправки здоровья.

И Васильев выдал нечистику трояк.

— А вот за это тебе спасибо! — засобирился Константин. — Это да... Конечно!.. От этого всё заживёт!

И домовой хлопнул дверью.

Васильев посидел немного, переделался, проверил, на месте ли ключи от гаража, и тоже вышел.

До гаража Васильеву надо было ехать автобусом. Салон был битком набит подвыпившим ради праздничка народом. Воняло перегаром и потом. Васильев что было сил держался за поручень правой рукой и всё силился высвободить левую, зажатую между двумя неопрятными мужиками. Васильев старался до тех пор, пока один из мужиков не обернулся:

— Ну что ты дрочишься, интеллигент? — спросил обернувшийся, — может, тебе по очкам длызнуть?

— Я... понимаете... — почему-то засмутился Васильев. — Очки я, между прочим, не ношу.

— Счас будешь, — пообещал мужик. — И протезы носить будешь, потому что я тебе ноги из жопы вырву.

После таких обещаний мужик стал орать на весь автобус:

— Поразвели паразитов! Если ты сильно образованный, так ехай в такси, а не с народом толкайся!

В самом деле, почему ж это я такси не взял, дурак? — отругал себя Васильев мысленно. Но тут автобус остановился у рабочего посёлка и толпа выдавила Васильева наружу. Васильев постоял немного, подумал и решил пройти пешком оставшиеся две остановки.

— Нет! — думал Васильев, идя по обочине, заросшей пыльной лебедой и полынью, — драть отсюда и как можно быстрее! А ностальгию как-нибудь переживу. Вот прямо сейчас — в машину и... горячий привет вашей бабушке.

Васильев как раз проходил мимо административного корпуса завода железобетонных конструкций. На здании, закрывая окна, висел плакат. На нём вождь мирового пролетариата, зажав кепку правой рукой, левой указывал Васильеву дорогу. Надпись на плакате гласила: «Неверной дорогой идёшь, товарищ!» Васильев остановился на перекур и задумался — почему Владимир Ильич кепку держит в правой руке, а направление показывает левой. И только он решил, что, наверное, Ленин был левша, как изображение на плакате зашевелилось и Владимир Ильич, переложив кепку в левую руку, правую сжал в кулак и кулаком этим погрозил Васильеву.

— А вот это уже полный писец! — сказал Васильев вслух и припустил к гаражу.

В гаражном кооперативе было пустынно и тихо. Только в девяносто шестом боксе была немного приоткрыта дверь и слышались негромкие голоса. Васильев, проходя мимо, вдруг вспомнил эти неторопливые мужские разговоры за бутылочкой, вкус хлеба с салом, запах лука и машинного масла. И ему захотелось остаться, зайти к мужикам и выпить тёплой водки. Но Васильев вовремя спохватился и не дал восторжествовать над собой низменным инстинктам.

В гараже было всё по-прежнему. Васильев проверил свою «Ласточку-запорожец» лимонного цвета. Всё было в порядке. Тогда Васильев, выгнав машину, аккуратно закрыл гараж и так газанул, что не ожидающая подвоха машина даже присела на задние колёса, как конь, берущий с места в карьер.

Васильев, поплутав немного по улочкам предместья, решил выехать из Города в северном направлении. Там дорога шла лесом до границы района.

— Главное за городскую черту выскочить, а там будет полегче, — уговаривал себя Васильев, хотя что будет полегче и отчего, сам не представлял. Не представлял, но облегчённо вздохнул, когда въехал в запах сосен, грибов и прелых листьев. Уже показалась впереди странная скульптура, обозначающая городскую границу — огромный буревестник из нержавеющей стали.

— Ну вот и всё! — радостно подумал Васильев, минув стальной символ революции.

— А вот скажи-ка ты мне, гражданин Васильев, с какой это такой целью ты пытался изменить Родине и покинуть Город? — спросил капитан Фесенко и причесал чёлочку.

ГЛАВА 6

Васильев огляделся. Он сидел в кабинете капитана Фесенко. А сам Фесенко с неизменной расчёсочкой сидел напротив и перелистывал бумажки в картонном скоросшивателе.

— Вот посмотри сам, — снова обратился капитан к Васильеву. — Вот донесения по банкету после премьеры. Все, как один, написали, что гражданин Косяков читал своё клеветническое стихотворение. Все, заметь. Кроме тебя и Добежалова. Вот и Косяков пишет про тебя, что стих Васильев выслушал с нескрываемым интересом. С нескрываемым, заметь. Это как понимать?

Васильев промолчал.

— А я сам тебе скажу, гражданин Васильев, как это понимать, — сказал Фесенко и задумался, рассматривая расчёсочку. Но, видно, ничего нового он на расчёске не увидел. Поэтому расчёска заняла своё привычное место в нагрудном кармане пиджака, а Фесенко продолжил, — а понимать это надо так: не наш ты человек,

Васильев. Не наш. Только прикрываешь ты, Васильев, свой вражеский оскал личиной. Но мы тебе эти твои маски посрываем. Мало того, что тебя под суд надо было отдать за недоносительство, так ещё и изменщик Родины оказался.

— Что вы имеете в виду? — спросил Васильев. Не то чтобы ему было страшно. Нет. Но неприятно было очень.

— А что имею, то и введу, — заржал Фесенко. А отсмеявшись, вынул из ящика стола книжку, послунывил палец, раскрыл книжку на нужной странице и прочитал:

— Статья 58-1а. Измена Родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.173)]

— Ишь ты! Тридцать четвёртого года указом пугает, — засмеялся Васильев, — ваш же классик предупреждал, что история повторяется как фарс, а вы повторить пытаетесь.

Фесенко тоже посмеялся за компанию, а потом посерьёзней:

— Фарс, говоришь? Хорошо. Будет тебе фарс — и поднял трубку телефона, — лейтенанта Савина ко мне.

Не прошло и минуты, как в кабинет влетел весёлый лейтенант и доложил, что согласно приказу он прибыл.

— Ну раз прибыл — займись, — дал указание Фесенко. — Задержанный форсит — фарсу хочет.

— А может, трагедию сыграем? — с надеждой спросил Савин, — а то такие актёры пропадают.

— Сказано фарс — значит фарс, — сказал капитан и поднялся, — трагедию как-нибудь потом...

— Есть на потом! — рявкнул лейтенант, — тогда начинаем!..

И он раздвинул стену, словно занавес. И открылось мрачноватое помещение со стенами, выкрашенными зелёной масляной краской. На дальней стене кнопками был приколот плакат с гербом Советского Союза. А возле стены стоял стол, покрытый газетами. И за столом этим сидели трое.

— Введите подсудимого! — устало сказала женщина, сидевшая в центре.

Васильев взгляделся — это была его мама в кожаной куртке и красной косынке. Мужчин, сидевших по сторонам, Васильев тоже узнал. Дядя Ваня и дядя Вася — соседи по забытой уже коммуналке.

— Встать! Руки назад! — рявкнул Савин, и в руках у него оказалась винтовка.

Васильев встал и завёл руки за спину. И это оказалось не так уж и неудобно.

— Вперёд! — прогремела следующая команда. — Шаг вправо, влево считаю попыткой к бегству.

Васильев и не пытался бежать. Он вошёл в комнату и встал напротив стола.

— Ну что, гражданин Васильев? — сказала мама, — нашкодил — надо и ответ держать.

— Это точно, — сказал дядя Ваня и цыкнул зубом. У него в одном из передних зубов была дырка, которой он умел эффектно цыкать.

Васильев молчал. Он не верил в то, что всё это на самом деле.

— Тоже мне, Станиславский нашёлся! — правильно понял васильевское молчание дядя Вася, — а вот применить к нему статью, тогда посмотрим. А то — фу-ты, ну-ты, лапти гнуты!

— Ну что ж? — сказала мама, — ваше, товарищи, негодование мне понятно. — Потом черкнула на листе бумаги и передала бумагу эту сначала дяде Ване, а потом дяде Васе. А когда они поставили свои подписи, обыденно зачитала приговор:

На основании статьи пятьдесят восемь-прим Уголовного кодекса СССР применить к гражданину Васильеву высшую меру уголовного наказания — расстрел. Приговор привести в исполнение немедленно.

— Как это? — пробормотал Васильев, — я же ничего... Я же только попробовал...

— Вот, у нас тоже одна попробовала — и двойню родила, — засмеялся дядя Ваня. А дядя Вася добавил:

— Ты это... заходи потом. Пивка попьём, покалякаем...

И Васильева увели.

Васильев трясся в кузове «воронка», смотрел на двух очень серьёзных охранников, и ему казалось, что стоит только протереть глаза — и этот дурдом закончится. Но глаза он протереть не мог — руки были в «браслетах», а встряхивание головой не помогало.

Васильева везли долго и, главное, он не мог понять куда. Поэтому очень удивился, когда его вывели из машины. Он был на площади перед Пединститутом, всего лишь в двух кварталах от КГБ. На площади в каре стояла толпа любопытных. На ступеньках, ведущих к институту, был выстроен духовой оркестр. Васильева поставили в центр каре, и лейтенант Савин прокричал в мегафон:

— А вот сейчас, товарищи, перед вами предатель и изменщик. Суд уже вынес свой справедливый приговор, но хотелось бы слышать голос народа.

— К стенке его, подлюгу! — прокричала женщина с синяком под левым глазом.

— Правильно! Стрелять таких надо! А то шляются, — поддержали её ещё несколько женских голосов.

— Как бешеную собаку! — истерически выкрикнул старичок в кепке и потряс в воздухе сжатым кулачком.

— К стенке! — рявкнула площадь, и над толпой взмыли кулаки.

— Правильно, товарищи! — согласился в мегафон Савин. И приказал: стенку вести.

Духовой оркестр заиграл марш «Эй, вратарь, готовься к бою...», и на площадь выбежали футболисты. Они выстроили позади Васильева «стенку», прижавшись друг к другу плечами и закрыв руками причинные места.

— Молодцы! — похвалил футболистов Савин и выкрикнул:

— А теперь бойцы!

Оркестр тут же перешёл на «Марш Будённого», и на площадь вприсядку, но чётким строем вышла, держа автоматы наперевес, группа солдат. Васильев посмотрел повнимательней и узнал коллектив народного танца Дома культуры.

— Эти настреляют, пожалуй, — усмехнулся Васильев и хотел ещё что-нибудь язвительное придумать, да не успел. По площади проскакал на деревянной лошадке бравый генерал. Усы у генерала были настолько могучи, что на правом сидела галка и нисколько не мешала бравому вояке. Пока он вольтижировал перед народом, танцоры выстроились перед Васильевым и передёрнули затворы. Стало непривычно тихо. Потом в этой тишине рассыпалась барабанная дробь. Генерал вынул саблю из ножен и скомандовал:

По изменщику — огонь! — и блеснул на взмахе саблей.

Васильев закрыл глаза на всякий случай. И правильно сделал. Потому что застрекотали автоматные очереди, и Васильев ощутил, что по его телу стучит нечто непонятное, словно град по крыше. Васильев открыл глаза. Он стоял по грудь в бутылочных пробках.

Автоматы смолкли, и автоматчики во главе с генералом поклонились публике, сорвав аплодисменты.

Ишь, буржуй! — сказали в толпе, — пробки всё от шампанского да от сухого.

— Неправда! — обиделся за Васильева лейтенант. — Тут сколько хочешь водочных есть. Так что любителей понюхать пробку на халяву — прошу! — и Савин картинно повёл рукой в сторону Васильева.

Народ рванулся. И через несколько минут Васильев стоял уже на пустой площади. Савин, подойдя, расстегнул Васильеву наручники и предупредил:

— Смотри мне. Следующий раз трагедию сыграем или, того хуже, прямоком в дурдом.

— Из дурдома — да в дурдом, — пошутил Васильев, массируя кисти рук. Но рядом с ним уже никого не было, так что шутил Васильев зря.

Только бегал возле газона старичок, бил себя в грудь кулаком и взвизгивал:

— Как бешеных собак! Как бешеных собак!

Васильев узнал его. Это был Виктор Васильевич Солнцев.

Виктору Васильевичу в наследство от отца досталась замечательная фамилия Солнцев и больше ничего. Отца Виктор Васильевич не помнил — тот умер в тот же год, когда родился сын. Витёк вырос светловолосым мальчонкой с ярко-голубыми глазами навывкат. В нём кипела бешеная энергия. Даже во сне он не мог расслабиться и дёргал то ногами, то руками, как пёс, которому снится охота.

Школу он ненавидел, но терпел — ему сказали, что учиться нужно, чтобы выйти в люди, и он верил этому, как и всему тому, что говорили старшие. Он устойчиво успевал на три, потому, что за двойки и непослушание его нещадно били. Витькина мама постоянно зудела о том, что самое главное в жизни — быть послушным, тогда тебе все дороги открыты.

К восьмому классу Витя сообразил, что дороги ему открыты далеко не все, и ушёл в профтехучилище, а затем на завод.

Вот там-то, на родном заводе, и убедился Виктор, что для покладистых людей есть очень много возможностей, чтобы стать человеком.

Отработав год, Виктор вступил в Партию. Послушный и на редкость дисциплинированный Витя потрясал парторгов своим вниманием к их немудрёным речам. На собраниях он сидел всегда в первом ряду и ел глазами выступающих. Иногда и ему поручали выступить. С какой искренностью читал Витёк свои несколько слов, всегда начинавшиеся одной и той же фразой: «Мы, молодые рабочие!..»

Бойкий юноша Витя потихоньку стал привлекать внимание начальства.

В трудные дни окончания кварталов, когда злобный мат висел в цехах, как туман, Витя морально поддерживал коллектив. Сам он не знал ни уныния, ни угрызений совести просто в силу своего неуёмного темперамента. Зато он знал несколько стандартных шуток и острых словечек, например: «Отвали, моя черешня!», «Пусть лошадь думает — у неё голова больше», «Не бери в голову, бери между ног!», «Как волка ни корми, а у слона — больше» — и этими словечками умело поддерживал дух коллектива.

Лет через пять Виктор Васильевич уже был избран членом цехкома, затем завкома. Свои выступления он уже начинал фразой: «Мы, кадровые рабочие...»

В быту тоже было всё в порядке. Женился он рано. Жену нашёл подстать себе. Когда они шли по улице, испуганно поглядывая по сторонам, казалось, что идут две мышки: одна белая, вторая серая. Через некоторое время у них появился мальчик, тоже белобрысенький и бойкий. Злые языки, правда, трепали, что здесь не обошлось без помощи очередного Витькиного отчима, но на то это и злые языки, чтобы трепаться.

Виктор Васильевич уже давно не вкальвал, как другие работяги. Он подслушивал разговоры в бытовках, за что и получил кличку «мышинное говно». Он сидел на многочисленных заседаниях, планёрках и совещаниях. Он заметно обрюзг, надевал под спецовку белую рубашку с галстуком и любил, когда его называли по имени-отчеству. Он незаметно и непонятно для него самого стал передовиком производства и к юбилею Революции был награждён орденом Дружбы народов.

Виктор Васильевич понимал, что попал в струю и что самое главное теперь не потерять то, что набрано. Он старался вовсю: наушничал, интриговал, подпавал при случае начальство, по-собачьи преданно заглядывая в глаза. И он добился своего. На очередных выборах его избрали депутатом горсовета.

Ещё через пол-года стал Виктор Васильевич и членом горкома. Он наконец-то выстроил себе дачку — нелепое сооружение из вагонки. Он встал в очередь на машину. И чтобы заслужить всё это, пришлось Виктору Васильевичу покрутиться. Тут уж надо было держать ухо востро, надо было точно знать, где лизнуть, а где гавкнуть.

По выходным, когда садились обедать, Виктор Васильевич нудил — воспитывал семью:

— Культуры надо набираться, культуры. А то живёте, как дикари, ничего хорошего вашу душу не задевает. Вот мы, рабочий класс, как раз и являемся носителями высокой идейности и пролетарской культуры.

Сынишка, который уже в восьмой класс пошёл, молча жевал, уставившись в тарелку. Жена угодливо поддакивала:

— Ты бы учил нас почаше, Виктор Васильевич, а то, и правда, живём — ничего культурного не знаем. Сам Виктор Васильевич ел очень элегантно — с двух рук. В правой держал ложку, которой поддевал свои любимые котлеты с картофельным пюре, а в левой — вилку, на которую цеплял кусок хлеба. При этом он низко наклонялся над тарелкой и азартно сопел.

К сорока годам стал Виктор Васильевич стареть. Сам в недавнем прошлом отчаянный хохотун, умевший смеяться анекдоту, который рассказал начальник, до икоты, он теперь раздражался и вспыхивал, когда слышал, как хохочут мальчишки на улице. Раздражало и то, что народ забыл про его, Виктора Васильевича, заслуги перед рабочим классом. На очередных выборах его «прокатили на вороних» и поставили снова к станку.

Да и с памятью стало что-то твориться. Пару раз попытался Виктор Васильевич припомнить свою жизнь — ничего не получалось, сплошная чернота. Он помнил, что женился однажды, но не мог вспомнить, как же это случилось, он не помнил, как вырос сын. Он ничего не помнил, кроме того, каким он был героем, как стойко защищал интересы класса, как срезал однажды инструктора райкома и как все при этом смеялись, и как интеллигент-инструктор выглядел полным дураком.

Виктор Васильевич в Бога не верил. Ему сказали однажды, что Бога нет, и он принял это как данность. Поэтому когда сын, закончив школу, неожиданно поступил учиться в духовную семинарию, пойдя поперёк отца, Виктор Васильевич просто забыл, что у него был сын. А когда тот, получив сан, ушёл в монастырь, Виктор Васильевич и вовсе вычеркнул его из своей жизни. Так же легко и просто он забыл, что вышел на пенсию, что однажды умерла жена. Умерла так же как и жила, тихой мышкой: легла и не встала. Только в доме для престарелых, куда его определил завком, он вновь почувствовал себя на коне.

Он составил комиссию, которая проверяла качество питания, он боролся за мораль и был против поздних браков, он читал бесконечные лекции соседям по корпусу, с которыми иногда пил одеколон, и соседи удивлялись, какой цельной и кристальной души наш Виктор Васильевич. Но удивлялись шепотком, потому что, не дай бог, Виктор Васильевич услышит. Он сразу начинал яриться и, брызгая слюной, кричать, что души на самом деле нету и что это буржуазные штучки и происки классовых врагов.

Ну что ж. Если нет, так и взять неоткуда...

Васильев постоял немного. Поразмыслил. А потом увидел свой «Запор» на обочине.

— Вот это спасибо! — обрадовался Васильев. — Это в самом деле забота о человеке.

И Васильев поехал домой. Задумавшись, он несколько раз проезжал нужный поворот и петлял бы до утра, наверное. Но выехал вдруг на центральную площадь и очнулся. Вокруг елки в центре площади водили хоровод грустные дети, и неутомимый Дед Мороз давал им указания, грозно взмахивая посохом.

— И тут из-под палки! — подумал Васильев. Потом прислушался к Деду Морозу, узнал голос Щепотько, помассировал виски и уже минут через пятнадцать был в своём дворе.

— Всё понятно, — говорил себе Васильев, поднимаясь по лестнице. — Это я умер и попал в ад. Всё ясно. Наверное, террористы взорвали самолёт, в котором я летел. И всё произошло так быстро, что никто и не заметил ничего. И сразу все попали кто куда. Я, например, в ад. В этом никаких сомнений. Кичился всю жизнь, что всегда могу найти выход из любой ситуации — и на тебе! Попал. И никогда мне отсюда не выбраться. Никогда.

— Вот с таким настроением вошёл Васильев в дом. Никого не было. Ни кошки, ни домового. Васильев стал под душ, забыв, что горячей воды не было, нет и не будет. Поэтому, когда на него хлынули струи ледяной воды, заорал сколько было мочи:

— Константин, мать твою! Когда этот бардак закончится?

— Чего шумишь, Петрович? — высунул Константин лохматую морду из стены.

— Ты чего так орёшь? Мышей перепугал.

— Ты, правозащитник мышиный, не увливай! — Васильев был зол как никогда.

— Ты скажи лучше — горячая вода будет или нет?

— Тут, понимаешь ли, такое дело — Константин вылез из стены и уселся на стиральную машину. — С горячей водой... это... другой отдел работает. Рогатые, короче. Все кочегарки под ними.

— И что? — спросил Васильев. — Ничего нельзя придумать?

— Почему нельзя? Можно. — Константин сунул лапу под шапку и почесал свою лохматую башку. — Взятку дать надо. Они водку очень любят. Мы им бутылку, а они нам воду на пару дней.

— Почему на пару? — Васильев закончил свою ледяную пытку и растирал тело полотенцем.

— А кто же им вторую бутылочку принесёт, если они навсегда подключат? — Константин загордился своими познаниями. — Ну что? Сбегать или как?

— Беги, — скомандовал Васильев. — И мне парочку прихвати. Деньги в пиджаке. Домовой рванул было, но тут же остановился:

— Ты что? Пить эту водку будешь, что ли?

— Жевать буду, — порадовал домового Васильев.

— Ох! — загоревал Константин. — А я уже всем друзьям раструбил, что мой непьющий, что прошлый раз — это несчастный случай на производстве был.

Он охнул ещё раз и исчез.

Васильев нарезал колбасы из праздничного набора, достал пару яиц из холодильника и соорудил яичницу. Поставил чайник. Только он расправился с едой, как пришёл Константин. Выставил на стол две поллитры и высыпал сдачу сплошь двушками.

— Ты что, брат, — спросил Васильев, — на паперти стоял?

— Где надо, там и стоял, — парировал Константин. — А чё? А вот из автомата позвонить или ещё чего. Чёрные сказали, что на неделю подключают, а потом снова надо.

— А что ты их по-настоящему боишься назвать? — улыбнулся Васильев, — договорённость какая или просто так?

— Нельзя, — серьёзно ответил Константин. — Их назови — они сразу и появятся. А с этими парнями лучше не шутить.

Васильев решил запомнить хохму про внезапное появление, окончательно убедился, что если он не в самом аду, то обязательно где-то рядом, и пошёл бриться.

Ах, какое это удовольствие — бриться с горячей водой! Васильев наслаждался процессом и думал, что его положение не так уж и плохо. И что напрасно он так рвался отсюда. И здесь можно неплохо устроиться, если с умом к делу подойти.

Довольный Васильев приоделся, посоветовал Константину потратить двушки на что-нибудь нужное, например, на пирожные, и пошёл на вечеринку к Нике.

Во дворе его ждал сюрприз. Верный «запорожец» был без колёс и мирно стоял на четырёх кирпичах. Васильев было расстроился, а потом подумал, что если он покойник, то и ездить ему некуда, и успокоился. Вот таким умиротворённым подошёл Васильев к дому Ники Воскресенской, равнодушно пробежал глазами по мраморной доске с надписью «В этом доме в 1879 — 1882 гг. у чертёжника-подрядчика В. Сергеева жил и работал «мальчиком» А. М. Пешков (М. Горький)», поднялся на второй этаж и позвонил в дверь, обитую коричневым дермантином.

ГЛАВА 7

— Заходи, Олежка, заходи, — пропела Ника, открыв дверь. — Только тебя и ждали.

— Точно! — проорал из глубины коридора Кучерявый, — уже хотели в милицию звонить да за тобой послать. А ты сам явился.

Он считал себя большим шутником и никогда не упускал случая блеснуть шуткой.

— Что у тебя на доме доска какая-то странная висит? — спросил Васильев, передавая бутылки, — тут в самом деле Горький жил?

— А что? — спросила Ника, несколько кокетничая. Как будто это не на дом приколотили доску, а ей на грудь. — Не похоже? У нас тут и Пушкин проживал, и Гоголь неподалёку тоже. Такой Город.

— Да, — подтвердил Кучерявый. — Я вот тоже... Пару недель назад подхожу к своему дому, смотрю — доска с надписью, что в этом доме Некрасов сочинил «Кому на Руси жить хорошо». А я, дурак, думал, что дом этот недавно построен. А оказалось — музейная ценность, так сказать. Теперь все жильцы переполняются законной гордостью.

Васильев снял обувь и прошёл в комнату. Там было всё как всегда. Незамысловатая закуска, молчаливый Добежалов, ковыряющий в тарелке остывшую котлету, Таня Крайняя, дремлющая в уголке, раскрасневшаяся Таранькина, Кондратьев, шепчущий нечто Маше Коврижной, и Витя Хрупак, орущий под гитару, что сегодня он непременно распорядится своей субботой. Только Никин муж Юра Копало сидел не за столом, а в сторонке, уставившись на картонный ящик. В передней стенке ящика было вырезано отверстие, напоминающее телеэкран, а сбоку прикреплены несколько тумблеров.

— Юра! А ты что компании чураться? — спросил Васильев, усаживаясь за стол.

— Не мешай, блин горелый! — проворчал Копало, — не видишь — телик смотрю?

— И что передают? — спросил Васильев.

— Сам глянь! Видишь — Штирлиц начинается.

Копало щёлкнул тумблером и в комнату полилась песня о том, что не следует думать о минутах. Довольный Юра пояснил:

— У Сёмки Черепа купил вчера. Все программы берёт. Вот Штирлиц закончится — «С лёгким паром» начнётся.

— А почему, Юра? — спросила Ника. — «С лёгким паром» всегда на Новый год показывают.

— Потому что Новый год и есть! — торжественно провозгласил Копало и замер, наслаждаясь приключениями хмурого разведчика.

— А пока ваш Новый год добирается, у нас Первомай шагает по планете! — провозгласил Кучерявый и затянул: «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах, звеня...»

— Вань! А кто это такая — кудрявая, которой вставать надо? — перебил Васильев хорошую песню дурацким вопросом.

— Как кто? — удивился Кучерявый, — там же русским языком говорится: «Страна встаёт со славой». Вот кто.

— А я думал — девушка... — разочаровался Васильев.

— Какая девушка, Олег? — не поймал шутку бытовой юморист Кучерявый. — Там же поётся «кудрявая». А откуда у девушки кудри типа «завивка»? Хорошая девушка должна косы носить и быть примером, так сказать... в быту и трудовых успехах.

— А ты почему Кучерявый, а не лысый? — неожиданно спросил Добежалов.

— Я потому что такой... — замешкался Иван, — родился потому что. Вот.

— Ну и она, девушка эта, взяла да и родилась кудрявой, — сказал Добежалов и снова уткнулся в котлету.

— А вот, за день рождения! — заорал Хрупак и налил.

Все, и Васильев в том числе, с удовольствием выпили и дружно спели песенку про то, как бегут пешеходы по лужам.

Васильев пел, вспоминая давно позабытые слова, и чувствовал, что ему хорошо и легко. И не хотелось уже возвращаться в сумасшедший Нью-Йорк, а хотелось, чтобы это ощущение единения и взаимопонимания длилось бы и длилось.

— Если я в аду... — рассуждал Васильев, распевая одновременно про тонкую рябину, которой хотелось прижаться, да никого подходящего, кроме кола в изгороди, не было рядом, — если я в аду, то и все тоже в аду. Как же иначе? Ну с Добежаловым тут всё ясно — он давно умер. А остальные? Живыми же на тот свет не берут. Значит, пока меня не было, что-то произошло. Эпидемия, наверное. Если бы война или что-то такое — я бы знал непременно. Надо будет спросить осторожненько.

И пока Васильев оглядывал компашку, выбирая себе жертву, Кондратьев предложил выпить за искусство.

— Гениально! — пропела Коврижная и подцепила вилкой килечку.

— За бессмертное искусство! — добавил Кучерявый. Выпил и затянул про песню, которая строить и жить помогает.

— Гениально! — поддержала его Коврижная.

— Ага! — обрадовался Васильев, сообразив, что у неё спросить — это самый простой вариант. Тем более, что сидела она рядом. И он осторожненько взял Марию за руку. Пульса не было!

Однако Коврижная по-своему поняла Васильевский жест. Она наклонилась и прошептала:

— Гениально! Но сегодня ничего не выйдет, Олежка. Критические дни. Да и мой крокодил сегодня дома.

— Я, собственно... — начал оправдываться Васильев, — я ничего такого... вообще...

— Хороших порывов нечего стесняться, — утешила Васильева Коврижная. — Они так редко бывают, порывы эти.

Потом она выпила рюмку и закусила килечкой.

Васильев поднялся и под песню про комсомольцев-добровольцев пошёл в туалет, а потом в кухню на перекур. Там уже стоял у открытого окна Кондратьев, курил и задумчиво смотрел на ночной город.

— Скажи, Олежка, — спросил Кондратьев, не оборачиваясь, — вот окна горят, люди там небось... Ты мне скажи — они живут или им только кажется, что они живут?

Васильев, подойдя поближе, взял Кондратьева за руку. И, к своему удивлению, почуял тугой, нетерпеливый пульс.

Кондратьев улыбнулся:

— А я тебя, Олег, и щупать не буду. Я и так знаю...

Васильев тоже улыбнулся и закурил:

— Саша! Ты понимаешь, что тут происходит?

— Ни хрена не понимаю, — утешил Кондратьев. — Я на съёмках в Смоленске был. Приезжаю, а тут... вся эта хренотень. Чуть крыша не съехала.

— И что? Все покойники, кроме алкашей? — грустно спросил Васильев.

— Нет, — равнодушно сказал Кондратьев. — Не все. Только элита наша, так сказать. Номенклатура, интеллигенция всякая и к ним примкнувшие. Я на заводах бываю с концертами. Работяги живут как жили. И ни хрена им не стало.

— Как это не стало? — заволновался Васильев. — Вот Владлен говорил, что детей как-то... не рожают, что ли...

— Ты Владлена больше слушай! — засмеялся Кондратьев, — он тебе ещё не такого споёт. Они же все видят только то, что хотят видеть.

Друзья, быть может, ещё поговорили бы, но в кухню бочком вошёл Илюша Жердев и вынул из-за пазухи бутылку водки.

— А теперь, парни, за Новый год, потому что он, сволочь, снова к нам подбирается. — И Жердев начал наливать. Он был настолько обаятелен и убедителен, что не выпить с ним было просто невозможно.

Но Васильев удержался от соблазна, скользнул в коридорчик и ушёл не прощаясь.

Ночь была душновата. Васильев брёл к дому и слушал, как из открытых окон плыла музыка рязановского шедевра. И снова возникло у Васильева желание бежать из этого города как можно скорее и дальше.

Во дворе васильевский «запорожец» всё так же сиротливо стоял на четырёх кирпичках. Только очень странно стоял, покачиваясь, как пьяный мужик. Васильев подошёл поближе. Это какая-то изобретательная парочка умудрилась открыть машину и забраться внутрь. И теперь голые девичьи ноги, упираясь в ветровое стекло, напоминали военные прожектора.

— А что? — улыбнулся про себя Васильев, — дело молодое...

И тут же появился милиционер.

— Что это вы тут делаете, товарищ? — сурово спросил страж закона у Васильева. И не дождавшись ответа, спросил ещё суровей:

— Чьё это транспортное средство?

— Моё это средство, — приветливо разъяснил Васильев. — И ничего я тут не делаю. Я домой из гостей иду.

— Придётся, гражданин, пройти со мной, — сказал милиционер и положил руку на кобуру, — сигнал был. Вам будет предъявлено обвинение в использовании транспортного средства не по прямому назначению и организации притона.

— Чёрт тебя поberi! — в сердцах ругнулся Васильев и тут же пожалел, что ругнулся, потому что из подворотни выбежал здоровенный чертяка с вилами в лапах, заговорщически подмигнул Васильеву и, насадив взвизгнувшего милиционера на вилы, убежал назад в подворотню.

Васильев остолбенел. И долго бы стоял неподвижно, но «запорожец», заскрипев зубами, съехал с двух кирпичей и грозил совсем перевернуться. Тогда Васильев очнулся и пошёл домой, ему не хотелось смотреть на муки старого друга.

Поднимаясь по лестнице, Васильев думал о том, что предыдущие его догадки справедливы и он попал в ад.

— Иначе откуда чёрт с вилами взялся? Черти — они в аду живут, а на земле только алкоголикам показываются.

И тут же Васильев почувствовал себя настолько пьяным, что ему пришлось сесть на ступеньку и подождать немного, пока пройдёт головокружение. Васильев сидел и вспоминал, сколько он выпил на Никиных посиделках. Только ничего ему не вспоминалось, кроме первой и последней рюмки. Васильев укоризненно погрозил пальцем неизвестно кому, выговорив:

— Впредь осторожней надо быть. А то... — и пошёл потихоньку, придерживаясь правой рукой за стену.

Дома было пусто. Ни домового, ни Милки. Васильев побродил по комнатам, а потом уселся на кухне. А как только сел, почувствовал запах жареного сала. Васильев насторожился и, посидев немного, сказал:

— А ну показывайтесь! Где вы там?

И они показались.

За столом рядом с Васильевым сидели Константин и два здоровенных чертяки в ватниках. У одного рога были бараньи, а у второго прямые, с красной ленточкой, завязанной бантиком на левом роге. На столе стояла початая бутылка водки. Милка на задних лапах хлопотала у плиты. Росту она была чуть ниже среднего человечьего. Черти Васильева не удивили. Константин тем более. Но вот внезапно выросшая кошка... Да ещё готовит что-то.

— А что такого? — обернулась Милка, — яичницу жарю с салом. Мужчинам закусить нужно.

— Эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски чарку выпить перед ней, — процитировал Твардовского чёрт с красной ленточкой и начал наливать.

— А вот настоячки нашей! — пододвинул к Васильеву рюмку чёрт с бараньими рогами. — Просветляет.

— На чём настоячка? — спросил Васильев, разглядывая напиток на свет. Он уже смирился с тем, что он в аду, и ему было на всё наплевать.

— На чертополохе, конечно, — объяснил тот, что с бантиком. — На чём же ещё, — и добавил озабоченно, — так за что выпьем?

— Я, конечно, выпью этой вашей чертополоховки, — сказал Васильев и очень строго посмотрел на всех. — Почему бы и не выпить в хорошей компании. Только вы мне, ребята, сначала объясните всё это... — Васильев эффектно, как ему показалось, повёл рукой вокруг.

— Что — это, братан? — спросил тот, который без бантика, выпил рюмку и подцепил вилкой ломтик сала.

— А вот это самое, — съязвил Васильев. А потом подумал и пояснил: — Кошка с яичницей, чер... мифические существа за моим столом, чертополоховка какая-то, этот бантик на рогах, в конце концов!

— Ну, блин, началось... — покачал головой тот, что с бантиком, а сосед, закусывая, промямлил:

— А тут и объяснять нечего, Олег Петрович. Нечего, потому что ничего и не произошло. И не происходит. И вряд ли произойдёт. Никакие мы не черти. Бывшие научные работники. У Егора Кузьмича, — он кивнул головой на чёрта с ленточкой, — кандидатская степень по славянской мифологии. Я бывший профессор. А сейчас мы теплотехниками работаем, потому что это свойственно русской интеллигенции на историческом переломе и в поисках себя. Потому что настоящий интеллигент должен быть всё время против. А рога и всякие кошки с яичницей.... Олег Петрович... Скажу честно. Мне кажется, что для пожилого человека Вы просто выпили лишнего.

— Хорошо. Предположим. — Не унимался Васильев. — А вот этот? — Васильев показал на смущённого Константина. — А эта дурь с временем? А эти покойники, живущие как ни в чём не бывало? А то, что я уехать домой не могу? А эти ваши «органы», в конце концов?

— Да, — не морнув наглым глазом, сказал чертяка. Впрочем, какой чертяка? За столом перед Васильевым сидел обычный мужик в ватнике. Только в очках. И второй, что был с ленточкой на роге, тоже оказался вполне симпатичным человеком средних лет. И кошка Милка стала обычного роста и тёрлась у ног.

— Так вот, — продолжил бывший чёрт, — все эти ваши, Олег Петрович, покойники, черти, домовые и прочие заморочки — суть искривление пространства. Я бы мог много на эту тему наговорить, да вы не поймёте или поймёте превратно.

А Город? Что Город? Каждый свободный организм имеет право на чудачество, в конце концов. Согласитесь — если уж свобода, так свобода для всех.

— Убедительно, — сказал Васильев и выпил. И как только выпил, так закружилось в глазах, полетело, и почувствовал Васильев, что погружается в липкое и бездонное. И слабым эхом отдавались голоса:

— Сомлел, бедолага... Понесли на диван... А ты докладывал, что непьющий... Рядовая Милашкина, не крутись под ногами... Тяжёлый, гад... Сержант Константинов, за ноги бери... Какой врач?... Если к утру не сдохнет — жить будет...

Тогда Васильев напрягся изо всех сил, разлепил глаза, и наступило утро.

ГЛАВА 8

А утро выдалось приятным, потому что горячая вода была. Васильев встал под душ и решил, что недаром он рисковал здоровьем, принимая внутрь эту подозрительную чертополоховку. А потом вспомнились смутные голоса, величавшие Константина сержантом, но Васильев эти ненужные воспоминания отогнал, сказав весело и громко:

— Ну и хрен с ним!

Потом выпил кофе и покурил. Хотел было позавтракать, но, заглянув в холодильник, понял, что завтракать-то нечем.

— Константин, блин горелый! Совсем за хозяйством не следишь! — проворчал Васильев и поднял телефонную трубку. Звонила неутомимая Елена Михайловна. Поставленным меццо-сопрано она торжественно напомнила, что сегодня в четыре — сбор актёров, занятых в Пушкинском вечере. Васильев посмотрел было на часы, а потом спохватился — времени-то нет. Впрочем, это даже и хорошо: никогда не опоздаешь.

Васильев решил перекусить в кулинарии, что была расположена на первом этаже.

Чем-нибудь накормят, — подумал Васильев, надевая куртку, — не может быть, чтобы у них совсем ничего не было. А потом еды раздобуду.

И Васильев сунул в карман плетёную авоську.

В кулинарии, на которую так рассчитывал голодный Васильев, было тоскливо. К лиловой стене был приколот кнопками плакат, призывающий пить соки и утверждающий, что это кладовая витаминов. В застеклённой витрине на подносе из нержавеющей стали лежали два бутерброда с сыром. У стеллажа на табурете продавщица в кружевной наkolке на голове увлечённо читала журнал «Огонёк».

Васильев потоптался у прилавка. Он понимал, что мешает даме расти духовно, и ему было совестно. Но всё же, дождавись, когда продавщица начала переворачивать страницу, он вякнул негромко:

— Простите, девушка...

— Я вам не девушка, — парировала продавщица, не отрываясь от журнала.

— Васильев устыдился:

— Хм... Товарищ...

— И не товарищ, — тут же ответила образованная продавщица. Потом подняла глаза, долго рассматривала из-за журнального барьера Васильева и, наконец, смилилась:

— Я работник общепита. Чё надо?

— Да я... Как то... Вот... — начал было мяться Васильев, но работник общепита тут же эти интеллигентские мямли обрубил:

— Короче.

— Да я поесть хотел, а у вас... — и Васильев обречённо показал рукой на сиротские бутерброды.

— Что ж жена не кормит? — заинтересовалась продавщица и даже отложила «Огонёк» в сторону.

— Я неженатый, — сказал Васильев и не соврал ни на грамм, потому что жена осталась в далёком и недосыгаемом уже Нью-Йорке.

— Это ж надо! — продавщица подошла, наконец-то, к прилавку. — В первый раз за тридцать лет неженатого мужчину вижу. Что? Больной — или после отсидки, или ваще тю-тю? — она выразительно покрутила указательным пальцем возле виска.

Васильев даже обиделся:

— Я вас не понимаю. Почему же это раз неженатый, так непременно тю-тю? Я вполне нормальный во всех местах. Просто времени как-то не было. Всё учёба, знаете... работа...

Вот тут Васильев определённо и нагло врал. Но его можно было и понять, и простить.

— А кем же вы, такой учёный, работаете? — спросила работница общепита и начала возиться со своим, загадочным для Васильева, инвентарём, — вам кофе с молоком?

— Мне чёрный, — тут же ответил Васильев. И добавил, торопясь, — и с сахаром!

И только потом негромко, но гордо, забыв, как клял ещё позавчера свою профессию, добавил:

— Артистом я работаю.

— Скажите, пожалуйста! — деланно удивилась продавщица, — вам яишенку — или блинчики соорудить?

— Блинчики тоже, — с достоинством ответил Васильев, взял свой кофе и понёс к столику.

— И не успел он толком устроиться и полюбоваться на пыльный букетик искусственных ромашек в пластмассовой вазочке, как премудрая работница общепита стояла рядом, а глазунья из двух яиц — на столе.

— Ну раз так, давайте знакомиться, — весело сказала общепитовская дама, вытерла руку о передник и протянула Васильеву:

— Валя.

Васильева несколько смутил такой поворот событий, но всё же он пожал плотную дощечку Валиной руки и представился:

— Олег.

— А по батюшке? — закокетничала Валя. — А то неудобно как-то. Артист всё-таки. Не хухры-мухры.

Васильев тоже закокетничал:

— Отчество у меня простое. Петрович. А профессия самая никчемная. Артиста каждый обидеть может.

— Это вы напрасно, — огорчилась Валя. — Всё-таки несёте, так сказать, искусство в массы. И деньги за это платят, я думаю. И не вагоны грузите, как-никак.

— Это да, — согласился Васильев. — Вагоны не грузю.

Тут Васильев загордился тем, что вагоны не грузит, и достал бумажник:

— Что там с меня будет, Валечка?

Официантка уточкой, переваливаясь с ноги на ногу, прошла за прилавок, пощёлкала кассовым аппаратом и грустно сказала:

— Один рубль тридцать восемь копеечек с вас.

Васильев тоже подошёл к прилавку и, отсчитывая деньги, спросил:

— А не подскажите ли вы мне, где тут продуктов купить можно. А то сегодня заглянул в холодильник — пустота.

— Вопрос, конечно, интересный, — улыбнулась Валентина и посмотрела на Васильева особенным взглядом. Так изучающе-сочувственно психиатр смотрит на пациента.

Насмотревшись вдоволь, она подвела итог:

— Что с Вами сделаешь? Придётся помочь. Но имейте в виду — от себя отрываю. И тут же набрала номер на телефоне:

— Алло! Муся?.. Это Валюха. Слушай внимательно, блин! Тут к тебе человек подойдёт от меня... Отоварь... Да... Да... Нееееет!.. А пошла ты!

После такого загадочного монолога Валентина наклонилась к Васильеву через прилавок и прошептала:

— Зайдёте в райпрофсоюзевский магазин. Это рядом тут. Найдёте, я думаю. Спросите Марию. Скажете, что от меня. Понятно?

— Понятно, — сказал Васильев. И начал испуганно пятиться к двери, — спасибо вам, Валя, за всё.

— А Вы заглядывайте почаще, — пригласила Валентина и загадочно улыбнулась.

Васильев вышел на улицу, прислонился к стене слева от крылечка кулинарии и закурил. Он затягивался горьковатым дымом и с грустным интересом всматривался в окружавший его мир. И мир этот был сегодня до неприличия обнажённым. И в обнажённости этой была жестокая правда, которой Васильев ранее не замечал. Как будто пелена с глаз спала.

— Ну что ж? — думал Васильев. — Будем жить. Раз уж так карта легла. И не надо обманывать себя тем, что удасться отсюда вырваться. Не надо. Вот, научусь крутиться-вертеться. Продукты доставать или что-нибудь ещё. Вот, Валентину эту охмурять начну. Да мало ли ещё что? А все эти заморочки?.. Нужно ещё понять, были они или не были. Мало ли что я мог нафантазировать? В конце концов, каждый из нас видит то, что хочет видеть. Значит, где-то в подсознании у меня сложился именно такой облик Города, а не какой-нибудь другой. Город как город. И нечего... Возьми да прослушай пульс у жителей Токио или... да любого города. Тоже удивлялок будут полные штаны.

Васильев бросил окуроч, сплюнул и двинулся в сторону нужного магазина.

А магазин оказался совсем рядом. Стоило только улицу перейти и, свернув налево, протопать полквартиры. И было в этом магазинчике чисто и прохладно. На стеллажах из нержавеющей стали покоились банки с маринованными помидорами, окостеневшие пачки соли и пакеты с перловой крупой. У кассы грузная дама в белом лениво переругивалась со старухой, которая утверждала, что её нагло обсчитали на девять копеек. Васильев не успел толком рассмотреть ассортимент магазинчика, как кассирша прекратила дискуссию. Она выдала бабке спорные девять копеек, посоветовав ей отложить эти деньги на похороны, и устала Васильева.

— Простите, мадам! — заегозил Васильев. — Могу ли я поговорить с Мусей?

— Муся! — Закричала кассирша в загадочную глубину подсобных помещений.

— Тут тебя интеллигент хочет.

— Пусть пройдёт, — донёсся голос. — Это Валькин новый кадр. Пусть пройдёт, а мы оценим.

— Проходите, мужчина, — сказала кассирша.

Ухмыльнулась и, откинув вверх крышку прилавка, крикнула:

— Вроде ничего себе.

Васильев униженно засуетился и прошёл, вернее, козликом проскакал вглубь магазина. Там, протиснувшись в коридорчике между мешками с сахаром, он очутился в чистенькой комнатке со столом и двумя мрачными сейфами. За столом и сидела Муся, оказавшаяся, вопреки ожиданиям, сухощавой, как спортсмен-марафонец.

— Ну-ну, — сказала Муся и подпёрла ладонью правую щеку. — Покажитесь-покажитесь. Интересно, кого в этот раз Валюха подцепила?

Васильев молчал.

Васильев молчал, а поджарая Муся любовалась. А налюбовавшись, подвела итог предварительного осмотра:

— Ладно. Годится. Надо Вальке помочь, а то всё в девках мается.

Это было определённо одобрение Васильева как перспективного жениха. Васильев открыл было рот, чтобы вякнуть, но вспомнил пустой холодильник и вякать не стал.

— Ну так что же хочет наш артист? — спросила Муся, всё ещё не сводя с Васильева буравящего взгляда.

— Да я... собственно... — начал мяться Васильев. — Мне бы... как бы... еды. Вот.

— Ладно, — Муся раскрыла лежащую на столе амбарную книгу. — Короче. Как записать?

Васильев я. Олег Петрович.

Васильев вдруг ощутил унижительность происходящего и, чтобы вернуть испарившееся неведомо куда собственное достоинство, уселся на стул и закурил.

— Миша, зайди! — закричала Муся и тоже закурила. А закурив, достала бутылку коньяка и две рюмки.

— Я не пью! — замахал руками Васильев. — Вернее, пью, конечно. Но сейчас не могу — у меня репетиция.

— У вас репетиция, а у нас спектакль, — проворчала Муся, наполняя рюмки. А пока она наливала да нарезала невесть откуда возникший лимон, в дверях появился странный человечек. Маленького роста, подозрительно похожий на домового Константина, только без бороды. Но с такими же колючими глазками и в точно такой же зимней шапке.

— Вызывали? — спросил человечек и почесался.

— Это наш Миша, — представила человечка Муся и тут же спросила:

— Васильев Олег Петрович — знаешь такого?

— Как не знать? — ответил Миша и снова почесался. — Улица Ленина, дом семьдесят четыре, квартира девять. К ним раньше Константин был приставлен, но начальство решило, что не нужно. Чтоб голая реальность потому что.

— Это у них пусть будет голая, а у нас в штанах, — засмеялась Муся и подняла рюмку. — Ну, Петрович, за людей, которые умеют эту самую реальность создавать.

Васильев тоже поднял свою рюмашку, выпил и зажевал лимончиком. Коньяк хороший.

А Муся тут же налила по второй и поставила почёсывающемуся Мише задачу:

— Короче, Миша. Обслужишь клиента по высшему.

— Есть! — по-военному рявкнул Миша и исчез.

— Вот так вот, Олег, — снова подняла рюмку Муся. — Будешь человеком — и с тобой будут по-человечески. А говном будешь — так не обижайся. С тебя полтишок. Будет сдача, верну.

Васильев суетливо выпил, отсчитал пятьдесят рублей и вышел на волю.

ГЛАВА 9

Вот оно, оказывается, как просто! — думал Васильев, идя по раздолбанному тротуару. — Нужно всего-навсего человеком быть. И всё. И вся житейская премудрость. Как это мне раньше в голову не приходило? Впрочем, как всё это прийти могло, когда я бытом-то никогда не занимался. Всё жена. А я как человек творческий, так сказать, самоустранился.

Васильев вспомнил о жене, оставленной в Нью-Йорке, и устыдился. И так вот, угрызаясь, дошёл потихоньку до музучилища, в зале которого была назначена репетиция.

Когда Васильев приоткрыл осторожно дверь в зал и в образовавшуюся щель просунул голову, он увидел, что опоздал безнадежно. Приглашённые на первую репетицию уже сидели с отпечатками пристального внимания на лицах, а по помещению раскатывался командирский голос Иосифа Адамовича Морока. Иосиф Адамович до того, как был назначен завотделом агитации и пропаганды Горкома, командовал политотделом авиаполка, и очень этим гордился.

— Значит так, товарищи! — вещал Иосиф Адамович. — Партия доверяет вам организацию и проведение ответственного мероприятия. Юбилей со дня

смерти Великого Поэта — это вам не танцульки какие-нибудь. Тут надо со всей ответственностью и засучив рукава. Чтобы не было потом мучительно, так сказать, больно. Мы, доверив вам, товарищи, это мероприятие, уверены, что вы мобилизуете не только все ваши силы, но и, я не побоюсь сказать, резервы.

Васильев приоткрыл дверь ещё немного и протиснулся, вернее, протёк в зал. И в этом перетекании он напоминал слизняка. А оказавшись в зале, Васильев пригнулся, вжал голову в плечи и на цыпочках поскакал к стульям. Всем своим существом демонстрировал Васильев, что не хочет нарушать священную и, безусловно, рабочую атмосферу репетиции. Только старался он зря. Острый глаз Иосифа Адамовича уже узрел нарушителя дисциплины.

— Вот, товарищи, как происходит, — резюмировал Иосиф Адамович. — Мы тут с вами, не жалея сил, так сказать, а артист Васильев позволяет себе приходить когда захочет. Вы что же это такое себе позволяете, товарищ Васильев?

— Да я вот... Как-то... Сами понимаете... — мямлил Васильев, а сам думал, — что за фигня происходит? Если времени у них нет, то как я мог опоздать?

А Иосиф Адамович не унимался:

— Елена Михайловна! — обратился он к Кудрик, которая отвечала за художественную часть, — что у нас поручено Олегу Петровичу?

Елена Михайловна деловито порылась в папочке, лежавшей у неё на коленях:

— Олег Петрович читает у нас «Пророка».

— Ага! — обрадовался Иосиф Адамович. — Он у нас «Пророка» читает, а сам себе позволяет опаздывать. Вы уж, Елена Михайловна, поработайте с ним как следует, чтоб осознал подтексты, так сказать, и великий смысл. А я, при случае, тоже поработаю.

— Попал, блин! — сказал сам себе Васильев и уселся наконец-то в спасительное кресло.

Оказавшись по соседству Владлен Гаврилович Щепотько, вместо того чтобы поздороваться, начал так сосредоточенно внимать Иосифу Адамовичу, что даже человеку случайному стало бы понятно: вот как осознаёт серьёзность происходящего Владлен Гаврилович. А пока Владлен Гаврилович старался, Иосиф Адамович захлопнул красную папку, в которой лежали загадочные для непосвящённого бумаги, и с достоинством удалился.

Он удалился, но место на трибуне тут же оказалось занято. Там уже стояла вдохновенная и серьёзная Елена Михайловна и сосредоточенно перебирала бумаги. Правда, бумаги у неё были не в красной папке, а в зелёной, и не в кожаной, а в дермантиновой. Но это вовсе не умаляло важность и ответственность момента.

— Товарищи! — произнесла Елена Михайловна и окинула зал пристально, — кратенько прочитаю вам сценарный план.

Елена Михайловна снова уставилась в бумажку из зелёной папки и замерла. Так замирает петух, найдя зерно. То одним, то другим глазом рассматривает он драгоценную находку, сам себе не веря, что счастье всё-таки привалило. Вот так и Елена Михайловна одухотворённо и наполненно рассматривала свой же сценарный план, утверждённый уже во всех положенных инстанциях.

Она так долго держала паузу, что Васильев не выдержал:

— Она что там? Букву знакомую ищет? — прошептал Васильев, немного наклонившись к Щепотько.

Но Владлен Гаврилович Васильева не только не поддержал, но, наоборот, прошептал свистящим шёпотом на весь зал:

— Прекратите ёрничать! И не делайте вид, что не понимаете ответственности этого мероприятия!

После этой тирады Владлен Гаврилович демонстративно отвернулся от Васильева, всем своим видом показывая, что ничего общего у него с этим отщепенцем Васильевым не было, нет и быть не может.

Васильев покрутил головой, оглядывая зал в поисках моральной опоры. Но сочувствия в коллегам не нашёл. Все сидели с каменными лицами. Один Добежанский понимающе улыбался.

Тем временем Елена Михайловна разобралась в своих таинственных записях и, пообеда взглядом зал, сообщила:

— Значит так, товарищи. За постановочную часть ответственен товарищ Добежанский. Костюмы и реквизит, если таковой понадобится, возложены на товарища Таранькину. Портрет Великого Поэта нам обещал нарисовать товарищ Дукст. Сценарная работа и режиссура возложены на меня. Может, я и не нравлюсь кое-кому, — и Елена Михайловна выразительно посмотрела на Васильева, — но прошу любить и жаловать.

Значит, так. Если руководители коллективов ансамбля скрипачей, духового оркестра и оркестра аккордеонистов считают, что им нужна репетиция на сцене, то сразу же после небольшого перерыва они могут начинать.

После этого я лично поработаю с товарищем Васильевым. Ему доверено очень ответственное стихотворение и, сами понимаете, это должно быть прочитано на соответствующей высоте.

Помогать мне в моей работе будет талантливейший мастер поэтического слова, я не побоюсь сказать — наша гордость, Соломон Сергеевич Канарейкин.

Соломон Сергеевич приподнялся, обозначая своё присутствие, и театрально, но с чувством собственного достоинства, поклонился.

Человек способен признаться в чём угодно: в собственной беспомощности, в непомерном аппетите, в склонности к выпивке, в совершении преступления — и в любви. Но вряд ли вы отыщете человека, который признается, что ни фига не понимает в искусстве.

В доисторические времена неандертальский вождь, войдя в пещеру, разрисованную местными талантами, окидывал строгим взором все эти наскальные шедевры и, одобрительно урча, поднимал вверх большой палец руки.

— Шедевр! — тут же подхватывало стадо. И художников начинали усиленно кормить и называть классиками.

Правда, иногда вождь недовольно покачивал головой. И тогда незадачливых мазилок от искусства попросту съедали.

Это ж надо! Сколько лет прошло, а традиции сохранились.

Хотя, после Никиты Сергеича, вожди уже оценками не занимаются. Не опускаются, так сказать. Для этого есть публика попроще. Критики всех мастей и разные другие специалисты.

Вот такими специалистами из категории «разных других» и были в Городе Елена Михайловна и Соломон Сергеевич. И к мнению их прислушивались не только простые смертные, но и там, наверху. А это, сами понимаете, налагает... так сказать... ответственность за судьбы русского искусства.

Так вот. Как только Соломон Сергеевич кивнул лысеющей головой участникам репетиции, так сразу же Елена Михайловна объявила перерыв.

Васильев вышел на улицу. Там кучковались временно выпущенные на волю участники репетиции. Причём отдельными группками стояли духовики и аккордеонисты. Между ними прогуливался Добежалов. Увидев Васильева, он обрадовался, но, похоже, больше Добежалова обрадовался неутомимый Яша Коган. Он схватил Васильева за рукав и забормотал:

— Господи! Вот, наконец-то, нормальный человек попался. Образованный. Не то что эти лабухи и поцы. Вот скажите, Олег Петрович?.. Тут вопрос возник, так я могу его задать?

— Задавай, — неосторожно сказал Васильев и тут же спохватился, увидев, что Добежалов жестикულიрует за Яшиной спиной. Но было поздно.

— Вот, скажите мне, Олег, как культурный человек, — начал Яша и вцепился в васильевский пиджак мёртвой хваткой. — Вот, скажите мне, куда они в туалет ходили?

— Кто? — недоуменно спросил Васильев.

— Как кто? — Обрадовался Яша. — Дворяне эти. Пушкинские. Балы-шмалы, ля, ля-тру-ля-ля, это понятно. Непонятно, где у них туалет был. Вот вы в Михайловском были? И я был. Вы там туалет видели? И я не видел. А дамские платья ихние на картинках видели? А если видели, Олег, скажите мне: мыслимое ли дело — задрать подол такого платья и не описать потом его в процессе, так сказать? Правильно. В одиночку задрать подол невозможно. Так же как и не описать невозможно. Ну ладно. В деревне — это я понимаю. В кусты можно сходить или в домик типа сортир. А в городе? Нет, Олег! Вы скажите мне, куда в городе сходить, если на балу пара сотен людей и все хотят?

Васильев затосковал было, но Добежалов пришёл на выручку:

— А пошёл бы ты, Яша, поспать. Там, заодно, и найдёшь ответы на поставленные вопросы.

— Вы жлоб, Добежалов! — обиделся Яша. — Мыслящий человек вам не пара, потому что вы жлоб и шлимазл.

И Яша отошёл с гордо вздёрнутой головой.

— Спасибо, Игорь! — улыбнулся Васильев. — Ты настоящий друг.

Покурили, помолчали. И Васильев неожиданно спросил:

— А действительно, как же они с этими делами управлялись?

— Ты, блин, думай лучше, как из нежных лап Елены Михайловны живым вывернуться, — посоветовал Добежалов. — А то перекур уже заканчивается. Ну ладно. Придумаю что-нибудь. Чего только не сделаешь для спасения товарища, а по выходным друга и собутыльника?

Добежалов пошёл к аккордеонистам, а Васильев в зал.

Там уже сидели в полной боевой готовности Елена Михайловна и Соломон Сергеевич. Елена Михайловна сосредоточенно выискивала нечто в своей заветной папочке, а Соломон Сергеевич восседал рядом. И столько брезгливости, презрения и ненависти к штукарям от искусства было на лице Соломона Сергеевича, что, казалось, дай ему маузер — он тут же перестрелял бы этих дилетантов и извращенцев от искусства. И рука бы у него не дрогнула.

Васильев тоже с нескрываемой брезгливостью поднялся на сцену, выдержал паузу и произнёс значительно:

— Александр Сергеевич Пушкин. «Пророк».

— Стоп, — рявкнула Елена Михайловна. — Вы, Олег Петрович, выходите на сцену, прямо скажу, какой-то несобранный. Вот как-то не чувствуется, что Вы сейчас будете читать великие строки.

Васильев понимающе кивнул и ушёл в кулису. Там он потоптался немного и только потом торжественно выплыл на сцену. При этом Васильев был так наполнен чувством ответственности, что боялся это чувство расплескать.

— Александр Сергеевич Пушкин, — провозгласил Васильев. Потом выдержал паузу и добавил:

— «Пророк».

После этого Васильев снова взял паузу. Только более продолжительную и эффектную, чем в первый раз. И только потом начал читать:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

— Стоп! — закричала Елена Михайловна. — Олег Петрович! Дорогой! Я не вижу мрачной пустыни. Как-то пропадает у Вас такой эффектный образ. И жажды не чувствуется...

— Нет проблем, — согласился Васильев. — Будет жажда.

И Васильев начал сначала. Произнося первую строку, он сделал такое изнурённое лицо и так мучительно проглотил слюну, что каждому должно было быть понятно — вот человек, умирающий от жажды.

— Хорошо! — одобрила Елена Михайловна.

— А я не верю, — вмешался Канарейкин. — Это жажда пива, а не духовная жажда. Духовная жажда — это нечто высокое.

И Соломон Сергеич собрался было сам изобразить духовную жажду, но тут на сцену начал выплывать оркестр аккордеонистов. Музыканты строго и молча выходили из кулисы, держа в одной руке стул, а во второй пюпитр. Аккордеоны уже были пристёгнуты к груди ремнями.

— Что это? Как такое? Кто позволил? — разъярилась Елена Михайловна.

— Спокойно! Только без драки, пожалуйста! — охладил её пыл руководитель оркестра Ходулин. Во-первых, мы по графику, вами же, Елена Михайловна, составленному. А во-вторых, у нас концерт в подшефном колхозе, и автобус уже пришёл. Когда же, позвольте вас спросить, нам сцену попробовать?

— Это полное безобразие, а не творческий процесс! Я буду ставить вопрос, — взвился было Соломон Сергеевич, но практичная Елена Михайловна его тактично осадил:

— Что тут поделаешь, Соломон Сергеевич, — товарищи в графике. — И тут же испортила Васильеву настроение окончательно:

— С Вами, Олег Петрович, мы ещё поработаем. Я прошу Вас явиться за час до начала. И мы непременно найдём уголок для уединения.

— А дома, Олег Петрович, вы непременно задумайтесь над пророческой ролью Поэта, над его великой миссией, так сказать, — вставил Соломон Сергеевич свои пять копеек. И вид у него при этом был такой грозный и величавый, что если у кого-то и были сомнения насчёт пророческой роли и миссии, то теперь эти сомнения развеялись как дым.

Васильев скривился, но, скривившись, покорно кивнул головой и вышел в фойе. Там уже гулял довольный Добежалов.

— Вот какие чудеса творит натуральный обмен! — изрёк Добежалов.

Васильев не понял:

— Какой обмен, Игорь? Что на что и когда?

— Экой ты... — улыбнулся Добежалов, — наивный. Я дал Ходулину на водку, чтобы он порепетировал со своими орлами. Вот и получается, что я выменял твою драгоценную свободу на банальную бутылку.

Вышёл на улицу. Похоже было, что прошёл краткий дождь. Пахло свежестью, и на асфальте лежали мутные зеркала луж. В одну из них Васильев ступил, задумавшись. А когда отmaterился и вытер грязь с ботинка клоком травы, сорванной с газона, то спросил сам у себя:

— И какого хрена они в этом «Пророке» нашли? Банальный стишок. Если я правильно помню, даже перевод откуда-то.

— Э-э-э-э, братец! — подхватил тему Добежалов, — тут ты в корне не прав. Мелко берёшь. А ты глубже копай! Глубже. Стих этот для Пушкина в самом деле этапный. По Александру Сергеевичу так государственная машина прокатилась, что ему стало не до романтики. Ведь сразу после «Пророка» он напишет:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

— А потом? — спросил Васильев.

— А потом... Что потом? — задумался Добежалов. — Потом было всё как положено.

Но весь остаток жизни преследовал Пушкина Медный всадник с грозно протянутой рукой.

— Это уж... Да, — грустит Васильев, но тут же грустить перестал, потому что стояли друзья уже у входа в единственный в Городе пивной бар.

ГЛАВА 10

Васильев толкнул тяжёлую дверь, вошёл вовнутрь и тут же остановился. Остановился, потому что попал он явно не туда, куда хотел. В задымленном зале вместо привычных «стояков» стояли столы, вокруг которых и сидели, и стояли мужики. У дверей на полу устроился инвалид в бескозырке — играл на гармонии и пел жалостливо:

Ой, товарищи! Расскажу я вам,
Этот случай был в прошлом году:
Зверь-отец убил дочку родную —
Я про это вам песню спою...

Васильев постоял-постоял — и вышел на улицу.

— Что-то тут не то, Игорёк, — задумчиво сказал Васильев, — что-то не так...

— Ты просто забыл, Олежка, что пивбар не тут, — пояснил Добежалов. — Здесь сейчас столовая « Берёзка», а пивбар на Солнечной, нынешняя Горького, где раньше булочная была.

— Точно! — обрадовался Васильев.

И тотчас же вспомнил эту булочную. Там надо было сначала выстоять очередь и только потом получить фунт тёплого ещё хлеба. Тёплого — потому что он просто не успевал остыть. И самое интересное было в том, что фунт редко отвешивали одним куском. Обычно получался и небольшой ломоток, который назывался довесок. И этот довесок можно было съесть по дороге к дому. И это тоже было радостно.

И вот с таким ощущением, что радость всё-таки была, да позабылась, вошёл Васильев в городской пивбар, где плавали клубы дыма, вонь прокисшего пива и мочи. Васильев встал к стойке, чтобы место занять, а Добежалов в очередь за пивом. Очередь была совсем небольшая. Не то что в конце дня, когда мужики после работы позволяют себе оттяжку. Так что Васильев даже не успел толком перекурить, как Добежалов уже пришёл с четырьмя поллитровыми кружками и тарелкой, на которой в окружении луковых колечек красовались несколько кусков нечищеной сельди иваси.

— За свободу! — улыбнулся Добежалов и приподнял свою кружку.

— За свободу, — согласился Васильев и тоже к кружке приложился.

А когда отпили немного, Добежалов достал бутылку водки и соорудил ерша.

— Не круто будет? — обеспокоился Васильев. Но Добежалов утешил:

— По системе Станиславского положено, чтобы нервную систему в порядок привести.

И друзья глотнули за здоровую нервную систему.

— Что-то не так, Игорь, — сказал Васильев после того, как зажевали селёдкой.

— Не понимаю, но чую, что что-то не так.

— Слушай, Олег! — задумался Добежалов, — а ты уверен, что находишься в реальном Городе?

Васильев подумал, глотнул ещё ершика и признался:

— Нет. Не уверен. Слишком тут много такого, чего быть не может, потому что быть не может никогда. Но, с другой стороны, где-то же я есть?

— Где-то есть, — согласился Добежалов.

— И вот из этого самого *где-то* я вырваться не могу. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Добежалов шёпотом.

— Ты пойми, — тоже зашептал Васильев, — я никогда в этой сраной эмиграции не пил столько, сколько здесь пью. И что страшно и странно, это мне нравится всё больше и больше. И избавиться от этого я тоже не могу.

— А ты пробовал? — усомнился Добежалов.

— Что пробовал? — собрался обидеться Васильев.

— Избавиться пробовал?

— Нет! — признался Васильев. — Не пробовал, но твёрдо знаю, что ничего не выйдет.

— Тогда да, — согласился Добежалов. — Тогда конечно... Что уж тогда?..

И Добежалов ещё плеснул водочки в пиво, чтобы нить разговора не терялась. Плеснул и тут же отвлёкся:

— Олег! Хочешь, я тебя с настоящим пророком познакомлю? Шутка шуткой, но чем чёрт не шутит? Может, он и вправду что-то знает?

— А что? Действительно. — Васильев внимательно присмотрелся к любителям пива. — Только не спеши. Я хочу сам угадать этого пророка.

— Давай! — согласился Добежалов, и Олег Петрович начал угадывать. И через минуту-другую нашёл подходящую кандидатуру. На полу неподалёку от двери в туалет сидел мужик в рваном ватнике. Волосы на голове этого мужика стояли принципиально дыбом, отчего он напоминал не то Бетховена, не то Эйнштейна. И это странное поведение волос, по мнению Васильева, и было несомненным признаком гениальности.

— Вот он, Игорёк! — показал Васильев на эту радость парикмахера. — Этот самый фактурный. Этот как раз то, что надо.

— Согласен, — кивнул Добежалов. И крикнул в другой конец зала:

— Фима! Подойди!

— Пить сегодня, парни, много не могу, — повинился Фима, подойдя. — Только что из дурки. Ещё не отошёл.

Васильев с удивлением смотрел на Фиму. Потому что был этот Фима типичным мальчиком из хорошей семьи. Белая рубашечка, галстучек, очки в роговой оправе, смущённая улыбка.

— А мы много и не дадим, — утешил Фиму Добежалов. — Нам самим мало. Тут вот какая штука. Вот у Олега ощущение, что он не может от Города избавиться...

— Какое ощущение, блин? — перебил Васильев. — Тут полный дурдом. Я уезжаю, а вместо этого оказываюсь в «конторе» на допросе. Черти, домовые — и вообще...

— Пуповину надо рвать, — забормотал Фима и закатил глаза. — Рви пуповину, иначе никак. Иначе ребёнок не родится...

— Ты, Фима, остынь. Ты не горячись так. Не убивайся, — налил Добежалов Фиме. Тот выпил, выдохнул воздух, пожевал губами и пришёл в себя.

— А ты не горюй, — сказал Фима Васильеву. — Будешь человеком, всё само собой утрясётся.

И пошёл к своему стояку.

Правда, отойдя немного, обернулся и крикнул:

— И вовсе не дурдом, а дургород!

Васильев помолчал немного, а потом хлебнул ёршика и спросил Добежалова:

— Как это — рвать? Какую пуповину? И кому, главное?

Добежалов только пожал плечами.

А Васильев завёлся:

— Я вот сейчас спрошу этого вашего «пророка». Я строго спрошу, если на то пошло. Что же это за пророчество? Это хуже прогноза погоды!

— Спроси, если так уж загорелось, — равнодушно ответил Добежалов и занялся куском селёдки, которая норовила выпрыгнуть из тарелки. — Только, думаю, лучше не будет.

— Это почему же не будет? Я имею полное право спросить.

— Конечно, имеешь, — обрадовался Добежалов. Он как раз исхитрился наколоть на вилку упрямый деликатес. — Только понятней тебе не будет. Чем больше вопросов, тем меньше понимания. Закон Архимеда.

— Какого это Архимеда? — опять не догнал Васильев. — Это у которого штаны на все стороны равны?

— Ну не хочешь Архимеда, тогда пусть будет Бойля-Мариотта.

— Смейся, паяц! — съехидничал Васильев. Отпил ещё из кружки и глубоко вздохнул, приподняв плечи. — Ты смейся, иронизируй, а я пошёл рожать истину, которая только в споре.

Васильев оторвался от стойки и почувствовал, что пьян он более, чем ожидал. Пришлось собраться, выпрямить спину. И только потом на странно негнущихся ногах двинуться на поиски истины.

Но Васильев, несмотря ни на что, добрёл до загадочного Фимы. И Фима оказался не таким уж и загадочным, как думалось Васильеву вначале. Фима этот двумя руками держал лапищу здорового мужика, просяще заглядывал этому мужику в глаза и заискивающе щебетал.

Господи! — ужаснулся Васильев. — И тут от голубых деться некуда! Ладно уж — Нью-Йорк. Там понятно и естественно. Но тут!

Правда, Васильев тут же спохватился:

— А не один ли мне хрен? Кто я им такой, чтобы указывать, как жопу использовать?

Родив такую ценную мысль, Васильев собрался внутренне и выдал:

— Простите, Фима, но я хотел бы... Это... вот... как бы...

И пока Васильев формулировал, Фимин бойфренд протянул огромную лапищу и схватил Васильева за лацкан пиджака:

— Тебе, мужик, чего, короче? В рог хочешь?

— Нет. Не хочу, — заявил Васильев, пытаясь освободиться. — Я просто хотел кое-что уточнить у товарища Пророка.

— Не понял. Кто тут из нас тебе товарищ Пророков?

— Это я, Иванушка. Это я, — признался Фима и великодушно разрешил:

— А вы спрашивайте, не бойтесь. Это Иванушка. Он только кажется таким. А на самом деле он не такой.

— Пророк, блин? — удивился Фимин жлоб и выпустил васильевский лацкан на волю. — Это обосраться и не жить! Фимка — пророк. Писец всему, короче!

Васильев встряхнулся, как воробей, купающийся в луже:

— Вот, Фима! Вы говорили, что пуповину рвать и прочее... А как это — рвать? И, главное, кому?

— Себе, противный, себе, — заворковал Фима и снова уставился в лицо партнёра. — Ты что, думаешь, в настоящем Городе живёшь? Ты в ностальгии своей живёшь. И освободишься, как только лопнут те провода, что тебя с этим Городом связывают.

— Как это — в ностальгии? — растерялся Васильев. — Вы, товарищ пророк, хотите сказать, что я всё вот это выдумал?

— Хочу, — признался Фима.

— А если я ещё чего такого выдумаю? — завёлся Васильев. — Вот... Вот возьму сейчас и выдумаю, что выезжаю я в Город как победитель, на белом коне! Что тогда?

Ох, зря это Васильев так разошёлся. Ох, напрасно. Потому что, как только он загнул про белого коня, так тут же оказался на спине этого коня. Спина у коня оказалась широкой, как диван, и Васильеву пришлось раскорячиться по самое как не надо. И Васильев не только раскорячился, но и вцепился двумя руками в гриву этого животного. А конь начал себя вести как скотина. Присев на задние ноги, он стукнул правой передней в грудь Фиминому хахалю. А потом, выложив на пол солидную кучу пахучих конских каштанов, направился к выходу.

— Петрович! Скажи этому коню! — закричал Добежалов.

— Что я ему скажу, когда он по-русски не понимает? — захрипел в ответ Васильев.

— Кто не понимает? Это я не понимаю? — повернул голову конь и заржал. — Я на всех языках понимаю, включая суахили. И это благодаря тому, что трепетно и с должным уважением отношусь к высокому искусству.

Васильеву стало очень не по себе. Потому что у этого образованного коня было лицо Соломона Сергеевича Канарейкина.

Васильев собрался было спросить у Соломона Сергеевича, как это он стал таким благородным животным, но не успел. Конь уже выбил витринное стекло и оказался на улице.

И тут же грянули оркестры!

Васильев приподнял голову. Прямо перед ним кастрированной египетской пирамидой высился Мавзолей, на трибуне которого среди незнакомых Васильеву людей стоял товарищ Сталин и делал Васильеву ручкой.

Потрясённый увиденным, Васильев сделал невероятное усилие и обернулся. Позади него простирались бескрайние солдатские ряды. Моросил дождь, и солдаты были строги и угрюмы.

— Ты куда это завёз? — зашептал Васильев Соломону Сергеевичу в волосатое ухо. — Ты чокнулся — или как? Ну прям не конь, а козёл.

— Куда надо, туда и завёз, — огрызнулся Соломон Сергеевич. — Сам же хотел, чтоб на белом коне.

— Это же Парад Победы, остолоп! — уже не зашептал, а закричал Васильев. — Я так не играю.

— Экие мы капризные! — огорчился конь и лягнул копытом по брусчатке. Изпод копыта вырвался фейерверочный сноп искр, и Красная площадь сменилась городской площадью им. В. И. Ленина. Васильев, увидев знакомые места, воспрял духом.

На площади вдоль мрачного куба Дома культуры в две шеренги стояли не менее мрачные горожане.

— Здравствуйте, товарищи горожане! — прокричал Васильев.

Шеренга настороженно молчала.

— Поздравляю вас с моим возвращением! — продолжал Васильев надрыватьсья.

Шеренга молчала. Потом послышался голос из второго ряда:

— Так это артист Васильев! То-то я смотрю, что мудак на коне сидеть не умеет.

Тут конь Соломон Сергеевич встал на дыбы, и Васильев, как ни цеплялся за гриву, всё же соскользнул на землю.

Горько было и гнусно. Васильев на четвереньках подошёл к памятнику Ленину и уселся на гранитной ступеньке. Шеренга встречающих уже исчезла. Только странный конь гарцевал по площади. Сделав два круга, он образовал из спины два крыла, взмахнул этими крылами и Пегасом поднялся в облака.

А Васильев сидел на ступеньке и горько плакал.

Потом к нему подошла собака непонятной породы, лизнула лицо горячим языком и сказала:

— Что ж ты плачешь, миленький? Мы с тобой скоро мальчика родим, а ты плачешь.

ГЛАВА 11

Васильев зарыдал и проснулся от этих рыданий. Проснулся, и когда сообразил, что он не на площади имени Вождя, а в своей кровати, то обрадовался. Только напрасно он это делал. Потому что нависала над ним пахучей плотью Валентина из кулинарии. И из всей одежды была на этой Валентине одна кружевная наколка на голове.

— А вот, золотой ты мой, мы сейчас пивка, — сладко запела Валентина, протягивая Васильеву банку чешского пива. — Мы пивка глотнём, и всё у нас пройдёт, как и не было.

Валентина щебетала и умилялась, как старая дева над коляской с чужим ребёнком.

— Как вы тут? — прохрипел Васильев, но банку с пивом взял. — Кто вы?

Ну это Васильев лукавил, скажем откровенно. Потому что прекрасно он узнал вчерашнюю кулинарную работницу Валентину. А вот почему он её не признал — пусть это лежит на васильевской совести мрачным чернильным пятном, или, того хуже, тяжким грузом.

— Где я? — продолжал хитрить Васильев и играть наивняка.

— Дома, котик! — просюсюкала Валентина. — В своей постельке. Не надо бояться, миленький, — я тебя в обиду не дам.

— А вы, собственно... — усомнился Васильев в правомочности присутствия этой случайной знакомой в своей квартире. — Да... собственно... как вы тут оказались?

— Очень просто, — вздохнула Валентина и начала одеваться. — Иду с работы — смотрю, у подъезда мужичок валяется. Вроде ничейный. Присмотрелась — это же утренний клиент! Не могла же я тебя на асфальте бросить, как окурочка какой? Ключи у тебя в кармане были. Вот принесла. Уложила. Ох и страстный же ты мужчина! — Валентина почмокала губами, изображая восхищение. — Раньше я думала, такие только в кино бывают.

— Какая страсть! — возмутился Васильев, — у меня даже обувь не снята... И носки тоже.

— Глупый! — ненатурально восхитилась Валентина. — Это дело не ногами делают. Можно носки и не снимать. Это дело вполне и в валенках можно.

Потом Валентина обулась и посерьёзнула:

— Сейчас, маленький, я на работу пойду. А завтра мы с тобой в ЗАГС двинем заявление подавать. Так что собирайся с духом. Я уже отгул взяла.

Васильев остолбенел. Но довольно быстро пришёл в себя:

— В какой это такой ЗАГС, интересно мне? Я что, предложение вам делал? И ваще — я женат. Причём дважды.

Валентина только рассмеялась:

— Как же! Дождёшься от вас, кобелюк, предложения! Вас надо хватать за яйца и в ЗАГС волоочь, пока не опомнились. А что ты думал, донжуан хренов? Попользовался девушкой — и в кусты? Не-е-ет! Не на такую напал. А насчёт жён своих — не надо сказок. У меня в руках документ. Называется паспорт. Понял? А там нет ни одной отметочки о законном браке.

Валентина достала из сумочки васильевский паспорт и торжествующе потрясла им.

Только зря это она делала. Потому что из стенки высунулась косматая лапа, схватила паспорт и снова исчезла в стене.

— Константин! — радостно ёкнуло у Васильева внутри.

А Валентина растерянно осматривалась вокруг себя. Ей казалось, что она уронила на пол такой важный для неё документ. Но паспорт как будто испарился. Тогда Валентина так строго и беспощадно посмотрела на Васильева, что он понял: вот это и есть его последние минуты жизни на этой грешной земле.

— Где? — коротко и хрипло спросила Валентина. И подойдя к Васильеву поближе, добавила:

— Куда дел, фокусник херов? Я же тебя, стручок, вот этими руками задавлю, если не скажешь.

Васильев покрылся холодным потом, но Константина не выдал.

— Ты сообрази, падла, — продолжила Валентина, — ты сообрази, что выхода у тебя нету. Я же с родителями живу. У нас в двухкомнатной квартире четыре семьи. Ты понял, женишок? Не понял? Счас поймёшь!

И Валентина размахнулась.

— Это всё! — промелькнуло в голове у Васильева. — Это пиздец!

Васильев закрыл глаза и стал ждать неминуемую плюху. Но вместо плюхи раздалось мелодичное:

— Уйди, сучка! А то глаза выцарапаю!

Рядом с Валентиной стояла на задних лапах чёрная пантера и замахивалась на невезучую невесту правой передней.

Валентина охнула, подхватила сумочку и выбежала, на ходу обещая написать куда следует.

— Закури, женишок. Очухайся, — кошка Милка протянула Васильеву пачку сигарет.

— Спасибо, — пробормотал Васильев. Сел на край кровати и вынул трясущимися руками сигарету.

Милка щёлкнула зажигалкой и дала Васильеву огоньку.

— Службу несём, рядовая Милашкина? — съехидничал Васильев, затянувшись. — А где же сержант Константинов?

— Тутока я. Где мне быть? — Константин вышел из стенки и уселся в кресло. — Мы это не по службе, а по дружбе, так сказать. Ты же пирожные покупал.

— Заботился иногда, — добавила Милка, которая уже стала обычной кошкой.

— Мы вот... — бормотал Константин. — И мебелишку, значит, вернули... и прочее имущество. Потому что по-человечески... А как же?

— Спасибо, братцы, — расчувствовался Васильев. — Сейчас сижу и думаю, что за всю жизнь ко мне никто и никогда по-человечески не относился. Все как-то... И Васильеву снова захотелось заплакать. Но он сдержался.

— Ладно уж, Петрович, не горюй, — по-своему поняла Милка васильевскую чувствительность. — Эту Валентину тоже понять можно. На раскладушке в кухне спит. Никакой половой жизни, не говоря уже о любви. Тут кто хочешь озверееет.

А Константин добавил:

— Ты это, Петрович, того... Там на кухне коньяк есть. Мишка вчера принёс. И закусить конкретно. Только ты не напивайся очень с утра. А то вечно...

Васильев подумал, сказал, что очень не напьётся, и пошёл в кухню. Там он дрожащей рукой налил рюмку коньяку, выпил, закусил колбаской и начал оживать:

— А вот объясните мне, други мои...

— Нет, Петрович, и не проси! — встрял нахальный Константин. — Мы бы и рады объяснить, да ты не поймёшь.

— Да, — мяукнула Милка.

Она уже стала обычной кошкой и тёрлась мордочкой о ноги Васильева.

— Вы что? За дебила меня держите, что ли? — возмутился Васильев. — Это значит, вы считаете, что необразованный домовой из-за печки понимает то, что специалист с высшим образованием понять не в силах?

Тут Васильев даже загордился сам собой и приосанился.

— Образование тутока ни при чём, — начал разглагольствовать Константин. Образование — это, к примеру, когда ничего не было, а потом — раз — и образовалось. А в твоём случае, Петрович, образование штука бесполезная, потому что только мешает.

— Вот взял бы и подумал, — вставилась Милка, — а почему это ты из Города уехать не можешь?

— А почему? — как-то тупо спросил Васильев.

— А потому, — доходчиво объяснила Милка.

И Константин продолжил:

— Это, типа, от себя не уйдёшь.

Васильев покурил, аккуратно загасил окурочек в пепельнице и осторожноенько спросил:

— Вы что это? Вы намекаете, что Город и я — это одно и то же?

— Догадливый какой! — восхитилась Милка и от восторга замурлыкала.

— Это значит... — продолжал Васильев гнуть свою линию, — это значит, что если Город сошёл с ума, то и я не вполне... — и Васильев замысловато покрутил пальцами возле правого виска.

— А как же! — обрадовался Константин. — А как же! Сам подумай — может ли нормальный человек с домовым разговаривать? Нормальный человек в таком случае пугаться должен и вызывать «скорую помощь» с милицией.

— Правильно, — согласился Васильев и тут же спохватился:

— А что же делать? Должен же быть какой-нибудь выход?

— Ты, Петрович, короче, вот... — разъяснил Константин. — Ты это... зачем в Город приехал? На могилки сходить? Так сходи. А то всё пьянку пьянствуешь.

— И то верно, — согласился Васильев и двинул в ванную.

И уже через полчаса, чисто выбритый и в новом галстуке, сидел Васильев в трамвае и трясся в сторону Городского коммунального кладбища.

Вагон был пуст, уютно поскрипывал на ходу, и можно было сколько угодно любоваться проплывающим в окне урбанистическим пейзажем. Вот уже остался позади корпус института, выкрашенный в непонятный цвет, вот густая тень вековых тополей сменилась ярим солнцем эстакады, вот замелькали частные домишки предместья...

Васильев вышел на пустующей остановке и побрёл по улочке под названием «Тихая». На ступеньках похоронного бюро, что располагалось у самых кладбищенских ворот, сидел старинный друг Васильева, гравёр мастерской по производству памятников Лев Андреевич Борщёв. Он покуривал и, не спеша, тянул пивко из горлышка бутылки.

Вот скажи ты мне, Петрович, — обратился Лев Андреевич к Васильеву, — ты когда свою бабу трахаешь? Поутру или на ночь?

— А разница есть? — улыбнулся Васильев.

— Разница огромная! — серьёзно ответил Борщёв, откупорил о деревянную ступеньку пивную бутылку и протянул эту бутылку Васильеву.

Васильев сделал пару глотков и поставил бутылку рядом с Львом Андреевичем:

— Ты подожди, Андреич! Посиди немножко, а я сейчас приду. Хочу к своим на могилку забежать.

— Это дело. Это правильно, — одобрил Борщёв и закурил.

Васильев скрипнул кованой калиткой и очутился в тени и комарах. Почему на старых кладбищах столько комаров, — это, несомненно, загадка природы, но это так, и мало кто с этим будет спорить.

Васильев начал протискиваться по узкой тропинке между могильных оградок и успел несколько раз больно обжечься крапивой, пока добрался до оградки своей. Там, за этим немудрёным сооружением, сваренным из металлических труб, стоял бетонный памятник на двоих и, как положено, столик и две скамеечки. На одной из этих скамеечек сидела мама Васильева в траурном чёрном платке.

Спасибо, Олечка, что пришёл, — сказала она, не оборачиваясь. — Сейчас посидим немного и поедем домой. Сегодня же сороковины. Надо помянуть по-человечески. Шура там уже накрыла всё, наверное.

— Боже мой! — ужаснулся Васильев, — неужели она не видит своей фотографии на памятнике?

Васильев достал из кустиков, посаженных по периметру, ведёрко, принёс воды, полил цветы в нагробниках и только потом сказал:

— Конечно, мама, я приду. Я обязательно приду.

— Вот и хорошо, — улыбнулась мама. — Я поеду домой, а то уже соседи, наверное, собрались.

Она поднялась со скамеечки, одёрнула платье и поплыла, пронизав насквозь массивный памятник чёрного гранита с надписью: «Ивану Филипповичу Странного, корнету 114-го гвардейского полка. Спи спокойно, наш дорогой».

Васильев посидел немного, покурил и, поймав себя на мысли, что скорби он не испытывает, пошёл к выходу. В этот раз он пошёл другой дорогой и остался доволен, потому что здесь не было крапивы.

Лев Андреевич сидел всё там же, наслаждаясь тёплым бутылочным пивом. Васильев только присел рядом, как Борщёв продолжил начатую тему:

— И все-таки, Олег, когда ты жену трахаешь? Утром или вечером?

Васильев замылся:

— На ночь, как и все люди. Да это не так уж и важно...

— Ой, как важно, Олежек. Ой, как важно, — не согласился Лев Андреевич. — От этого твоя нервная система страдает. Ты её на ночь трахнул — заспит, засыт, утром встанет — как тигра ходячая. А если ты её с утра приласкал — весь день будет радостная бегать.

Лев Андреевич собрался было развить эту тему, да из дверей похоронки выбежали две девицы в трауре.

— Наташка! — завизжала одна из них, — какая же ты счастливая! Квартира, машина, дача — всё твоё! И вдобавок профсоюз похороны оплатил!

— Да уж! — гордо подтвердила вторая, и они, скорбя и поддерживая друг друга, пошли к остановке трамвая.

— Видишь, Олежка. У каждого своё счастье, — начал рассуждать Борщёв. — Кому война, а кому и мать родна.

Но Васильев перебил:

— Андреич! Скажи хоть ты мне — из Города можно уехать или это... А то творится хрень какая-то. Не пойму — то ли я с ума сошёл, то ли все остальные.

— Борщёв только крикнул от удовольствия — так он любил давать советы:

— Конечно, можно. А как же! Ты, Олег, к цыганам сходи. Они к месту не привязаны. Народ свободный. Они знать должны. А все эти заморочки в голову не бери. Ты сколько в Городе не был? Двадцать лет. Конечно, напридумывал себе там, в своей Америке. Что ж ты хочешь?

И снова Васильев трясся в трамвайном вагончике. И снова тупо рассматривал городские прелести. Хотелось поговорить, а поговорить было не с кем. Трамвай был пуст. И только в торце вагона двое подвыпивших мужиков выясняли, кто сколько дал на выпивку и кто при этом выпил на халяву. И так они это вкусно обсуждали, что Васильев, как только вышел из трамвая, забежал в магазинчик на углу и взял бутылку «Агдама».

Вооружённый этой бутылкой, которую в народе называли «фаустпатрон», он прошёл к реке и устроился в кустиках лозняка на дамбе.

Васильев зубами сорвал пластиковую пробку, выпил глоток и передёрнулся от отвращения.

— А ведь пили в молодые годы, — подумал он. — Пили. И как же хорошо шло под разговоры, под гитару, под стихи! А ведь «чернила» эти хуже не стали. Это я стал хуже.

Вот подумал так Васильев и пригорюнился, глядя на бакен, что покачивался в мутной воде.

И только он успел разгореваться как следует, как на колени Васильеву упал скелетик тополиного листа. Ажурная конструкция прожилок. Тело листа, видимо, давно сгнило, а вот эта арматура осталась.

Васильев взял лист за охристый хвостик, и тут же он покрылся слоем прозрачного льда, и наступила зима. И влюблённый Васильев стоял в этой зиме, показывая обледеневшее кружево листа своей сокурснице Оленьке.

Оленька так умилилась этой красотой, что поцеловала Васильева мягкими губами.

И Васильев так восторженно ответил, что оба они упали в сугробик возле самой воды.

Васильев был вне себя. Его распирало и крутило. Он то воспарял, то падал. И дошёл до того, что вскочил, разделся и прыгнул в реку. Вдоль берега шла промоина метров в двадцать шириной: течение здесь было такое, что лёд не схватывался.

У Васильева перехватило дыхание от холода, и его понесло водой. Он моментально отрезвел и с ужасом подумал, что через полкилометра его просто затянет под лёд. Васильев стал выгребать к берегу, но пугающе медленно выгребать. И вышел, пошатываясь, когда до ледяного покрова оставалось совсем ничего.

Васильев бежал по ледяной кромке берега, резал ступни ледышками и благодарил Бога, что у него хватило ума разделаться. В одежде он бы не выплыл.

Он добежал до места, кое-как оделся и отпил из бутылки. Хорошо отпил. Как надо. Ольги не было. И Васильев пошёл в общагу. Там, вылушывая ледышки из волос, он терпеливо выстоял очередь к телефону-автомату. Трубку взял Ольгин папа и убедительно попросил Васильева больше не звонить.

— Нам в семье только сумасшедших не хватает! — сказал Ольгин отец.

Васильев с ним согласился и пообещал больше с Олей не встречаться.

Мрачный, поднялся Васильев в комнату. Там Матвейка с истфака делился своим богатым опытом. Они пили всё тот же поганый «Агдам», и Матвейка поливал «за свою семейную жизнь». Он пару месяцев назад женился на даме, которая была старше Матвейкиной мамы лет на десять. И вот теперь рассказывал, что к чему:

— Какая любовь, ребята? — пухлая мордочка Матвейки скривилась. — Какая любовь? Где вы её видели, эту любовь? Мне просто удобно. Обо мне заботятся. Я имею бабу, когда захочу, а не тогда, когда она соизволит мне дать. У меня гарантированный завтрак и обед. И носки у меня чистые, между прочим.

Васильев переоделся в чистое, подошёл к столу, налил сам себе полстакана «портка», выпил и вlepил Матвейке оплеуху.

Тот свалился со стула и заверещал про милицию. А Васильев не стал ожидать продолжения и ушёл.

— Господи! Какой же я был придурок! — говорил сам себе Васильев, потягивая портвейн. — Боже ты мой! Мне надо было просто оттрахать эту Оленьку — и дело с концом. И никаких проблем.

— Оля! Ты знаешь, что я для тебя могу сделать всё, что ты захочешь! — раздался восторженный тенорок.

Васильев раздвинул прутья лозняка и удивлённо посмотрел на владельца тенорка.

На берегу стояла парочка. Ну дети жалкие, что уж тут говорить! Васильев и улыбаться не успел, как «тенорок» разбежался и прыгнул в реку. И сразу стало понятно, что плавать этот мальчонка не умеет, а если умеет, то в ванной.

— Помогите! — пискнула девчонка. — Ванечка! Куда же ты? Ты же утонешь!

Васильев вскочил и побежал вдоль берега. Там, впереди, река делала поворот, и Васильев надеялся, что мальчонку вынесет ближе к берегу. Так оно и вышло. Васильеву оставалось только зайти в воду по пояс, схватить этого Ванечку за шиворот и вытянуть на берег. На берегу Васильев врезал «герою» по морде и командовал:

— Бегом, мать твою!

А когда добежали до места, Васильев влил пацану остатки портвейна в рот и спросил у девицы:

— До дома далеко?

— Нет. Не очень, — пискнула она.

— Тогда ноги в руки — и бегом!

И они побежали.

Васильев посмотрел на свои брюки, уже обледеневшие и ставшие колом, и пошёл домой.

— Всё это было, — бормотал он на ходу, — всё было, и ничего нового. Нет и не будет.

Стоило ему выйти на центральную улицу, как летний вечер вернулся, и, пока Васильев шаркал по асфальту, одежда почти высохла.

— Ну вот! Здрасьте вам! — заворчал Константин, когда Васильев переодевался. — Опять нажрался где-то. Ну что с тобой делать, прям ума не приложу? А ведь завтра тебе работать. «Пророка» читать.

— Не ссы! Прочитаю, — заверил Васильев, устраиваясь в постели. — Читать — это не писать. Так что не переживай.

ГЛАВА 12

Васильев, несмотря на все случившиеся передрыги, хорошо выспался и несколько не удивился, что утро началось с вечера.

— Флаг вам в руки и билет на ёлку! — пообещал он неведомо кому, когда заканчивал бриться. Настроение было у Васильева прекрасное и когда завтракал, и когда шёл на столь ожидаемый концерт, и даже когда столкнулся в фойе с Еленой Михайловной.

— Молодец, Олег Петрович! — похвалила Васильева Елена Михайловна. — Пришли пораньше. Я сейчас разберусь с оформлением сцены, и мы с Вами ещё разик «прогоним» стихотворение.

Васильев такой эффектной гримасой подтвердил своё желание поработать перед выступлением, что человек посторонний, глянув на его лицо, немедленно бы вызвал «неотложку».

Но Елена Михайловна, к счастью, на Васильева не смотрела. Она смотрела в свои загадочные бумажки в папочке. А насмотревшись вдоволь, сообщила Васильеву, что его номер пойдёт сразу перед оркестром аккордеонистов. А тут как раз духовой оркестр, устроившийся в уголке фойе, начал играть «Встречный марш», и Елена Михайловна упорхнула.

И только она исчезла, как дверь гримёрки приоткрылась и Васильева поманил пальцем Ходулин, руководитель оркестра аккордеонистов.

В гримёрке Ходулин достал из-за зеркала бутылку и два стаканчика, налил и провозгласил:

— По глоточку. Не ради пьянки, а исключительно для традиции.

Васильев выпил и зажевал корочкой. А Ходулин, устроившись в бутафорском кресле, начал делиться секретами:

— Я тебе вот что расскажу, Олег Петрович. Только ты не передавай никому. Потому что секрет. Короче, два года тому назад поехали мы на открытие нового клуба колхоза «Путь к коммунизму». С нами духовики и пара солистов. Приехали. Зал полный набит. Плюнуть некуда. Пора начинать, а духовики кричат, что ихний трубач, Воробейчик, не приехал. И что без него никак нельзя, потому что у него соло. Ну ты же Воробейчика знаешь — музыкант от Бога, но...

Так вот, стали суетиться, названивать. Короче, через час приволокли этого Воробейчика. А он никакой. Плоский, как фанера. В общем, отпоили беднягу нашатырём, на сцену посадили. А у него соло в первой же вещи. Вот оркестр:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик и не может в мундштук попасть.

Лабухи, не прерываясь, начали сначала:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик — и снова мимо мундштука.

Коллектив опять с первого пункта начинает:

— Тра, та, та, ля, ля...

Встаёт Воробейчик. Напрягся — да как блеванёт струёй в первые ряды!

Васильев знал эту историю, но все же посмеялся специальным актёрским смехом, и довольный Ходулин налил ещё по рюмочке.

— Не могу! — замахал руками Васильев. — Веришь ли, Кудрик снюхает — пропал я тогда.

— Ладно, — милостиво согласился Ходулин. — Я и сам управлюсь.

И Васильев пошёл за кулисы.

А там уже носилась Елена Михайловна, то всплёскивая короткими ручонками, то поправляя причёску. Увидев Васильева, она обрадовалась:

— Господи! Олег Петрович! Хоть вы-то пришли! А то разбежались все, как крысы.

— А что случилось? — спросил Васильев.

— Как что? — удивилась Елена Михайловна васильевской неосведомлённости.

— Механика сцены сегодня не вызывали, потому что Добежалов сказал, что сам справится. Сказать-то он сказал, а сам взял и ушёл. И теперь ни кулисы опустить, ни задник... Даже как занавес открыть, никто не знает.

— А что? Игорь Николаевич послал всех небось? — спросил злорадно Васильев, подходя к пульту.

— Он не только послал, — пожаловалась Кудрик, — он так послал, что я до сих пор краснею.

— Хорошо, — снизошёл Васильев, — давайте ключ от пульта. Я всё сделаю.

— Ох, Олег Петрович! — вскрикнула Елена Михайловна, — ключ Добежалов с собой забрал. В том-то и проблема, что ключа нет.

— Ну я даже не знаю... — засомневался Васильев, — на занавес можно двух студентов поставить. Раздёрнут вручную. А кулисы и задник... А зачем, собственно, они нужны? Будем как бы модернисты. А портрет Поэта поставим на трибуну. Подкатим трибуну к стене, а портрет на неё. Публика подумает, что это такой смелый режиссёрский ход.

— Но мы же наследники великих традиций реализма! — завелась было Кудрик, но тут же остыла. — Но выхода у нас нет. Нет у нас другого выхода.

Васильев вышел в фойе. Там уже собирался зритель — учащиеся ПТУ, которых привели завучи по воспитательной работе.

Васильев отловил двух мальчишек, провёл их на сцену, показал, как открывать занавес, и строго наказал никуда не отлучаться. Потом Васильев подкатил к кирпичной стене трибуну с резным гербом Советского Союза и поставил на неё пушкинский портрет в изложении Янки Дуста. Но портрет держаться не хотел — скользил по трибуне. Пришлось поставить впереди графин с водой и упереть портрет в графин. Васильев подумал и для завершения композиции поставил рядом с графином стакан. Потом отошёл на несколько шагов и полюбовался своей работой. Лицо у Пушкина на портрете было довольное. Как будто он уже хорошо отпил из этого графина и собирался приложиться ещё. Васильев тоже остался доволен собой.

Застрекотали звонки, духовики перебрались из фойе в первые ряды партера, и на сцену вышел Иосиф Адамович Морок. Без привычной трибуны было Иосифу Адамовичу несколько неуютно, но он и виду не подал. А раскрыв папку с текстом доклада, начал вещать. Говорил Иосиф Адамович долго, и из его речи стало понятно, что если бы не Поэт, то русские люди вряд ли бы научились говорить по-русски, что с именем Пушкина бойцы Великой Отечественной поднимались в атаку, что целинники держали при себе томики со стихами Поэта, что имя Александра Сергеевича и сегодня ведёт молодёжь на стройки коммунизма. И поэтому всё просвещённое человечество радостно празднует годовщину со дня смерти великого Поэта.

Толкая свою восторженную речь, Иосиф Адамович два раза назвал Александра Сергеевича Семёновичем и один раз Степановичем, но зал на эти мелочи не обратил внимания. Отличники, сидевшие в первых рядах сразу за оркестром, были погружены в свои мысли, а остальной народ развлекался как мог. Кто-то читал, девчата шёпотом сплетничали, в задних рядах играли в карты.

После выступления Иосифа Адамовича духовой оркестр сыграл «Прощание славянки», и на сцену вышла Ника Воскресенская. Выдержав паузу, чтобы собрать внимание, она начала:

— Во глубине сибирских руд...

Васильев тут же подсказал, спрятавшись у портала:

— Сидят два мужика и срут.

Ника послушно подхватила:

— Сидят... — но вовремя спохватилась и вырулила, — сидят в Сибири. Товарищи! Храните гордое терпенье!

И благополучно дочитала до ленивых аплодисментов.

Проходя мимо Васильева, Ника прошептала грозно:

— Всё, Олег! Ты покойник! Можешь звонить и заказывать рытьё могилы!

Николай Фёдорович Скумбрик, стоявший рядом с Васильевым в ожидании своего выхода, чуть не лопнул со смеху. Но всё же вовремя вышел и сыграл кусочек из «Венгерской рапсодии».

Словом, всё пошло и покатило.

Васильеву стало скучно, и он пошёл на перекур. В кучке курящих лабухов Васильев увидел цыгана Мишку Бейнаровича, вспомнил борщёвский совет и обрадовался. Он отвёл Мишку в сторонку и попросил:

— Миша! Помоги, будь человеком. Мне тут посоветовали к цыганам обратиться... Тут, понимаешь, такое дело.

— Твоё дело решить, как два пальца опоганить, — засмеялся Бейнарович. — Мне тётка ещё вчера сказала, что ты будешь проситься. Да ты, Петрович, не волнуйся. Тётка сказала, что сделает.

Васильев помолчал немного, переждал, пока мурашки на коже исчезнут, и спросил:

— Миша, а как я твою тётку найду?

Она сама тебя найдёт, когда нужно будет.

— А когда же это «нужно» настанет? — вякнул Васильев.

— Увидишь, когда, — объяснил Мишка. — Как настанет, так сразу и увидишь.

И ушёл к своим.

Васильев постоял немного и тоже вернулся на сцену. Там готовился к выходу Владлен Гаврилович. Он то и дело закатывал глаза и подносил ладони к вискам, чтобы каждый мог видеть, как серьёзно и с полной отдачей относится Владлен Гаврилович к порученному делу.

Васильев собрался было съязвить, но Елена Михайловна взмахнула рукой, и Владлен Гаврилович вышел к рампе. Там он постоял некоторое время молча, слегка наклонив голову набок.

Настоявшись, Владлен Гаврилович объявил:

— Александр Сергеевич Пушкин. «Бесы». — И снова замолк. А помолчав, забормотал вдохновенно:

— Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна...

Пробормотав это, Владлен Гаврилович снова замолк. И по этой паузе, которая была неприлично долгой, Васильев понял, что Щепотько «заклинило». В васильевской практике было несколько таких случаев, когда из памяти исчезал текст и вспомнить его было невозможно. Поэтому Васильев не позлорадствовал, а искренне посочувствовал Щепотько. А тот начал сначала:

— Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна... — и снова замолк.

У Васильева возникло поганое предчувствие. Ему стало казаться, что и с ним произойдёт нечто подобное.

А Щепотько, устав повторять одно и то же, истерически выкрикнул:

— Домового ли хоронят? Ведьму замуж выдают?

Поклонился и ушёл гордой походкой.

А к Васильеву подбежал Ходулин:

— Слушай, Олег! Такое дело... — от волнения пальцы Ходулина бегали по полам пиджака, как по клавиатуре аккордеона. — Ты вникни... Нам Свиридова лабать. Из «Метели». А я ноты перепутал. Взял «Время вперёд». Так что ты смотри, никому. А пипла схавает. За это я спокоен.

Васильев кивнул головой в знак согласия и собрался пообещать Ходулину, что он никому и никогда, но со сцены ушла Милиция Афанасьевна, исполнявшая романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Это означало, что настало васильевское время.

Васильев посмотрел в зал и вдруг ощутил себя маленьким, слабым человечком, похожим на обезьянку. Он вспомнил, как в детстве ему связывали руки за спиной, чтобы он не грыз ногти. Он понял внезапно, что его никогда и никто не любил по-настоящему. Он увидел себя такой пылинкой под колёсами этой огромной и безжалостной машины, называемой Государством, что ему стало страшно.

Вот таким маленьким, жалким и потерянным начал Васильев читать.

И это было так необычно и так откровенно, что Васильев услышал тишину. Ту самую тишину зала, тот наркотик, ради которого и живёт артист, ради которого он терпит эту, унижительную по сути, профессию.

Васильев закончил читать, ушёл уже со сцены, а тишина всё ещё стояла в зале, пока не обрушилась грохотом аплодисментов.

Они ещё гуляли эхом от стены к стене, а к Васильеву уже бежала заведующая отделом культуры Марта Яновна. Она схватила Васильева за руку и зашептала:

— Как же вы это так, Олег Петрович? Как же это вы осмелились? Это же подрыв устоев, чтобы не сказать больше!

Васильев и рта раскрыть не успел, как рядом стоял Иосиф Адамович:

— Мы Ваше поведение, товарищ, немедленно рассмотрим на расширенном заседании идеологической комиссии Горкома. И мы не дадим Вам спуску, на это и не надейтесь.

— А когда состоится это заседание? — глупо спросил Васильев.

— Немедленно! — прокричал Иосиф Адамович.

И Васильев очутился в конференц-зале Горкома.

ГЛАВА 13

Васильев огляделся. Впереди за столом президиума восседали все завотдела-ми Горкома. В зале дружной кучкой сидели работники отдела культуры, театральное начальство и ведущие актёры. Отдельно кучковались представители прессы и примкнувшие к ним Косяков и Шмяк. Таня Крайняя уже успела задремать, но блокнот и авторучку из рук не выпустила.

Васильев взял стул и устроился между президиумом и залом.

— А вот Вы, товарищ Васильев, встаньте, когда о вас товарищи откровенно и калёным железом! — строго сказал Иосиф Адамович, которому, судя по всему, было доверено вести заседание.

Васильев улыбнулся:

— Спасибо, Иосиф Адамович, мне вполне удобно.

— Вот это, товарищи, и показало в очередной раз звериный и аморальный оскал артиста Васильева, — начал Иосиф Адамович. — Вот именно это неуважение коллектива, вот это неприкрытое хамство, вот этот эгоизм и привёл Васильева к идеологической диверсии и — я не побоюсь сказать — к моральной деградации. К нам поступило заявление от одной из жертв этого развратника, на которой Васильев пообещал жениться и коварно лишил невинности. А сколько ещё таких неопытных девушек будут искалечены этим моральным извращенцем!

Есть мнение, что таким, как Васильев, не место в системе нашей культурно-просветительской работы.

Хотелось бы послушать коллектив, в котором работал этот декадент и хиппи. Что вы скажете, товарищи?

В зале повисла тишина. Артисты поглядывали друг на друга и молчали. Наконец поднялся Владлен Гаврилович:

— Товарищи! — голос Щепотько зазвенел от негодования, — вы сами знаете, как я относился к Олегу Петровичу. По-дружески и с уважением. Но после того, что случилось сегодня, после того, как Васильев замахнулся на самое святое, что у нас есть, принизив образ великого Поэта, я говорю, что Васильеву я руки не подам. Да, Олег Петрович, да! Я не подам вам руки...

— А кто тебе, мудак, руку-то пожимать собрался? — удивлённо спросил Васильев. Зал зашептался, и Иосиф Адамович постучал карандашиком по графину с водой, восстанавливая тишину.

Васильев встал со стула и, чётко артикулируя, произнёс:

— А пошли бы вы все!.. — закончить фразу по-добежаловски у Васильева не хватило духу. Он вышел и так хлопнул дверью, что зазвенели стёкла. Васильев шёл к выходу, впервые за всё время, пока он был в Городе, ощущая себя человеком, и от этого ему было хорошо и весело.

С таким вот настроением вышел Васильев на улицу и увидел, что стёкла звенели не так просто. Окна Горкома осыпались блестящей крупой на тротуар, а из оконных проёмов воздушными шарами выплывали работники аппарата. То стайками, то по одному, они поднимались к облакам и взрывались там весёлыми фейерверками.

— Олег! Что же это происходит? — спросила Ника. Она, оказывается, вышла вслед за Васильевым.

— Дутые величины были, — нашёл решение Васильев. — Вот оно и произошло.

— А хотите, я вам стих про городские памятники скажу? — спросил Косяков, сидящий на ветке старой липы.

— Нет, Светлан, не хотим, — ответил Васильев.

— Ну не хотите — как хотите, — согласился Косяков. — Памятников на мой век хватит.

Потом он запел:

— Летят перелётные птицы... — и улетел грустный.

— Я пойду, Олежка, — сказала Ника. — А то мои перепугались, наверное.

И ушла утешать встревоженный коллектив.

А Васильев направился к дому, удивляясь тому, что Город опустел. Ни одного человека не встретилось ему, пока он дошёл до площади. А на площади уже не было памятника Ленину. Вместо памятника красовалась огромная песочница, в которой сидел мальчик и лепил куличики из песка. Васильев подошёл поближе и увидел, что это не мальчик, а капитан Фесенко в шортиках и панамке.

— Хочешь поиграть, гражданин Васильев? — спросил Фесенко. — У меня как раз запасные формочка и совочек есть. Садись. Не стесняйся.

— Нет уж. Я лучше постою. Я как-нибудь в следующий раз.

— Смотри. Была бы честь предложена, — сказал Фесенко. — А так бы приехал в свою Америку не просто так, а как диссидент и мученик совести. Мемуары бы написал.

— Там мемуарщиков и без меня пруд пруди, — улыбнулся Васильев и пошёл по центральной улице.

Васильев шёл по этой, такой знакомой, улице и не узнавал её. Вместо домов стояли огромные открытки, подпёртые палочками, а некоторых зданий не было вообще.

Возле васильевского дома на крыльце «Кулинарии» сидела Валентина и плакала.

— Вы что это? — пожалел её Васильев. — Что-то случилось?

— А Вы не видите? — Валентина заплакала в голос. — Народ исчез. Вы что, не видите? Нет в этом Городе людей! Исчезли! А у меня, между прочим, встречный план и повышенные обязательства...

— Вы не плачьте, пожалуйста, — порылся в карманах Васильев, нашёл деньги и протянул Валентине, — а принесите мне торт и банку кильки в томате. Моя кошка эту кильку просто обожает.

Валентина обрадовалась, и уже через пару минут Васильев входил в свою квартиру с банкой и коробкой. Но ни Константина, ни Милки не было. Васильев открыл банку, выложил содержимое в кошачью мисочку, оставил торт на столе и снова вышел на улицу. Там всё ещё убивалась безутешная Валентина.

— Вот это вам, — сказал Васильев и протянул Валентине ключи на цепочке.

— Что это? — насторожилась она.

— Это ключи от моей квартиры, — сказал Васильев. — Живите. И дай вам бог хорошего мужа. Только кошку кормите и домовому иногда пирожное...

Васильев думал, что Валентина обрадуется, а она заплакала ещё сильнее.

— Эй, залётные! — раскатился звонкий крик, и к Васильеву подкатила тройка вороных, запряженная в старинные дрожки. Там сидела красавица-цыганка в таком цветастом платье, что у Васильева зарябило в глазах.

— Это Мишкина тётка! — догадался Васильев и тут же усомнился, — молодая что-то для тётушки.

— А ты садись, золотой, не сомневайся! — прокричала цыганка. — Какой же русский не любит?

И Васильев прыгнул в дрожки.

Ох, понеслось, загремело, заухало! Звенело монисто на цыганке, ржали кони и щёлкал кнут.

Васильев глазом не успел моргнуть, как въехали в лес и остановились у аккуратного домика. Из домика выбежал цыган в красной рубаше и схватил коренного под узцы.

— Пойдём, Олег Петрович, — пригласила цыганка. Она уже стояла у дверей дома.

— Заходи. Гостем будешь.

Васильев зашёл в дом и, робея, спросил:

— А вас как зовут, простите?

— Кирка меня зовут, драгоценный, — ответила цыганка, накрывая на стол.

У Васильева прошёл мороз по коже:

— Это из «Одиссеи», что ли? Кирка, которая людей в свиней превращала?

— А чего их превращать-то? — удивилась цыганка. — Кто человек, тот человеком и будет, — превращай его, не превращай. А свинью и превращать не нужно.

В дом вошёл Николай, управившийся, видно, с лошадьми:

— У нас тут ферма целая, — похвастал он, — на мясокомбинат сдаём. Большая выгода от этого.

— Что? И меня на мясокомбинат? — ужаснулся Васильев.

— Надо бы, голубчик, мой, надо бы, — заворковала Кирка, — посвинячил ты в жизни как надо быть. Правда, народ говорит, что в последнее время, вроде, и человеком был. Поэтому садись, ешь, пей и ни о чём таком не думай. Полночь пробьёт — дадим тебе шанс. Обернёшься ты чёрным кабаном. Если убежишь от Николая — значит, убежишь. Нет — не обижайся. Чёрным кабаном и останешься.

— Сейчас как раз дичь в цене, — сказал Николай, накладывая в тарелку варёную картошку.

Васильев собрался было возмутиться, но часы на стене начали звонко отбивать двенадцать, и Васильев увидел, как покрывается он кабаньей щетиной. А Николай тут же обернулся горячим жеребцом и прокричал:

— Минуту форы даю, а потом уж не сетуй, родимый!

И Васильев рванул в чашу!

Он нёсся напролом, сердце выпрыгивало, дышать становилось нечем, а Васильев мысленно ругал себя:

— Спортом нало было заниматься, дурачина, а не литрболом! Тренироваться надо было!

И вот, когда позади уже слышалось радостное ржание Николая, что-то лопнуло у Васильева внутри, зазвенело гитарной струной, и Васильев очутился на мокрой от росы скамейке автобусной остановки.

Звук лопнувшей струны всё ещё жил в занимающемся утре, и Васильев подумал: — Вот и финал «Вишнёвого сада». Лакей Фирс умер.

Потом посмотрел расписание автобусов. Экспресс Ленинград — Рига останавливался здесь в пять пятнадцать утра. Васильев глянул на часы. Они не только шли, но и показывали, что сейчас четыре сорок восемь. Ждать оставалось недолго. Васильев закурил и проверил карманы. Паспорт и обратный билет в Нью-Йорк были при нём. Васильев облежённо вздохнул и почесал левую ногу, которая зудела до невозможности. Но вместо своей ноги он обнаружил кабанью с раздвоенным копытцем.

Ладно, что так, — утешил себя Васильев. — Мне бы только до дома добраться, а там придумаем. Ваксинг — или пластическую операцию... Только бы добраться, а там решим.

Беззвучно подкатил автобус. Васильев поднялся по ступенькам и обратился к водителю:

— Мне один билет до Риги.

— А с какой целью вы едете в Город? — оскалился шофер волчьими клыками.

Васильев онемел. Но водитель тут же превратился в нормального человека и выдал билет.

— Это что у вас за обувь такая странная, сэр? — спросил у Васильева чёрный таможенник в аэропорту Кеннеди, рассматривая васильевское копыто.

— Это национальная обувь, сэр, — гордо ответил Васильев.

— И что? В вашей стране все так ходят? — усомнился таможенник.

— Нет, конечно, сэр. Только те, кто сохраняет традиции.

— Понятно... — уважительно протянул таможенник и жестом показал Васильеву, что он может проходить.

Васильев уже вышел из ванной и переоделся, когда пришла жена, обвешанная пакетами.

— Олежка! — закричала она с порога, — я тут тебе всё купила, что надо. Такой сейл был, такой сейл! Так что о сувенирах беспокоиться не нужно.

— О каких сувенирах? — насторожился Васильев.

Как — о каких? — удивилась жена, выкладывая на стол маечки, кепочки, прочее барахло. — Ты же завтра в Город улетаешь. Забыл? Вот и билеты под телефоном лежат.

Тогда Васильев собрал все эти сувениры в пакет и понёс выбрасывать в мусоропровод. И уже возвращаясь обратно, увидел, что кабанья нога исчезла, а осталась его родная.

Васильев взял билеты, внимательно рассмотрел их, потом порвал на мелкие кусочки, сложил обрывки в пепельницу и поджёг.

ТАМ, НАД ДУНАЕМ...

РАССКАЗ

Эти записки на немецком языке в синей тетрадке с линованными полями попали ко мне совершенно случайно. Тетрадь лежала на дне небольшой коробки с книгами, которую вместе со всем ее содержимым я приобрел за пару евро во время одной из прогулок по блошиному рынку. Мне приглянулся изящный томик «Страданий юного Вертера», старый путеводитель по городам Дуная, еще несколько любопытных изданий. Уже дома обнаружилась в коробке тетрадка с синей обложкой, и я был готов ее выбросить, но после беглого просмотра передумал. Сейчас трудно сказать, что меня тогда остановило; как бы то ни было, я отложил в сторону приобретенные книги и подтянул поближе словарь. Мучительно было разбирать нетвердый почерк, но и оторваться от начатого стало вскоре невозможно: с пожелтевших страниц для меня все явственнее звучал голос пожилого человека, избравшего ученическую тетрадь хранителем предсмертной исповеди.

Рукопись не имела заголовка, в остальном же, за исключением личных имен, я старался не позволять себе никаких отклонений от оригинала.

Вчера снова приходил господин Шрайтер. И снова ни-че-го! Они уже три недели топчутся на месте, перемалывают одни и те же подробности, а бедная Ди три недели лежит на Западном кладбище... Они не могут найти убийцу. А я до сих пор не могу убрать со стула в спальне одежду, что осталась висеть со дня ее смерти — ее любимую темно-малиновую юбку и вязаный жакет, подарок ее сестры Марты ко дню рождения. Ди сразу его надела и так и осталась сидеть за праздничным столом в только что подаренном жакете. И Марта, и этот ее друг, что недавно вышел на пенсию и сподобился, наконец, предложить Марте поселиться вместе, — и это после пятнадцати лет, в течение которых она каждый день ждала этого предложения, а он, ссылаясь на работу и обстоятельства всех видов — от бытовых до космических, — откладывал этот вопрос на следующие полгода, продолжая регулярно приезжать к ней к субботнему ужину и столь же пунктуально покидать ее после воскресного обеда, так вот, и он, этот плешивый жучок, который все эти пятнадцать лет терся вокруг сестры Ди, сказал, что жакет ей очень идет. Он ей и правда шел, но жучок-то этого не понимал; что может понимать в таких делах человечешко, никогда не любивший, это самодовольное ничтожество, воскресный утешитель безнадежно одиноких дев. Ди его тоже не любила, но жалела Марту и даже хвалила ей жучка — смотри, какой заботливый, звонит же иногда и на неделе, спрашивает, как дела...

Она была прекрасна в том жакете. Но никто не должен был касаться этого, никто не должен был пачкать своими бездушными интонациями и банальной болтовней того, что во всей глубине мог оценить только я.

Ди исполнилось пятьдесят восемь, и мы желали ей еще многих и здоровых лет. Кто мог предполагать, что ей было отмерено всего лишь три дня...

Шрайтер говорил, что обязательно найдет убийцу, но что это трудно, потому как следствию представляется, что ее убил человек случайный, без всяких мотивов, скорее всего, психически больной, проходивший мимо скамейки недалеко от дома, на которой она сидела одна в тот вечер; он выхватил нож и нанес ей три удара. Зачем ему понадобилось убивать пожилую женщину? Кричала ли она? Никто ничего не слышал и никто ничего не видел. Шрайтер говорит, что она умерла минуты через две. Последний удар был точным и подарил ей легкую смерть. Сейчас они роются в больничных картотеках, ищут людей, склонных к немотивированным убийствам. Изучают списки недавно выпущенных из тюрем. Пытаются найти иголку в стоге сена — ну, ну... Эксперты считают, что третий удар выдает убийцу-профессионала, но Шрайтер в том не уверен, полагает это чистой случайностью. У профессионала должен быть мотив...

Я слушал Шрайтера с полуприкрытыми глазами. Меня раздражает его доbermanовская челюсть и серьга в ухе. Не может у полицейского быть никакой серьги! Иначе он ни черта не найдет. На прощание пожал мне руку: «Крепитесь, хэrr М. Знаю, как вам тяжело... Вы прожили с покойной супругой счастливую жизнь... крепитесь... мы еще увидимся...» И ушел. Я остался сидеть с закрытыми глазами. «Счастливую жизнь»? Откуда у господина полицейского сыщика такие сведения и что он этим хотел, собственно, сказать?

Ди было двадцать четыре, когда мы познакомились. Конечно, я помню не только год, но и день, месяц и час нашей встречи. Июль, двенадцатое, год одна тысяча девятьсот шестьдесят первый. Около полудня. Старинный Ульм, берег Дуная. Безжалостное солнце. На ней легкое сиреневое платье и большая белая шляпа, которая так ей идет. Она с подругой. Маленькими глотками они отпивают из кружек светлое пиво, непрерывно курят американские сигареты...

Я попросил разрешения сесть за их столик. Бегло взглянув на меня, она согласно кивнула и продолжила что-то увлеченно и негромко рассказывать своей собеседнице. Я заказал пиво и жареную свинину и, не зная почему, старался не смотреть в их сторону. Небольшая терраса ресторана располагалась на обрывистом берегу реки и была ограждена балюстрадой — потрескавшимися бетонными столбиками и давно не крашенными, увитыми плющом металлическими решетками. Невысокий противоположный берег смотрелся отсюда как причудливый черепичный ковер, повторяющий очертания домов и целых кварталов. Мне подумалось, что после обеда надо бы сходить туда — в старую часть города, поближе посмотреть их знаменитый собор с самой высокой в мире колокольной и старинную ратушу, но, скорее всего, будет еще жарко и придется возвращаться в гостиницу, а осмотр достопримечательностей отложить на вечер. Мучила жажда, пекло солнце, и к этому добавлялось внутреннее беспокойство, причину которого я не мог найти, пока снова не встретил ее мимолетный взгляд. Ничего особенного, никакой неопиcуемой красотой она не обладала — миловидное овальное лицо с большими зеленоватыми глазами, светлые прямые волосы, мягко спадающие из-под шляпы на плечи. Я был уже далеко не в том сентиментальном возрасте, в котором верят в любовь с первого взгляда, — мне ведь было почти тридцать. Но в ее глазах мелькнуло что-то родное и давно забытое. Передо мной оказался незнакомый и одновременно близкий человек... Это не так просто объяснить... какая-то ассоциация с сильным, но забытым детским или юношеским впечатлением — уличным, домашним или книжным, а может быть, как считает Марта, которой я годы спустя все это не раз рассказывал, сигнал из прошлой жизни — его, однако, нельзя интерпретировать только как знак счастливого обретения, он может быть и предостережением, напоминанием о былой ошибке; кажется, она просто начиталась

не очень умных книжек. Марта вообще женщина простоватая, но одаренная необыкновенной чуткостью и доброжелательностью. И сестру свою всегда любила... Когда Ди ушла от меня, я изредка приезжал к Марте; разумеется, не по выходным дням, когда туда заявлялся жучок.

С Дуная послышалась музыка, и мы увидели, что внизу мимо нас на большом плоту, украшенном цветами и гирляндами из веток, проплывает духовой оркестр, за ним потянулся целый караван — вереница плотов, где на скамейках за длинными строгаными столами сидела празднично одетая публика, там стояли бочонки пива и пышущие жаровни, люди пели и некоторые даже танцевали. И Ди, как и многие вокруг, стала махать им рукой, громко и шутливо комментировать происходящее, и то ли от неловкого движения, то ли от неожиданного порыва ветра ее большая шляпа с широкими полями вдруг оказалась за балюстрадой и, плавно кружась, то в одну, то в другую сторону, начала спускаться к воде. Некоторые приподнялись со своих мест, наблюдая за ее полетом, и сочувственно улыбались. И она, на которую устремлено было в этот момент столько глаз, отвечала на улыбки, реплики, сначала без слов — кивала головой, разводила руками, смеялась, а потом вдруг протянула мне через стол руку и назвала себя. Мне — от волнения или от внешнего шума — послышалось, что она сказала «Ди Кляйн». — «У вас редкое имя», — заметил я. Она удивленно вскинула брови: «Шутите? Мне кажется, здесь каждую третью девушку зовут Хайди». — «Ах, Хайди! — воскликнул я. — А мне ведь послышалось Ди». — «Ди? — рассмеялась она. — Это звучит немного на азиатский манер, но если желаете...» И снова привстала, сомкнула веки до узких щелок и еще раз протянула руку: «Ди Кляйн». — «Клаус».

Мы поженились на следующий год. К тому времени она окончила университет и вернулась в Мюнхен, где жили ее мать и сестра, и уже после свадьбы перебралась в мою квартиру в Зольне, на южной окраине города. Но все то время, пока она оставалась в Ульме, я приезжал к ней при первой возможности, и каждый раз мы ходили в тот самый ресторан и старались сесть за тот же столик, и когда зимой терраса пустовала, все равно заходили на нее и вспоминали белую шляпу и подолгу целовались — теперь это было «наше место».

В скольких снах грезилось мне оно потом? Сколько раз в бессонные ночи мечтал я, что мы снова поедем туда и, перебивая друг друга, будем вспоминать, как полетела в сторону Дуная белая шляпа и как кто-то с плота пытался ее поймать, и как потом мы спустились вниз и шли вдоль берега, предполагая, что ее могло куда-нибудь прибить волной от проходивших прогулочных катеров, и как мы разговоривали, перескакивали с предмета на предмет, и я говорил, что Хайди очень красивое имя, но раз так случилось, что в этом городе каждая третья девушка носит его, то, наверное, лучше, если я буду называть ее Ди, тем более что она не похожа ни на одну известную мне девушку не только в этом городе, но и во всем мире, и как мы потом оказались на уютных улочках старого города и там ее чуткая подруга вдруг вспомнила о неотложных делах, и мы тут же без всякого удивления и сожаления попрощались с ней...

И все те годы, что мы прожили позже врозь, я грезил об этом. И потом, когда она вернулась, когда снова спала в нашей кровати, я держал ее, спящую, за руку, вытирал набегавшие слезы и вспоминал «наше место». Я больше не предлагал ей туда поехать. Она и раньше, почти сразу после свадьбы стала отнекиваться, а уж потом, по прошествии нескольких лет... «Ты излишне сентиментален», — сказала как-то без улыбки, даже с легким раздражением. А в другой раз и совсем жестко: «Тебе больше нечем заняться, коль ты снова вспоминаешь эту дурацкую шляпу?» И я понял, что «наше» перестало быть «нашим» и стало только «моим». С тех пор *сентиментальные* путешествия в Ульм я совершал всегда один: в собственных воспоминаниях либо с помощью старинного путеводителя, удачно попавшегося мне в руки в одной из книжных лавок.

На берегу Дуная старые дома с крутыми черепичными крышами и фронтонами и над всем этим высоко вздымающаяся башня кафедрального собора... — все вместе складывается в картину одного из старых швабских городков и называется Ульм. Как и во время Бёблинга¹, стоит он еще здесь, старый город рейха над Дунаем. Все в нем словно законсервировалось: природа и городской облик, поколения жителей и их дома. И люди имеют такие же самые лица, какими рисовали их Мультчер и Цайтблом, Сырлин и мастер Хартманн... (Александр Хальмаер, 1922.)

Я рассматривал альбомы старых мастеров, я искал Ди. Нет... там встречалось только отдаленное подобие... но²...

Но прежде всего подлинным ульмским переживанием остается собор... Город для него всего лишь окружающая среда. Он стоит в его центре, как солнечный король посреди своей свиты — так, будто хочет сказать: «Город это я»... Соборная башня видит все. Она обозревает весь швабский мир. Она заглядывает также и в сердце города, в его узкие дворы и углы... (Александр Хальмаер, 1922.)

Это произошло через полтора года после нашей свадьбы. Ее не оказалось вечером дома, она не пришла к ужину, не позвонила. Я убрал все со стола, так ни к чему и не притронувшись. Она вернулась в одиннадцать, когда я уже собирался звонить ее матери или сестре. Все это время худшие предположения в голове сменялись еще худшими — обморок в трамвае, ее увезли в больницу. Нет! Конечно же, несчастный случай: она попала под машину. В ужасе я отметал все это, прикуривал сигарету от сигареты и пытался успокоить себя — наверное, она просто встретилась с Мартой, и они случайно забрели в кино и не могут оттуда позвонить... Или не с Мартой... Или не в кино... Я открывал ее платяной шкаф, проводил рукой по одежде... у меня стучало в висках и наворачивались слезы... Появилась она как ни в чем не бывало, поинтересовалась, что нового в мире (у меня была включена программа новостей, которую, разумеется, я не слушал), и, не дождавшись ответа, ушла в ванную. Когда она вышла оттуда в халате, улыбаясь и напевая, я чуть не ударил ее. «Что ты такой сегодня?» — спросила она. — «Где ты была?» — «Ну, ну, не устраивай сцен, я просто гуляла, разве не могу я просто погулять по городу в хороший зимний вечер, а? Ты чего такой серый?» — «Но ты мне не позвонила, и я целый вечер не знал, что с тобой...» — «Я пыталась тебе звонить, но один автомат не работал, а второй проглотил монетку...» И она пошла в спальню, как будто ничего не случилось... Я догнал ее одним прыжком, развернул за плечо и ударил по щеке. Она отшатнулась, вырвалась и, не снимая халата, легла в кровать, лицом вниз...

Прошли мучительные сутки — без сна, без совместного утреннего кофе (я уходил из дому на час раньше ее, но обычно она всегда вставала к завтраку, провожала меня до двери, потом шла принимать душ), под удивленными взглядами коллег, едва ли поверивших, что мои воспаленные глаза, посеревшее лицо и сиплый голос — следствие легкой простуды. И словно в насмешку — расстройство желудка, этот оскорбительный понос, будто пытающийся перевести мою драму в русло трагикомического действия. Я мог бы утром остаться дома, но не знал, как вести себя дальше, и просто бежал, потом же, на службе, проклинал себя, что не остался, считал часы и минуты до конца рабочего дня — с замиранием сердца ждал

¹ Потомственный каменотес, занятый в постройке кафедрального собора в Ульме.

² Часть текста густо зачеркнута и не поддается прочтению.

того момента, когда снова переступлю порог квартиры, увижу ее, ждал и боялся — тысячу раз оживал и умирал... И уже в такси, когда машина свернула на нашу улицу и до дома оставалось ехать минуты три, из всего этого осевшего в душе кошмара выкристаллизовалась одна — беспощадная — уверенность: все кончено, она ушла.

Она ушла... теперь уже навсегда. Вчера я был у нее, убрал с могилы упавшие ветки, долго говорил с ней... вспоминал и тот вечер...

Она не вышла в прихожую, а просто негромко выкрикнула из кухни: «привет». Выкрикнула без эмоций, будто поставила галочку в каком-то списке: и я тут. «Как дела?» — я не узнавал своего голоса. И не дождавшись ответа, теми же деревянными звуками выдал: «Прости меня, Ди...» Она показала в дверях: «И ты меня прости, Клаус...» И потом, после наших объятий и слез («ну что, что ты...», — шептала она, вытирая ладонями мои глаза и целуя их), после нашего лихорадочного смеха, когда, боясь снова приблизиться к главному, мы пересказывали друг другу нелепые подробности прожитого дня и она сначала очень смеялась над моим поносом, а потом погладила по голове и сказала «бедненький мой», после крепкого чая, тут же приготовленного ею в целях моего излечения, после всего этого она мне сказала: «Ты должен понять меня... Я не домашняя кошечка, это не мой, так сказать, профиль. Меня давит размеренность повседневности — любой. Пойми, человек должен иногда, что называется “сорваться”: прогулять школу или забыть, что надо готовить мужу еду и без пяти восемь включать телевизор, чтобы не пропустить очередные новости дня, напиток, наконец (хоть мне это и не грозит; ты же знаешь, что я не пью). Ну я не знаю, как тебе это объяснить... Вчера, когда я ехала в трамвае, в вагон, во все двери разом вдруг *ввалился* (другого слова не подберу) целый оркестр, представляешь? Вошел неожиданно, с музыкой, все были одеты в карнавальные костюмы... Представляешь? Сначала испытываешь раздражение — что за шум, мешают читать... но шум постепенно приобретает черты согласованной мелодии, напряженного, захватывающего ритма... человек двадцать бьют в барабаны — в крохотные, средние, огромные, плоские, вытянутые, пузатые... И из всего этого вырастает не отпускающий уже тебя сплав ритмичной мелодии, повторяющейся и нарастающей как у Равеля, готовой вот-вот сорваться и... берущей новую высоту. Я проехала свою остановку и уже на улице поняла, что не я одна иду за оркестром... нас становилось все больше, и мы послушно шли, как те дети из сказки...» — «Но почему ты не позвонила мне? Почему ты не подумала, что я тоже способен “сорваться”... я бы приехал... я бы пошел с тобой...» — «Наверное, могла и позвонить... дважды неудачно пыталась это сделать, но не с тем, чтобы позвать, а просто коротко предупредить... а потом решила больше не звонить... ты бы меня начал расспрашивать — что да как, да зачем я голодная по улицам хожу... все это очень мило, только, пойми, в той ситуации это стало бы разрушительным... Я люблю тебя, поверь, но ты должен справиться с собой, это ведь, без сомнения, слабость — твоя боязнь, что в неизвестной тебе складочке моей души или в упущенном из твоего внимания отрезке моего дня таится какая-то угроза... Скорее всего, это ревность, хотя ты и смеешься всегда над ревнивыми мужьями и не считаешь себя таковым...» — «Я?..» — «Помолчи еще минуту, — она взяла меня за руку, — и послушай меня, ведь моя история еще не закончилась... Я вчера целовалась с французом! Спокойно, — она засмеялась и крепко сжала мою руку, — он тоже шел за оркестром, и когда тот перестал играть, он обратился ко мне на ломаном немецком — спросил, как ему добраться до отеля, он совсем не понимал, где он находится и в какую сторону нужно идти. Я согласилась его проводить, тем более что нам было по пути. Он из Марселя, инженер, приехал по делам службы. Недавно развелся, очень любит свою дочь, показал мне фотографию, она совсем еще ма-

лютка — годика два... Мы продрогли и были голодны, и он предложил зайти в кафе. И мы оба еще находились под впечатлением той музыки, тех ритмов, и так не хотелось выходить из этого состояния... Ну а потом, когда прощались...» — «Где? В его номере в гостинице?» — «Не будь идиотом, на остановке, конечно, когда вышли из кафе, — она нахмурилась и отпустила мою руку. — Он спросил меня, встретимся ли мы еще. И я ответила, что нет, потому как видела, что понравилась ему, очень понравилась. И тогда он сказал, улыбнись мне на прощание, я улыбнулась, а он наклонился, легко поцеловал меня в губы и ушел, ушел не оглядываясь...»

Нет, я все понимал и не судил ее, мы больше не возвращались к этой истории. Но только время от времени я представлял ее — зачарованно идущую в толпе за тем ряженым оркестром и себя — мечущегося по квартире, сходящего с ума, брошенного, ненужного ей в тот момент... Я не позволял себе расслабляться, я гнал прочь эти видения и мысленно твердил себе, что не ищу никакой угрозы ни в ее мыслях, ни в поступках — как известных мне, так и неизвестных.

Зачем господин Шрайтер вдел в ухо серьгу? Я, конечно, читал в газетах и по телевизору видел, что нынче пошла такая папуасская мода, того и гляди — в нос начнут кольца вставлять... И как это сочетается с униформой? Или следователи освобождены от ее ношения? Шрайтер, во всяком случае, приходит в обычной одежде. Ему, наверное, немногим больше тридцати... Интересно, это его первое самостоятельное расследование? Три недели топчется на месте — нет мотивов, нет убийцы, нет орудия преступления, никто никого не видел. Черт его подери! Внешне смотрится никак, но то ли что-то из себя разыгрывает, то ли я перестал понимать молодых... А все же спросил меня: «Вы никогда не выходили подышать перед сном свежим воздухом вместе с супругой?» — «Почему же, выходил — иногда». — «Что же не пошли с ней в тот раз? Были заняты?» Он, конечно, ждал, что скажу, будто смотрел по телевизору их идиотский футбол или разгадывал кроссворд в пошлом «Бильде», экземпляр которого всегда торчит у него из кармана. «Слушал “Реквием” Моцарта...» — «Ре...» — осекся, уставился на меня и через минуту выдавил: «Хорошее было исполнение — телевизионное или по радио?» — «Хорошее, но оно было тут», — я показал на мой старый проигрыватель с пластинками.

Вчера перечитывал «Глазами клоуна», не мог заснуть почти до рассвета... Бёлль был кумиром нашего поколения, большим лириком... Ди это понимала... Ей доступны были многие тонкие вещи. Она бы никогда не взяла в руки того глянцевого чтива, что штабелями таскает из зольновской библиотеки эта подслеповатая курица — аптекарша Плех с верхнего этажа. В последние годы я часто читал Ди вслух перед сном. Перечитали забытого многими поколениями «Вертера», Клейста... всего уж не вспомню. Или слушали музыку... Кажется, последнее, что я читал ей дня за два до смерти, были сонеты Шекспира.

Любовь — мой грех, и гнев твой справедлив.
Ты не прощаешь моего порока.
Но, наши преступления сравни,
Моей любви не бросишь ты упрека.

Или поймешь, что не твои уста
Изобличать меня имеют право.
Осквернена давно их красота
Изменой, ложью, клятвую лукавой.

Грешнее ли моя любовь твоей?
 Пусть я люблю тебя, а ты — другого,
 Но ты меня в несчастье пожалей,
 Чтоб свет тебя не осудил сурово.

А если жалость спит в твоей груди,
 То и сама ты жалости не жди!³

Ее нашла мертвой наша соседка, аптекарша Плех. Она всегда заставляла Ди на той скамейке, когда возвращалась после вечернего дежурства. Они немного болтали и потом вместе шли домой. Я посматривал в окно и, завидя их на ведущей к дому дорожке, ставил на плиту чайник. Если задерживались, я сердился на болтливую аптекаршу. В тот раз их не было долго, а потом раздались полицейские сирены...

Снова был Шрайтер. Просит еще раз подумать, вспомнить, не получала ли Ди каких-нибудь угроз — письменных, телефонных. Она могла о них прямо не говорить, но может, я заметил что-то необычное. Между слов обронил, что соседи действительно слышали у меня в тот вечер музыку, хотя и не уверены, что это был Моцарт. «Неужели и я под подозрением?» — «Ну что вы, что вы, дорогой хэrr М., это, разумеется, формальность... Любое, видите ли, расследование требует построения полного макета, так сказать, театра преступного действия — с обозначением всех фигур, их местоположений, с воссозданием окружающего ландшафта. Звезды на небе, положим, меня в данном случае не интересуют, но вот луна как источник света уже представляет определенный интерес... А также расписание автобусов, например. Мог ведь убийца уехать на автобусе?» — «Конечно», — согласился я. — «О... навряд ли... Потому как после смерти вашей жены следующий автобус ушел только через сорок минут. И никакого иного общественного транспорта в вашем удаленном от центра уголке нет. Мы сразу опросили водителя, и он уверяет, что проехал мимо, потому что на остановке никого не было. Конечно, преступник мог уехать на машине или на велосипеде или уйти, в конце концов, пешком. Но и машину придется тоже исключить.

Фрау Плех, ваша соседка, закрыла аптеку, как всегда, ровно в девять. Именно в этот момент, как установлено экспертами, наступила смерть. Фрау Плех нашла вашу супругу через двенадцать минут. Все это время она шла по улице, ведущей к скверу, где уже было совершено убийство, и никого не встретила, не заметила и отъезжавших машин. Она почти уверена в этом. Так что, скорее всего, преступник ушел в другую сторону, а именно — по дорожке, ведущей из сквера к вашему дому. Но тогда вы, хэrr М., должны были бы его заметить, ибо вы сами рассказывали, что имеете обыкновение поджидать свою жену с прогулки, поглядывая в окно. Конечно, он мог пробраться через кусты сквера в западном направлении, но тогда попал бы на территорию прилегающей к скверу школы и был бы замечен школьным служащим, подметавшим двор под светом фонарей и яркой луны...» — «Подметавшим двор? Я живу здесь уже несколько десятилетий и, поверьте, более менее знаю всё и вся вокруг, и, насколько помню, школьный двор всегда убирался во второй половине дня, сразу после окончания занятий». — «О... вам не следует горячиться, хэrr М... Вы, разумеется, правы, но в тот день школьный служащий, к большому огорчению, отвез в больницу свою жену с признаками острой сердечной недостаточности; пробыл он там долго — пока бедняге не полегчало, и вернулся лишь к восьми часам вечера. Полчаса ушло у него на легкий ужин, после чего он вышел во двор... и, тем самым, стал одной из тех персон, фигурки которых занимают свои места на воссоздаваемом нами театре преступного, как я позволил

³ Перевод С. Маршака.

себе выразиться, действия... Билеты все проданы... Занавес поднимается ровно в девять и опускается через двенадцать минут, воспроизведены все реалии происшедшей трагедии — сквер, скамья, асфальтовая дорожка, школьный двор, луна... На местах, обратите внимание, почти все действующие лица — фрау М. сидит на скамейке, школьный служащий подметает территорию, вы, под траурные звуки «Реквиема» (какое фатальное совпадение, хэrr М., не правда ли?) поглядываете в окно, фрау Плех проворачивает ключ в замочной скважине аптечной двери... Но где же злодей?.. Впрочем, уверяю вас, преступников-невидимок не бывает... Да и публика останется недовольна, если так и не узнает, кто совершил преступление. Она же платит деньги или, если желаете, налоги. Пока же мы можем сообщить ей только то, что ваша супруга не была ограблена; при ней и не было ничего ценного. Не была она и напугана появлением преступника, иначе бы тот же школьный служащий мог услышать ее крик. Может быть, к ней подошел хорошо знакомый ей человек? Человек, который также хорошо знал, что фрау Плех пройдет здесь не раньше, чем через двенадцать минут... Это, разумеется, только предположения... Но я утомил вас, хэrr М. Извините... И поверьте, я очень сочувствую вашему горю и не хотел быть жестоким... Все, что я наговорил сейчас, звучит цинично в ушах близкого погибшей, но, поймите, любая одержимость способна убить в человеке чувство меры... а я... я очень одержим идеей найти преступника...»

Пассау знаменитый и богатый город на соединении Дуная и Инна... Дунай приходит сюда со стороны швабских холмов, Инн стекает с Альп, разделяющих Германию и Италию; здесь впадает он в Дунай и отказывается от своего имени. Город сильно вытянут в длину и был бы почти островом, если бы от Инна в Дунай протянулся канал, ведь одна река от другой удалена на каких-нибудь пять сотен шагов. Через Инн ведет деревянный мост на шестнадцати опорах, соединяющий со старой частью города лежащую по другую сторону реки застройку. Второй мост — через Дунай... там, за ним проходит еще одно русло, с темными водами... Отрезая третью часть города, эта река перед епископским дворцом, примерно напротив Инна, также впадает в Дунай. Так соединяются в одном месте три реки, и потому называется город на итальянский манер Пассау, что означает переправа... (Сильвио Пикколомини, 1444.)

Пароход отходил ровно в шесть вечера. В Пассау шел проливной дождь, и мы отказались от мысли погулять перед отъездом по одному из самых очаровательных городков Нижней Баварии, поставили машину на долгосрочную стоянку и отправились с чемоданами на борт корабля. Это было довольно большое для речного судоходства двухпалубное с надстройкой судно, ослепительно белое даже под мрачными грозowymi тучами...

Я зарезервировал поездку месяца за три и, когда туристическое бюро прислало путевки, положил ничего не подозревавшей Ди конверт на подушку — маленький сюрприз, десятидневное путешествие по Дунаю на белом корабле, к трехлетию нашего знакомства. Мы бы обязательно приплыли к тому месту, если бы наш пароход направлялся от Пассау на запад, но, согласно плану туристического бюро, он предполагал двигаться на восток, по маршруту Пассау — Вена — Братислава — Будапешт... Ди обрадовалась... хотя я бы на ее месте обрадовался, наверное, чуточку сильнее.

Габриеле и Мартин были немного моложе нас. Они бросились мне в глаза на следующее утро, когда я прогуливался по кораблю. Палуба была залита солнцем, и ничто не напоминало о вчерашней непогоде. В белых шортах и футболках, загорелые, оба спортивного сложения, с уверенными неторопливыми движениями, сдержанными улыбками... — на них будто благословенно отложилась гармония

окружавшего нас идиллического целого, вобравшего в себя голубизну неба и ясность солнца, плодородие зеленых дунайских берегов и радужность мерно текущей реки... Такими я мог представить себе, пожалуй, древних греков, выходявших на состязания в честь своего могучего Зевса. Вообще-то я не склонен к фантазиям подобного рода, но, наверное, перемена погоды и радость начавшегося долгожданного путешествия настраивали меня на столь непривычную волну. Я невольно любовался этой парой и завистливо вспоминал, что ко мне плохо пристает загар, что из всех видов спорта мне более менее знаком только шахматный, что меня периодически одолевают глубокие простуды... И Ди, завершавшая в последние месяцы свою докторскую работу по биологии, выглядела не лучшим образом — бледная, усталая, сильно похудевшая.

Вечером, когда на подходе к Кремсу мы смотрели под открытым небом скучную французскую комедию, я показал Ди эту пару. Познакомились мы на следующее утро, когда почти все высыпали на борт, увидев за окнами своих кают вместо привычного берегового ландшафта темные и сырые стены шлюза. Мартин обладал какими-то сведениями в этой области и охотно комментировал происходящее своей подруге. Мы оказались рядом, и Ди, проявлявшая в подобных случаях всегда удивлявшую меня любознательность, стала расспрашивать его о некоторых деталях шлюзования судна... С тех пор все удовольствия нашего путешествия мы переживали сообща — экскурсии, палубное кино, дискотеку, открытый бар, где легким коктейлем вечерами провожали скатывающееся за горизонт солнце, и тот трюмный бар, куда мы перемещались за полночь и где всегда звучала джазовая музыка, там мы продолжали еще долго пить и танцевать... Мы забыли, откуда приехали и куда должны вернуться, путали дни недели, нашим календарем стало расписанное вперед ресторанное меню, в котором в зависимости от национальной принадлежности тянувшихся за бортом зеленых берегов Дуная чередовались блюда немецкой, австрийской, словацкой и венгерской кухонь.

Мартин был немного молчаливым, уравновешенным и весьма доброжелательным уальнем. Габи — сама эксцентрика, переменчивость и озорство.

«Ой, Клаус, ты совсем подпалил на солнце спину, это почти ожог, позволь я натру тебя кремом, у меня как раз с собой очень хороший. Ди, ну посмотри на своего мужа — кажется, он стесняется...» И минут через пять после того, как я послушно лег на живот и она легкими круговыми движениями начала втирать прохладную пасту в мою кожу: «Ладно, сейчас вы оба умрете от ревности, идите лучше в бассейн, освежитесь...» И когда Ди с Мартином послушно ушли и я, вопреки собственной воле ждал, что ее ладони еще плотнее сольются с моим телом и умножат уже нарастающую внутреннюю дрожь, она нежданно сняла руки с моей спины, нагнулась, и чуть коснувшись губами моего уха, прошептала: «Нельзя так любить женщину, ты погибнешь с Ди...» И тут же села в стороне и как ни в чем не бывало начала просматривать пестрый журнал.

Габриеле не должна была называть мою жену именем, которое существовало для нас двоих; для нее она должна была оставаться Хайди. Однако, услышав мое «Ди», она тут же подхватила его — бесцеремонно, но с дружеской улыбкой, этак непрошено по-свойски располагаясь там, где я предпочитал оставаться с женой только вдвоем.

«Ди! Он у тебя такой внимательный, милый... — это после того, как я принес им в шезлонги мороженое, — давай поцелуем его в обе щеки». И целовала. И смеялась, и все было так непринужденно. И Ди, усмехаясь, следовала ей. Ди была умнее и тоньше, но проигрывала на этом пиру развлечений. Здесь котировались загар и спортивность, наряды и кокетство, а также легкое отношение к жизни, главной проблемой в которой становился выбор между кино, бассейном, баром и дискотеккой. Габи, эта очаровательная маклерша из Кельна, была здесь королевой.

Она уловила мое легкое опьянение и продолжала свою игру с незатейливостью примадонны местного масштаба.

Мы сидели вчетвером в небольшом уютном ресторанчике в Будапеште. Я танцевал с Габи уже второе танго подряд, и она, приближаясь ко мне немного ближе, чем следовало, стала подтрунивать — ты, конечно, никогда не изменял Ди и не изменишь, даже если сама Брижжит Бардо заберется к тебе в постель... Я отшучивался — старуха Брижжит никогда не была в моем вкусе... После танца обе наши дамы удалились в туалетную комнату. Мы о чем-то болтали с Мартином, когда появилась Габи. «А где же Ди?» — поинтересовался я. «Ей стало плохо, — ответила она озабоченно, — зовет тебя». Я опрометью бросился в женский туалет. Ди стояла у зеркала и, напевая, поправляла волосы. Она посмотрела на меня с неподдельным удивлением. «Дверью ошибся», — нашелся я. «Яволь, майн хэрр!» — хрипло заорала подвыпившая толстогрудая венгерка с губной помадой в руках и подмигнула мне.

Остаток вечера Габи плутовато улыбалась, но я с ней больше не танцевал и не говорил. «Прости, хотела проверить скорость твоей реакции», — шепнула она мне на обратном пути. Я молча отвернулся.

«Ну как тебе старуха Габи? — прошептала она, на мгновение оторвавшись от моих губ, — слаще, чем старуха Брижжит?» Я не отвечал, я предпочитал словам поцелуи. «А ты... не такой уж... робкий... как кажешься... — горячо выдыхала она между поцелуями, — скажи, ты... с самого начала этого хотел?»

Пароход по причине густого тумана, расстелившегося вдоль Дуная, давно стоял на якоре. Было уже за полночь. Ди свалилась от усталости и заснула, Мартин остался в каюте с томиком своей любимой Агаты Кристи, открыть который ему не удавалось все эти дни. И только мы с Габи нашли в себе силы последний раз прогуляться перед сном по нашему белоснежному кораблю. Заканчивался последний день путешествия, утром мы возвращались в Пассау. Мы были одни на палубе — в кромешной тьме и сырости. Пароход время от времени стонал протяжными предупредительными гудками...

«Тебе холодно?» — «Нет, что ты...» — «Клаус...» — шептала она. Я не называл ее по имени, я не помнил в этот момент никакой маклерши из Кёльна. В моих объятиях была та древняя гречанка, какой представилась она мне в первую встречу, восторженное дитя солнца и моря, не отягощенная нравоучениями христианства язычница, для которой вождение и чувственность равно освящены богами, как восход светила или морской прибой. Мы были далеко. Туман поглотил небо и звезды, легкая волна плескалась о борт. Мы лежали на дне почерневшей от времени деревянной лодки, и наши ноги путались в пахнущих тиной рыболовных сетях. Весла давно были брошены, нас сносило все дальше и дальше в море. И мы все меньше и меньше понимали, кто мы, где и зачем все это так...

«Яволь, майн хэрр!» — хрипло выкрикнула и подмигнула мне веселая толстогрудая венгерка, и я проснулся. Ди ходила по каюте и собирала вещи. Моего путешествия в древнюю Грецию и позднего возвращения она, судя по всему, не заметила. Я был противен сам себе.

Через два часа мы прощались с Габриеле и Мартином на пристани. У меня раскалывалась голова, я топтался вокруг чемоданов, готовый в любую минуту броситься к машине. Но остальные никак не могли расстаться. Обнимались, пожимали друг другу руки. А потом снова начинали повторять уже не раз сегодня сказанное: путешествие было столь коротким, так грустно разъезжаться, ах, как нам будет вас не хватать, но мы непременно спишемся и в следующем году снова отправимся куда-нибудь — вчетвером. Да не куда-нибудь, а в Египет — на этом сразу сошлись

Мартин и Ди. И тотчас решили, что кроме осмотра пирамид нужно будет обязательно заказать недельное плавание по Нилу. И Габи горячо их поддержала и, стрельнув глазами в мою сторону, добавила: «Интересно, а там бывают такие же густые туманы, как на нашем Дунае? Сегодня ужас что творилось ночью...» Я скорчился от боли: *наш Дунай...*

Что-то произошло при этом. Может быть, я побледнел или покачнулся, тяжело вздохнул или выдал смятение глазами. Не знаю, теперь уж не помню. Но только Ди тревожно спросила: «Ты себя плохо чувствуешь?» И после того, как я промямлил нечто неопределенное про головную боль, обняла и поцеловала меня в щеку. «Я поведу машину, не возражаешь?» — сказала, смутившись всплеска своей нежности, которую никогда, подчеркиваю — никогда прежде, не проявляла на людях.

Почему я не умер там, на пристани?

Сейчас, когда мне остались считанные часы, я могу точно сказать, что та минута была бы самой верной, самой подходящей... Минута стыда и блаженства... Смерть пришла бы как искупление, как разрешение сплетающихся вокруг нас непреодолимых обстоятельств... И на прощание ее поцелуй — роскошный дар нещедрой на нежность природы, сдержанной во всем, что касалось близости и чувственности, способной лишь мягко мне уступать...

Я подхватил чемоданы и, не говоря ни слова и не оглядываясь на Мартина и Габи, направился к машине.

Через два года Ди ушла от меня.

Нет, она ничего не узнала про мою измену. При внешнем взгляде эта история, вообще, не имела последствий в наших отношениях. Но для меня самого она осталась загадкой: можно ли было считать ее случайно вырвавшимся природным инстинктом или отчаянной попыткой самоутверждения в моем неравенстве с Ди?

А она? Чего не хватило ей в нашем браке? Что искала и не смогла она найти во мне? В чем разочаровалась? Могла ли сама себе ответить на эти вопросы?

Но только на мои обычные вечерние расспросы — как провела день, часто ли думала обо мне, не забыла ли зонтик — ведь с утра шел дождь и она могла промокнуть, почему позвонила мне на работу только один раз... — она отвечала все неохотнее и раздражительнее. Я воспринимал ее как часть себя, и любое наше размежевание в пространстве создавало психологический дискомфорт, а порой вызывало почти физические мучения. «Ты говоришь, что любишь меня, значит должна чувствовать что-то похожее», — мысленно упрекал я ее и повторял про себя незамысловатую рифму:

... Tag aus, Tag ein
Zusammen zu sein...⁴

Я торопил ее с окончанием докторской работы — ведь мы собирались после этого, наконец-то, завести ребенка. Мне очень хотелось, чтобы мы зажили настоящей семьей, хотя в глубине души и опасался, что Ди еще больше отгородится от меня, полностью сосредоточится на младенце. Но ведь это бы сильнее привязало ее к дому, к семье, и, возможно, помогло бы мне навсегда похоронить затаенный страх перед бродячими музыкантами и заезжими французами.

Несколько раз она уезжала на научные форумы или по иным делам, связанным с её научной работой. Из последней поездки в Бремен вернулась задумчивой, молчаливой. Два дня ходила по дому сама не своя. Наконец, решила: «Нам нужно серьезно поговорить...» — «Бременские музыканты?» — перебил я ее. Она благодарно улыбнулась: «Да, только на этот раз все серьезней...» Он оказался ее науч-

⁴ Дословно: изо дня в день быть вместе (нем.)

ным коллегой, талантливым, обаятельным, давно и, конечно, пламенно в нее влюбленным... Я смотрел на нее неотрывно и не слушал. Мне было слишком больно.

Я собрал все подсвечники в доме, расставил их в спальне, зажег свечи и лег в постель. Так провели мы когда-то нашу первую ночь, и мне казалось тогда, что кровать, обрамленная светящимся кружевом, плавно скользит по Дунаю...

Теперь я лежал один, и кровать медленно превращалась в наскоро сколоченный из серых досок гроб. Мне сразу стало холодно и одиноко. Язычники-греки с каменными лицами произнесли надо мной непонятное заклинание и безучастно и неторопливо поставили гроб на плот. Старший из них, тот, что был с багром, спихнул плот в мутные воды реки, и в ореоле множества мерцающих огоньков я поплыл по Дунаю — по местам мне неизвестным, потом мимо «нашего» берега, где было совсем пустынно и откуда мне никто не помахал рукой, и дальше — через Пассау и земли Дунайской монархии...⁵ Никто не обращал на меня внимания, последняя надежда оставалась на Будапешт, где я имел единственного друга — веселую полногрудую венгерку с хриплым голосом, но и она не вышла на берег Дуная, чтобы крикнуть мне на прощание свое «Яволь, майн хээрр!» Я никому не был нужен...

Кажется, я сильно опьянел, иначе, откуда бы взяться на Дунае грекам, да еще и язычникам?

Но самым страшным стали вечерние возвращения домой. Каждый раз...⁶

Тот, кто управляет судьбами, может тоже ошибиться — в его руках миллиарды нитей...

... теория...

1. Эрос — страстная любовь-увлечение, стремление к полному физическому обладанию;
2. Людус — гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства;
3. Сторге — спокойная, надежная любовь-дружба;
4. Прагма — рассудочная, легко поддающаяся сознательному контролю, любовь по расчету;
5. Мания — иррациональная любовь-одержимость, для которой типична неуверенность и зависимость от объекта влечения;
6. Агапе — бескорыстная любовь-самоотдача.

Я — взболтанный коктейль *эроса, мании и агапе*.

Ди — *людус*?

Но как бы то ни было, мы с Ди хотя бы несколько месяцев, несколько дней, несколько часов или — ну пусть всего несколько минут — были гармоническим целым. Мы сошлись с ней легко и радостно, и в нашем единстве Ди изначально была *агапе*. Такие вещи не должны растворяться в речном тумане, где можно потерять контроль над своими животными инстинктами... Такие вещи должны выживать, иначе этот чертов мир не стоит ни-че-го!

Если единый поток разделить на два рукава, то рано или поздно они снова сольются вместе — в речном ли русле или в морском водоеме.

Она открыла своим ключом квартиру, вошла и молча стала развешивать в шкафу свою одежду. Мы не обсуждали случившегося, мы ничего не говорили про прожитые врозь годы, нам не нужны были ни слова прощения, ни новые клятвы верности. Разве это не в порядке вещей, когда разделенные потоки вновь сливаются в единое целое?

⁵ Одно из названий бывшей Австро-Венгрии.

⁶ Часть текста густо зачеркнута, тут же вклеен листок с записью, представляющей, судя по всему, выписку о психоэмоциональных стилях из труда по сексологии.

Мы стали просто жить дальше.

... Tag aus, Tag ein
Zusammen zu sein...

Но ничто на свете почему-то не бывает вечным. Годы прошли, и она умерла. И совсем не глупая полицейская ищейка с серьгой в ухе, кажется, уже на верном пути. Она уверена, что преступников-невидимок на свете не бывает. Значит, и мне пора. Осталось только написать записку, что фрау Плех не несет никакой ответственности за то, что, воспользовавшись нашей многолетней близостью, последнее время я часто засиживался у нее в провизорской.

Баварско-швабский дунайский ландшафт — это река и широкая зеленая полоса от Ульма до Нойбурга; раньше там был лес.... Там еще стоят привлекающие внимание могучие дубы. На них гнездятся серые цапли и коршуны. Даже редко встречающихся бобров можно найти на реке.

(Александр Хальмаер, 1922.)

Скоро я увижу Ди. Я знаю, где ее искать... Там, над Дунаем гнездятся серые цапли и коршуны... На ней непременно будет легкое сиреневое платье и белая шляпа с широкими полями...

Прочитав рукопись, я был в полной растерянности. По моим подсчетам, прошло уже лет десять со времени смерти автора. Непонятно было, как тетрадка не попала в руки полиции. Неясно было также — поняла ли полиция, что вообще произошло. В рукописи упоминались подлинные фамилии действующих лиц, и я стал искать сестру покойной — Марту, надеясь, что она еще жива. Опускаю подробности моих поисков, скажу только, что разыскал ее в одном из домов престарелых в окрестностях Тегернзее. После предварительного звонка я отправил туда почтой синюю тетрадку и уже было отчаялся получить ответ, как пришло письмо.

«Мне потребовалось немало времени, — извинялась она, — чтобы пережить всю эту историю, придти в себя и найти силы для ответа Вам. Бедная Ди и несчастный, несчастный Клаус... Глубоко раненный, глубоко преданный...

Вас, конечно, поразит то, что я напишу. Но правда состоит в том, что Ди умерла от сердечного приступа. Это, действительно, произошло вечером на прогулке, на скамейке, недалеко от дома, но совсем не в Мюнхене, а в Бремене, где все эти годы она жила со своим вторым мужем. Никто на нее не нападал, и к Клаусу она никогда не возвращалась, да они и не виделись, кажется, ни разу со времени их развода. Разве что обменивались поздравительными открытками к рождеству и дням рождения. От второго брака у Ди осталась взрослая дочь, которая учится в Гумбольтовском университете в Берлине.

Клаус всегда был мне по-человечески симпатичен, мы изредка перезванивались, навещали друг друга. От меня не ускользнуло, что к нему похаживает соседка-аптекарьша, но я уверена, что эта связь никогда не задевала его глубоко. И перечитав присланные Вами записки, еще раз убедилась, что он всю свою жизнь любил только Ди и жил мыслью о ней. И смерть ее, как видите, пережить не смог...

Мне было очень тяжело сообщить ему, что Ди умерла. Он долго молчал, потом поблагодарил за звонок и повесил трубку. Через месяц по тому же телефону я услышала голос рыдающей фрау Плех: Клауса больше нет... отравление... медикаменты из ее аптеки...

Я не в силах дать объяснения этим запискам, что написал он после смерти Ди, — о том, будто она вернулась, жила с ним и особенно об этом жестоком убийстве... От всего этого у меня до сих пор стынет в жилах кровь... Может быть, менее близкие и пристрастные поймут в этой истории больше, чем я.

Мои больные ноги и общее состояние едва ли позволят мне в ближайшее время добраться до Мюнхена, и потому хочу воспользоваться случаем и обратиться к Вам с просьбой: не будете ли Вы так любезны положить при случае от моего имени несколько цветков на могилу Клауса. Он лежит на Восточном кладбище, в самом конце четырнадцатой аллеи. Надеюсь, что он уже понят, прощен и успокоен».

2004

ФРАГМЕНТЫ

(из книги «Почтовая лошадь»)

СТРАННОСТИ ПЕРЕВОДА

Человек-невидимка

В стихотворном переводе немало странностей и парадоксов.

У переводчика должно быть столько мироощущений, столько различных вдохновений и темпераментов, скольких он переводит поэтов.

Переводчик должен сочетать в себе два полюса: полюс благоговения перед подлинником и полюс смелого, даже дерзкого отношения к нему. В часы работы, скажем, над переводом Шекспира (и только в эти часы, иначе переводчика справедливо сочтут умалишенным) он обязан чувствовать себя поэтом несколько не меньшим и даже чуть большим, чем Шекспир. И верить в это всем существом, как актер верит во время спектакля, что он Гамлет или Баба Яга.

Книги переводчика могут занимать длинную полку, но это не его книги. Это книги авторов, которых он переводил. А сам переводчик — человек-невидимка. Его как бы нет.

Лозинский и Маршак

В молодости мне посчастливилось видеть двух первостатейных переводчиков поэзии, совершенно противоположных по судьбе, образу жизни, складу, темпераменту и почерку — Лозинского и Маршака. Я не только учился на их переводах, я видел их живыми и говорил с ними. Мог сравнивать.

Лозинский, один из последних мамонтов великой книжной культуры, по нездоровью пленник квартиры, был человеком сдержанным. Маршак всегда находился в гуще литературной жизни, он по своей природе был организатором, оратором и полемистом.

Оба они были великими работниками и великими мастерами стиха. Но если Лозинский, опять-таки по нездоровью, овладевал глубинами русского языка через книгу, через литературу, то Маршак в молодые годы, во время странствий, побывал в стихии живого языка — и русского, и английского. Недаром он так охотно пел народные песни. Александра Николаевна Якобсон рассказывала мне, как они с Маршаком обменивались песнями: она ему пела сибирские, а он ей — английские, шотландские и поморские.

Вернувшись с литературного собрания, на котором Лозинский читал свои переводы Леконта де-Лиля, Александр Блок записал: «Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилев считает его переводчиком выше Жуковского».

Переводы Лозинского необыкновенно близки к подлиннику. Прежде чем приступить к переводу, Михаил Леонидович проделывал большую исследовательскую работу, изучал эпоху, ее вкусы и пристрастия, жизнь и творчество автора, его стиль. Но этот строго научный подход имел и обратную сторону: некоторые переводы Лозинского академичны, лишены непосредственности. Но лишь некоторые. Что касается их подавляющего большинства, достаточно вспомнить известные слова Ахматовой: «Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод “Гамлета” темен, тяжел, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане. Одновременно с “Гамлетом” и “Макбетом” Лозинский переводит испанцев, и перевод его легок и чист. Когда мы вместе смотрели “Валенсианскую вдову”, я только ахнула: “Михаил Леонидович, ведь это чудо! Ни одной банальной рифмы!” Он только улыбнулся и сказал: “Кажется, да”».

В архиве Лозинского есть письма Пастернака. В одном из них Борис Леонидович пишет, что, конечно, не стал бы переводить “Гамлета”, если бы знал, что за перевод уже взялся Лозинский.

Перевод «Божественной комедии» — это подвиг без страха и упрека, высочайшая переводческая вершина. Он навсегда такой вершиной и останется. Но окончательного перевода не бывает, потому что вместе с обществом развивается и обновляется язык, развивается литература, а значит, открываются новые возможности. Придет и новый гениальный переводчик Данте. И нужно, чтобы он знал о том, что однажды сказал академик Владимир Федорович Шишмарев, в романстике некоторым образом учитель Лозинского. Смысл его слов следующий: Лозинский сделал свое дело превосходно, но если стихия возвышенной поэзии обрела в переводе полный голос, то стихия народности, высокая простота подлинника оказалась приглушенной. А именно в равновесии этих двух стихий и заключается стилистический феномен «Божественной комедии». Шишмарев сказал это в вечерней беседе за чашкой чая художнику Василию Адриановичу Власову, своему зятю, а Василий Адрианович пересказал мне.

Лозинский скрупулезно следует подлиннику. В переводах Маршака, напротив, есть отступления от подлинника, доходящие до полного произвола. Но не нужно торопиться с обвинениями. Человек живет не в воздухе, а на земле, в данных эпохой обстоятельствах.

В двадцатые годы, в огромной стране, где только-только началось массовое приобщение к мировой культуре, Маршак был первооткрывателем. Эту трудную задачу он выполнял великолепно.

Хорошо помню дни, когда в магазинах и библиотеках появились сонеты Шекспира в переводе Маршака. Это была эпидемия, повальное читательское заболевание. Сонеты читали с эстрады, переписывали друг у друга, днем держали на рабочем столе, а ночью под подушкой.

Переводческие вольности Маршака возникали по трем причинам.

Первая причина в том, что Маршаку, мастеру формы, не дано было стать большим поэтом. Его прикладная поэзия (стихи для детей, переводы) обрела бессмертие, а стихи для взрослых прочно и справедливо забыты. Отсюда главная ставка на мастерство, на совершенство формы. Но форма может стать деспотом. Я уже писал о том, как хорошо это понимал Пушкин: чем значительнее была тема, тем дальше он отстранял всякую виртуозность. Пушкинские рифмы «истлевать — почивать — играть — сиять» или лермонтовские «блестит — говорит» трудно себе представить в переводе Маршака, они слишком неприятны. А ведь это рифмы двух стихотворений-шедевров: «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и «Выхожу один я на дорогу».

Вторая причина — многолетняя редакторская работа в советском детском издательстве. Усилиями Маршака рукопись пришедшего в издательство автора совершенно меняла вид, преображалась, становилась толковее, лапидарнее, афористичнее. Это было правильно и необходимо при работе с литераторами небольших дарований или с бывалыми людьми — не-литераторами, которых Маршак убедил рассказать детям о своей профессии, а по существу написал книги за них. Но привычку к редактуре Самуил Яковлевич невольно переносил и на переводы. В страстном стремлении помочь новому массовому читателю, Маршак последовательно убирал всякую недосказанность и загадку. Самые разные поэты высказываются в его переводах с математической четкостью. Как будто стихи верующих переводит атеист.

Читаю перевод Маршака, и кажется, что страница светится ровным ярким светом. Но беру подлинник — и вижу, что световая палитра в нем совсем другая. Там есть и тени. Свет и тени помогают друг другу.

Если выставить великим поэтам школьные оценки за стихотворную форму, оценки эти будут неровными — то пятерка, то тройка, а то и двойка. Великие поэты — это живые люди, а не безукоризненные отличники, за что мы их и любим. А стихотворная форма переводов Маршака — всегда на круглую пятерку. Не просто отличник, а гордость школы. У великих поэтов форма незаметна, она не отвлекает внимания. Форма переводов Маршака ревниво, чисто по-женски требует к себе восхищенного внимания от первой строки до последней. При вольном обращении с подлинником нетрудно сделать перевод эффектным. И переводом Маршака действительно восхищаешься — пока не положишь рядом подлинник.

И, наконец, третья причина.

Как любой писатель того времени, Маршак работал под жестким идеологическим давлением. Иностранец либо должен был соответствовать примитивным социальным схемам советской идеологии, либо его не издавали вовсе. Маршак пробивался через цензуру, как через кусты шиповника, и на этих кустах сплashed и рядом оставались частности — лишь бы донести до читателей целое. В балладе «Король и пастух» король требует, чтобы пастух сказал, сколько он, король, стоит. Из безвыходного положения, — что ни скажи, всё мало, — пастух находит замечательный выход. Он говорит, что Спаситель был продан за тридцать монет, и, значит, цена короля — двадцать девять. На это королю нечего возразить. Но баллада печатается в двадцатые годы, и цензура не пропускает упоминания о Спасителе. Маршак находит замену:

Пастух королю отвечает с поклоном:

«Цены я не знаю коронам и тронам,

А сколько ты стоишь, спроси свою знать,
Которой случалось тебя продавать».

Выход найден великолепный, но ушел библейский образ, а вместе с ним и мироощущение баллады.

Случай с королем и пастухом — один из многих компромиссов Маршака. Эти компромиссы были неизбежны, как неизбежны они, например, в политике — вообще всюду, где идет активная борьба. Лозинский на такой компромисс не пошел бы, он просто отказался бы от перевода. Он писал о главном принципе стихотворного перевода: «То же содержание в той же форме, насколько это позволяет достоинство русского стиха». Можно сказать, что он считал подлинник духовным завещанием ушедшего из жизни поэта, а себя — его душеприказчиком. Духовное завещание следует исполнить в точности.

Пришлось и мне иметь дело с цензурой — в лице директора издательства, известнейшего перестраховщика. Он долго не подписывал к печати готовую рукопись перевода баллад о Робин Гуде, и я никак не мог понять, в чем дело.

— Книгу нужно открыть балладой, в которой английский народ давал бы социальную оценку поведению Робин Гуда, — объяснили мне наконец. — Поищите, может быть, есть такая баллада.

— А без нее никак нельзя?

— Никак.

Вот когда я хотя бы отчасти понял, каково приходилось Маршаку в демоническом кругу политруков, цензоров и педологов. Разумеется, найти разъяснительно-социальную балладу было невозможно, — народ такими глупостями не занимается. Делать было нечего, и я написал к будущей книжке вступительные стихи:

Хоть вы не знаете меня,
А я не знаю вас,
Друзья, садитесь у огня,
Послушайте рассказ.

Далее говорилось, что Робин Гуд грабил богатых, а награбленное раздавал бедным, — и прочее. Рукопись пошла в набор. К стыду моему, это вступительное подобие баллады попало в хрестоматию по истории для шестого класса и вообще пользовалось нежной любовью лиц, ответственных за идеологию.

Самуил Яковлевич знал мои работы, вместе с Анной Андреевной Ахматовой рекомендовал меня в писательский союз. Но, кажется, я так и не сказал ему, что именно книга его переводов «Вересковый мед» указала мне жизненный путь.

При первой встрече я читал ему переводы баллад о Робин Гуде. Побаивался, не приревнует ли Маршак любимую область своей работы — английскую балладу. Но он принял переводы великодушно. Сказал, что переведено так, словно прежде никто этого не переводил (две баллады о Робин Гуде в переводах самого Маршака я знал с детства), сняты все переводческие наслоения.

Не однажды я переводил то, что перевел он. Фольклор, народная песня и всё, что за многие века выросло из них в поэзии, — стержень переводческой работы Маршака. Как раз всё это я и люблю больше всего на свете.

С малых лет я постоянный и верный читатель Маршака. Переводя сонеты Шекспира и ведя трудный творческий спор с Самуилом Яковлевичем, я радовался его удачам, а если попадался неудачно переведенный сонет, я с досадой думал, что, должно быть, что-то помешало его работе. В жизни Маршака было немало горьких дней: политическая травля, потери близких людей, тяжелые болезни. Сама смерть его была трудной, мучительной.

Истина в переводе лежит где-то между Лозинским и Маршаком.

СОВСЕМ ДРУГОЙ ШЕКСПИР

Раннее знакомство

Трагическим было мое первое соприкосновение с Шекспиром. Блокада Ленинграда. Девятилетний изголодавшийся мальчик, остриженный наголо, чтобы не заедали вши, горбится перед печкой-буржуйкой. На креслах лежит иней, дров нет. Приходится топить печку бумагой, вырывая лист за листом из очередного тома какого-то роскошного собрания сочинений. Бледнозеленые переплеты с золотым тиснением, множество иллюстраций - короли, знатные дамы, шуты, пажи. Толстая слоновая бумага горит долго. Это Шекспир в издании Гербея.

Театр и литература

Гениальность Шекспира — это полюс его несходства с людьми. Но был, по счастью, и полюс сходства: ему пришлось жить, как все, упорным трудом пробивая себе дорогу. Он избрал трудный и беспокойный путь театрального предпринимательства и изнанку жизни познал досконально.

Шекспир был человеком театра, а не литературы. В Англии его времени положение писателя было куда выше, чем положение драматурга. Драматург писателем не считался, он был членом театральной труппы и был обязан писать две пьесы в год, с неперменным условием, чтобы они имели успех у публики. Если пьес или успеха не было, драматурга прогоняли и брали другого, побойчее. Литература связана с печатным станком, а театр Шекспира боялся этого станка как огня. Если на спектакль пробирался стенограф, списывал пьесу с речей актеров, а потом ее издавали пиратским образом, публика переставала ходить на спектакли. Труппа могла прогореть. Стенографов в театре Шекспира высматривали, вытаскивали из театра и били с большим усердием.

Авторство

Кто бы что ни говорил о том, что малограмотный актер не мог создать шекспировское наследие, для меня автором этого наследия навсегда останется актер Шекспир. Дело в том, что Шекспир творил не один. За ним стояли его учителя, а он умел находить учителей и брать от них знания. Обаяние шекспировского гения было неотразимо, и с Шекспиром охотно дружили самые разные люди — философы и купцы, принцы крови и служанки, воины и искатели приключений.

Он и она

В сонетах Шекспира, как два облака в реке, отразились необыкновенно сильная любовь и необыкновенно сильная дружба.

В эпоху Возрождения на любовь смотрели как на что-то само собою разумеющееся, свойственное человеку от природы. Иное дело — дружба, величайшее завоевание человечества. Но у дружбы не было собственной галантной терминологии, и она взяла ее у любви. Излияния дружбы были красноречивы и многословны. Никого не удивляло, что в переписке двух философов встречались комплименты не только изяществу логических построений, но и прекрасному цвету лица адресата. Шекспир подхватил общепринятые излияния дружбы и довел их до крайнего художественного предела.

Время шло, менялся стиль отношений между людьми. Новым поколениям страстный восторг Шекспира перед физической красотой его друга начал казаться умеренным, а там и привел к обвинению автора сонетов в безнравственности. Шекспир был заботливым отцом троих детей, великим тружеником и великим поэтом, прекрасно понимавшим, в какой чистоте нужно содержать духовное хозяйство. Но для мещанского сознания возможность приписать гению какой-нибудь порок обладает такой же манящей прелестью, как тухлое мясо для рака.

Три предположения

Шекспировские сонеты ни в чем не напоминают целостно задуманного литературного произведения. Например, такого, как «Божественная комедия» Данте, гениальный замысел которой облечен в математически выверенную форму. В сонетах Шекспира нет ни общего замысла, ни композиции. Это нечто среднее

между дневником и пачкой писем. Переставив местами сонеты, можно получить любовную повесть со счастливым концом. А можно сделать конец трагическим, опять-таки переставив сонеты.

Что касается формы, то Шекспир выбрал не изощренный итальянский сонет с его ста пятьюдесятью правилами, а сонет английский, много проще. Но и упрощенные законы нарушал, когда и где хотел.

Странная это была рукопись - строптивая, полная всяческих противоречий, хаотическая. Впрочем, рукопись до нас не дошла.

Первое издание сонетов вышло в 1609 году, без ведома автора. Второе издание было уже посмертным.

Здесь мы вступаем на зыбкую гадательную почву трех предположений.

П е р в о е п р е д п о л о ж е н и е: далеко не всё, что входит в книгу сонетов Шекспира, принадлежит перу Шекспира. А если и принадлежит, то не должно было войти в книгу. Если внимательно прочесть хотя бы 126, 145, 153 и 154-й сонеты, легко усомниться в их принадлежности. 126-й — даже не сонет, а просто шесть двустиший банального содержания. 145-й — легкомысленная песенка, сочиненная не пятистопным, как все сонеты, а четырехстопным ямбом. Такую песенку, впрочем, мог бы спеть какой-нибудь Дромио из «Комедии ошибок», но не шут: для шута она слишком пуста. А 153-й и 154-й — вялые вариации на мифологическую тему, ровно ничего не прибавляющие к остальным сонетам. То, что эти четыре пустяка должны числиться сонетами Шекспира, оскорбляет его память.

Семнадцать сонетов, открывающие книгу, объединены одной темой: Шекспир убеждает своего друга, человека физически очень красивого, произвести на свет потомство — тогда красота друга не умрет для человечества. Но отчего же в этих комплиментарных сонетах слышатся горькие ноты? Отчего, желая победить упрямство друга, Шекспир доходит до оскорблений?

В т о р о е п р е д п о л о ж е н и е: семнадцать сонетов, открывающих книгу, связаны со смертью сына Шекспира — Гамнета. Сонеты сочинялись с 1592 по 1598 год. Гамнет умер в 1596 году, одиннадцати лет от роду. Это была не только трагедия отца, усиленная тем, что отец этот был великим поэтом, то есть человеком с обнаженными нервами. Это была и философская катастрофа. Смерть незаконно, раньше времени, унесла юное существо, и в мире образовалась черная дыра несправедливости. В безвыходном положении Шекспир нашел выход: у близкого по духу и прекрасного по физической природе человека должен родиться сын! Тогда черная дыра закроется, несправедливость получит отпор. Слово «сын» повторяется в шестнадцати сонетах, «дитя» упоминается в одном, а «дочь» — ни разу. Гамнет стоит у отца перед глазами. Но если это так, то совсем по-другому должна звучать и музыка первых семнадцати сонетов. Говоря музыкальными терминами, это вовсе не *dolce* (нежно, сладостно), к которому нас приучили переводчики, а скорее *ostinato* (неотступно), доходящее до *furioso* (страстно) и даже грозного *imperioso* (повелительно, властно) всего оркестра.

Т р е т ь е п р е д п о л о ж е н и е: сонеты содержат постороннюю правку. От этого предположения не уйти, и от него по-настоящему холодеешь. Издатель мог взять в руки перо, или найти перо наемное, и внести в сонеты любые угодные ему изменения. Конечно, рука Шекспира видна сразу (как сказано у Пушкина, «Он по когтям узнал меня в минуту»). Но необычность, нерутинность, непредсказуемость шекспировских средств выражения как раз и истончает защитные стенки. Говоря, так сказать, юридически, в шекспировских сонетах нельзя поручиться ни за одну строку: свидетельство автора, решающее свидетельство, так до нас и не дошло. Хотя все мы готовы поручиться, что перед нами — величайший образец мировой лирической поэзии.

Переводческая артель

Начиная переводить значительное произведение литературы, переводчик как бы вступает в артель, которая будет вечно расти. Одни участники артели, потрудившись, умерли. Другие живы и работают. Третьи еще не успели заявить о себе или даже не родились. Но это именно артельная работа, в которой старшие помогают младшим своим опытом, а каждое достижение или неудача одного — это общее достижение или неудача.

«Он принадлежит не только своему времени, но всем временам», — сказал о Шекспире Бен Джонсон. По крайней мере раз в столетие Шекспира, как и всю мировую классику, нужно переводить заново. И в каждом отдельном случае ориентироваться не на юбилеи, а на появление человека, который способен прочесть именно это произведение заново, хотя и совершенно объективно. Переводить заново необходимо, потому что время идет вперед, углубляется наше понимание истории, увеличиваются возможности русского языка. Намерение создать окончательный перевод так же нелепо и несбыточно, как намерение остановить время.

Переводчики слышат подлинник по-разному, потому что у них разный слух. Один может лучше передать целое, другой — частность. «Фосс, например, отлично перевел Гомера, но вполне возможно, что кто-то другой воспринял бы оригинал наивнее, правдивее и потому лучше воссоздал бы его для нас, в общем не будучи столь искусным переводчиком, как Фосс» (Гёте в записи Эккермана).

Конечно, участники артели вступают в соревнование, но это увлекательнейшее творческое соревнование на радость читателям. Тараканьи бега мелких переводческих самолюбий существуют лишь на плохом, ремесленном уровне.

Если переводчик не видит удач и промахов своих предшественников, ему лучше не браться за работу. Вдохновенно переводя Шекспира, Пастернак не может избежать собственных неповторимых интонаций и фразеологии, и это слышно сразу. Как будто два произведения двух разных композиторов звучат одновременно, а хочется слушать кого-нибудь одного. Маршак в переводе сонетов стремится к полной гармонии — как раз к тому, чего в подлиннике нет, потому что поэзия барокко драматична и противоречива. Мастер четко организованного стиха, Маршак жертвует любым количеством информации подлинника ради красоты перевода. «Всё то же солнце ходит надо мной/, Но и оно не блещет новизной», — пишет он, и мы восхищаемся музыкой стиха и тем, как мастерски использована русская фразеология. Но это мастерство дорого обходится читателю. Первая строка шекспировского двустушия заняла обе строки перевода, а вторая строка вообще никак не передана. Но главное в том, что неверно передан не просто смысл подлинника, а его мироощущение: «For as the sun is daily new and old, So is my love still telling what is told». («Как солнце каждый день бывает новым и старым, так и моя любовь продолжает говорить о том, что сказано»). Перевод Маршака не оставляет читателю надежды: всё на свете старо, и только старо, даже солнце. А Шекспир, в полном согласии с законами диалектики, эту надежду подает: да, старо, но в то же время и ново. Перевести эти две строки можно, например, так: «Ведь солнце тоже ново и старо,/ Как всё, что пишет о любви перо». Но, даже видя ошибки предшественников, нельзя не помнить, с какой огромной любовью к Шекспиру и с каким мастерством переводили и Пастернак, и Маршак, как много они нашли строк и формулировок, точно передающих строки и формулировки подлинника, как помогли читателю прочесть, понять и полюбить стихи великого английского поэта.

Окончив перевод сонетов Шекспира, я написал посвящение: «Светлой памяти учителя, Михаила Леонидовича Лозинского, посвящается эта работа. Переводчик». Посвящать переводы у нас не принято, но я сделал это, потому что в переводах

сонетов мне удалось, больше, чем в других переводах, приблизиться к переводческим принципам Лозинского.

Имя автора следует писать «Вильям», а не «Уильям». Это злосчастное «Уи» было искусственно навязано в пятидесятые годы, якобы для большей фонетической близости к оригиналу. Близости не получилось, «Уи» нисколько не ближе к английскому «W», чем «В». Зато получился лишний слог, а заодно и некое подобие пороссячьего визга: «Уиии-и...». Чтобы не слышать этого, нужно было быть совершенно тугоухим.

Шекспировский год

Казалось бы, работа такой трудности, как перевод шекспировских сонетов, должна проходить в уединенной благоговейной тишине. Но сразу же выяснилось, что лучше всего переводить эти неудержимые (не подберу другого слова) стихи как раз не за рабочим столом, а где придется. Текст очередного сонета я вклеивал в записную книжку, добавлял к нему список рифм, употребленных в переводе этого сонета Маршаком, — чтобы случайно не попасть в его систему, — и переводил в парке, в очереди за газетой, в гостях, на вокзале, в театре во время антракта — где угодно. В вагоне метро есть два-три места, на которых спокойнее. Например, у самой двери, боком к входящим. Меньше заглядывают в записную книжку — что он там царапает? И все равно заглядывали, толкали, дышали в ухо. И — странное дело — скопление людей не только мне не мешало, но создавало вокруг сонета ощущение полной и трепетной жизни. В метро, переводя любовные сонеты, я часто видел влюбленных и бывал им благодарен.

Утром, берясь за очередной сонет, я понимал, что перевести это невозможно. В середине дня начинало казаться, что возможно, но нужен переводчик гораздо сильнее. К полночи работа бывала готова.

Перевод сонетов занял ровно один год.

1

Потомства от прекрасного мы ждем,
Чтоб не погибла роза красоты.
Пусть отцветет, но в отпрыске своем
Оставит нам знакомые черты.

А ты, в расцвете юных гордых сил
На собственном огне себя сжигая,
Ты изобилье в голод превратил,
Свой худший враг, своя погибель злая.

Ты, мироздания живой венец,
Герольд, провозглашающий весну,
В зародыше всему кладешь конец,
Не покупаясь на скупость лишь одну.

Так жалься! Нашу радость, гордость, честь
Ты и могила — вы хотите съесть.

21

Нет, я не тот поэт, кто увлечен
Фальшивой рукотворной красотой.

Сам небосвод в стихи вставляет он
Для украшения похвалы пустой.

Он сравнивать с возлюбленной готов
Луну и солнце, жемчуга зерно,
Весну в венке из первоцветов-цветов
И всё, что в круг земной заключено.

Пусть будет правдой страсть моя и речь.
Как всякое дитя, моя любовь
Прекрасна, хоть скромнее ярких свеч,
Пылающих на небе вновь и вновь.

Все пышные хвалы — напрасный труд:
Не хвалят то, чего не продают.

97

Так на зиму похожею была
С тобой разлука, друг любимый мой!
В душе такой мороз, такая мгла!
Такой декабрь, отживший и пустой!

А было лето, всё в густой траве,
И осень шла, неся тяжелый груз,
Подобная беременной вдове,
Оплакавшей счастливый свой союз.

Но щедрые дары осенних дней
Казались мне подачкой для сирот:
Ведь без тебя, без прелести твоей
И птица не по-летнему поет.

Она едва свистит, и видим мы,
Как лист бледнеет от шагов зимы.

Heinrich HEINE

ICH WEIß NICHT,
WAS SOLL ES BEDEUTEN

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИКИ РУССКОЙ

Генрих ГЕЙНЕ

ЛОРЕЛЕЯ

Бог весть, отчего так неожиданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?..

Прохладой и сумраком веет;
День выждал весенней поры;
Рейн катится тихо — и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.

Взошла на утесы крутые,
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.

Их чешет она, распевая,
И гребень у ней золотой,
А песня такая чудная.
Что нет и на свете другой.

И обмер рыбак запоздалый,
И, песню слышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда — в высоту...

Мне кажется: так вот и канет
Челнок: ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.

Перевод Льва Мея

И горюя и тоскуя,
Чем мечты мои полны?
Позабыть все не могу я
Небылицу старины.

Тихо Рейн протекает,
Вечер светел без туч,
И блеснит и догорает
На утесах солнца луч.

Села на скалу крутую
Дева, вся облита им;
Чешет косу золотую,
Чешет гребнем золотым.

Чешет косу золотую
И поет при плеске вод
Песню, словно неземную,
Песню дивную поет.

И пловец тоскою страстной
Поражен и упоен,
Не глядит на путь опасный,
Только деву видит он.

Скоро волны. Свирипея,
Разобьют челнок с пловцом;
И певица Лорелея
Виновата будет в том.

Перевод Каролины Павловой

Не знаю, что значит такое,
 Что скорбью я смущен:
 Давно не дает покоя
 Мне сказка старых времен.

Прохладой сумерки веют,
 И Рейна тих простор.
 В вечерних лучах алеют
 Вершины дальних гор.

Над страшной высотой
 Девушка дивной красы
 Одеждой горит золотою,
 Играет златом косы.

Златым убирает гребнем
 И песню поет она:
 В ее чудесном пенье
 Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
 Дикой тоской полонит;
 Забывая подводные скалы,
 Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
 Погибнут среди зыбей;
 И всякий так погибает
 От песен Лорелей.

Перевод Александра Блока

Не знаю, что стало со мною,
 Душа моя грустью полна.
 Мне все не дает покою
 Старинная сказка одна.

День меркнет. Свежеет в долине,
 И Рейн дремотой объят.
 Лишь на одной вершине
 Еще пылает закат.

Там девушка, песнь распевая,
 Сидит высоко над водой.
 Одежда на ней золотая,
 И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
 И чешет их гребнем она,
 И песня волшебная льется,
 Так странно сильна и нежна.

И, силой плененный могучей,
 Гребец не глядит на волну,
 Он рифов не видит под кручей, —
 Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, волна, свирепая,
 Навеки сомкнется над ним, —
 И это все Лорелея
 Сделала пеньем своим.

Перевод Вильгельма Левика

СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА

Сорок лет назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий интересно. Часть этих записей за 1975-1999 годы я решил расшифровать. Так возникла книга «Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».

Стоит ли говорить, что я продолжаю свою стенографию и в новом тысячелетии? Некоторые записи минувшего года показалось небезынтересно расшифровать, сгруппировав их вокруг заголовков и убрав даты.

ХАОС И МУЗЫКА

Открыл по рабочей надобности 3-й том А. Блока и неожиданно зачитался «Возмездием». «Семейную» историю, которую он тут хотел рассказать, я сейчас не вполне воспринимаю, она скорее для прозы, но характеристика времени, девятнадцатого и начала двадцатого века, местами замечательны.

Мандельштам, помнится, говорил, что девятнадцатый век был, может быть, нашим золотым веком. А тут: «Железный, воистину жестокий век» — и дальше по пунктам. «Двадцатый век... Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла».

Это о годах, которые сейчас с ностальгией называют Серебряным веком.

Есть своя правда и в том, и в другом.

Как понять, ощутить свое время изнутри? Оно всегда противоречиво, складывается из радостей и трагедий, из очарования и разочарований, из житейских впечатлений, мелочей и стихийных потрясений. Блок в предисловии перечисляет мелочи, из которых складывалось ощущение времени в 1910-11 годах, когда писалась поэма: смерть Комиссаржевской, Врубеля, Толстого, которые ему показались этапными событиями, убийство Ющинского (дело Бейлиса), необычайная жара, забастовка в Лондоне, «знаменательный эпизод Пантера-Агадир» (пришлось заглянуть в комментарий, чтобы вспомнить: речь шла о заходе германского крейсера в марокканский порт, который вызвал напряжение между Германией и Францией), «расцвет французской борьбы в петербургских цирках», мода на авиацию, убийство Столыпина... «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл».

Стоит подумать. (Правда, когда он пишет, что «выражением ритма того времени... был ямб» — спрашиваешь себя: почему?)

И я ведь, как многие, думаю об ушедшем, двадцатом веке, почти две трети которого прожил подробно, на своей памяти, о действительно новом двадцать первом веке, с новыми угрозами, вряд ли предсказуемым будущим, «новой музыкой». Я думаю об этом, пробуя осмыслить новейшие концепции хаоса. Мне обобщенная концепция пока не дается. Возможно, она сама собой складывается из таких вот разрозненных стенографических записей.

В журнальной статье памяти нобелевского лауреата Ильи Пригожина излагаются некоторые его выводы. «Хаос может быть конструктивен — он порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии». «Вся эволюция органического мира — это диссипативный процесс (диссипация — рассеяние), ведущий к постоянно возрастающей сложности». «Сложность в природе невозможно свести к некоему принципу глобальной оптимальности. В своей погоне за сложностью природа занимает более прагматическую позицию, в которой существенную роль занимает поиск устойчивости». Известно, что модели Пригожина, позволяющие описывать явления и процессы, которые не вписываются в детерминистические представления, приложимы и к физике, и к биологии, и к социологии, и к истории.

В статье «Переоткрытие времени» Пригожин цитирует историка Марка Блока о том, как меняется в наше время понимание истории, о трансформации самого «ремесла историка»: «Как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода». То же самое Пригожин пишет о переменах в самой точной, казалось бы, науке, физике. «Идеи по поводу детерминизма систем... показали после 1960 года свою полную несостоятельность». «По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность».

Профаны пока не осознают и уж во всяком случае не понимают этих еще не вполне ясных, глобальных перемен, но по сути чувствуют, что барахтаются в каком-то непонятном, бурлящем потоке. Есть ли у него направление, можно ли его уловить, хоть в какой-то мере предвидеть? Блок писал о музыке происходящего. Тейяр де Шарден писал о движении к некой точке омега, для него было очевидно, что развитие ведет ко все большему усложнению, и это внушало ему оптимизм.

Я возвращаюсь к мыслям, над которыми давно задумываюсь. Я думал об искусстве как преодолении хаоса — но это не упрощение, если хаос порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии. (Современное искусство — тоже об этом). Я думал, что простая социальная система, вроде коммунистической, может оказаться долговечной, устойчивой — к счастью, ошибся; иначе, видимо, быть не могло. Пригожин (как до него и Тейяр) показывает, что сложные системы устойчивей. Стремление вернуться к счастливой первобытной простоте (которое демонстрируют некоторые фундаменталистские течения) ведет к отсталости. Искать некую единую — объединяющую — систему ценностей (глобальную оптимальность) непродуктивно и невозможно. Приходится устраиваться в этом все более сложном, дифференцированном мире, обживать частный пятачок, не надеясь на всеобщность. Всеобщими могут быть моды, экономические законы, законы природы, наконец. Но даже единая религия вряд ли возможна. А существующие лишь кажутся одинаковыми для всех адептов, всякий находит в общей религии свое.

«Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы» — на ту же тему. Блок еще исходил из того, что «в каждом дышит дух народа». Кто сейчас может так сказать о себе? Не думские же депутаты. Что такое дух, что такое сам народ? Даже руководителям стран лишь может казаться, что они направляют события — история, как всегда, возникает из столкновения разнообразных противоречивых сил. Но общее направление в результате складывается статистически, как в физике оказывается направленным хаотическое мельтешение частиц. Поэт неопределенно говорит о «музыкальном смысле».

Бесформенны ли облака, переменчивые, неуловимые, неопишуемые? Они лишь случайно могут оказаться похожими на понятную форму.

Но есть ли что прекрасней этой бесформенности?

Мы выискиваем в этой бесформенности красоту. Как выискиваем (создаем) смысл в жизни.

СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Заголовок книги Кристофера Лэша «Восстание элит и предательство демократии» отсылает к «Восстанию масс» Х. Ортеги-и-Гассета. По мысли Лэша, сейчас происходит не столько «восстание масс», сколько «восстание элит» — против ценностей, которыми они не так давно дорожили; массы же, напротив, становятся консервативной силой. «Элиты утратили точку соприкосновения с народом». Принцип свободы в культуре и жизни не соотносится с другими принципами: авторитета, традиции, долга, это ведет на путь вседозволенности и цинизма. Каждый имеет право на «свободу для себя». «Сегодня уже невозможно воскресить те абсолютные истины, что когда-то, казалось, давали прочные основания для возведения надежных умственных построений». «Изначальное отвержение авторитетов и объективного порядка ценностей, — пишет рецензент, — превращает культурный процесс (чем дальше, тем больше подминающий под себя религию) в самотек, в условиях которого человек оказывается в слишком большой зависимости от непосредственной окружающей его среды и складывающихся обстоятельств. С ослабленным внутренним стержнем каждый плывет туда, куда его несет, а кто «посмелее», еще и подгребает по течению».

(Мне вспомнился сон из моей повести «Конвейер» — что-то похожее:

«Не надо ничего понимать, только поддаться, плыть куда-то в общем потоке. Движению не требуется даже помогать, шевелиться. Несет и несет, вместе со всеми, дальше и дальше. Плавно. Ни вращающихся колес, ни перемен вокруг, ни шума ветра в ушах — одно лишь чувство движения. Мягкие прозрачные пузыри колыхались рядом. Внутри коричневых вод созревали, улыбались зародыши. Чувство сладкого головокружения. Кругом что-то лопалось, бормотало. Не надо ничего выяснять, и спрашивать некого. Головы возникают среди пузырей, бритые и волосатые, в египетских уборах, чалмах и тюрбанах, рыцарских шлемах и армейских касках...Берега покрыты использованной шелухой. В заводи пахнет тиной или брожением, тут зарождается что-то новое, а задержаться нельзя».)

Западная культура все более терпима к тому, что прежде называлось аморальным и наказуемым. Священники благословляют гомосексуальные браки, в Голландии легализовано употребление наркотиков, в Дании, по сути, узаконена педофилия, родители не возражают против изучения в школах порнографии («надо объяснять детям реальный мир»). Между тем, в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни шведскую парочку (или только женщину), занимавшуюся любовью в автомобиле, на улице. Мусульманский мир противопоставляет Западу свои моральные представления — и все более агрессивно стремится распространить эти представления на весь мир. Похоже, что вырождению, расслабленности и упадку противостоит набирающая силу витальная «пассионарность». Демографическая тенденция работает в ее пользу.

Но не случайно, что этот свободный, разнообразный, все более терпимый мир создает все более процветающую цивилизацию, добивается успехов в науке, технологии, наращивает благосостояние — и, между прочим, подкармливает часть мира, закосневшую в своих представлениях, отвергающую модернизацию, неспособную к ней (не просто в силу исторической ситуации — по внутренней сути).

Вспоминается и другое: морализаторство тоталитарных режимов, которые искореняли проституцию, сажали за гомосексуализм, уничтожали душевнобольных, сжигали вредные книги, запрещали «выродившееся искусство», пропагандиро-

вали «крепкую семью» и т. п. Не буду сейчас обсуждать сомнительность их собственных ценностей, лицемерие, преступную практику.

Надо бы продумать, как соотносится процветание со свободой, многообразием, отказом от традиционных запретов, насколько полноценно существование людей в этой цивилизации, делает ли она их действительно счастливыми — и какие у нее перспективы. Требуется постоянная корректировка, сопротивление хотя бы немногочисленных людей, продолжающих хранить, культивировать и обновлять систему ценностей, необходимых для общего выживания.

Нет общечеловеческой единой культуры, есть множество разных, разобщенных, мало знающих друг о друге культур, национальных, племенных, религиозных. Есть культура примитивных охотников за головами и культура технократического общества. Есть неисчислимое множество мелких и мельчайших субкультур, профессиональных, возрастных, конфессиональных. Субкультура подростковая, молодежная, субкультура спортивных фанатов, субкультура компьютерных специалистов — перечислять можно бесконечно.

Ловлю себя на смущении: возможно ли для такой разногласицы нечто вроде общего интеграла, общего понимание, общий язык? Ответ выглядит, как ни странно, простым. Общее для всех — рождение и смерть, необходимость сохранения и поддержания жизни, а значит, любовь мужчины и женщины (то, что не служит продолжению рода, можно считать отклонением). Общее — болезни, страдания и здоровье. Общее — небо над головой, солнце, звезды. Общая земля во всем ее разнообразии. Интеграл, можно сказать, бытийный — но он же определяет совместимость, взаимопонимание культур.

По поводу моих недавних размышлений о все возрастающей раздробленности, дифференцированности культуры, о невозможности единого понимания. В пришедшем вчера журнале «Goethe/Merkur» несколько статей о новом времени, которое надо принимать, «как оно есть» — именно «как последствие процесса возрастающей дифференциации». Попытки «восстановить разрушенное единство или воплотить в реальность фантазии о единстве», — пишет один из авторов, — основаны на изначальном непонимании того, что «у истоков развития должен быть разрыв, а в его начале — разногласия». «Различные воинствующие движения против нового времени и модернизма едины в своем стремлении запретить именно то, что делает новое время и модернизм столь привлекательными: самокритику и внутренние разногласия, которые являются обратной стороной юмора и комичности».

Да, вот о юморе, самоиронии не надо бы забывать. «Антонимом к насыщенной разногласиями дискуссии является несостоятельность». Именно желание утвердить единую для всех истину можно считать одной из причин исторического отставания ислама и связанного с этим отставанием фанатизма. Истовая, мрачная серьезность бывает убийственной. Александрийская библиотека была сожжена по приказу правителя, заявившего, что миру достаточно одной книги — священной. Европа, еще недавно прозябавшая по сравнению с цветущим арабским миром, переживала тем временем Возрождение с его географическими открытиями, новым представлением о космосе, переосмыслением мира, расцветом науки, техники, разнообразных искусств. В современной исламской культуре невозможно самокритика; попытки свободомыслия, переосмысления, переоценки ценностей и догматов подавляются весьма жестоко, «еретика» могут убить. Вместо открытого будущего — ориентация только на прошлое.

Развитие современного мира все более проблематично, чревато угрозами и риском — но без проблематичности, без риска не было бы развития. Остановить его нельзя, можно и нужно лишь корректировать, постоянно разрешая все новые

проблемы, находя себе место в разрастающемся, необъятном разнообразии. Каждый в отдельности может и должен противопоставлять неприемлемым представлениям свою, выработанную пожизненным усилием систему ценностей — так поддерживается доброкачественность живого, многоэлементного, самонастраивающегося процесса. Но не может быть возврата к утраченной простоте, строгости нравов и пр. Попытки реализовать инфантильные, «идеальные» утопии оказываются губительными (так возникали тоталитарные режимы). Серьезность без иронической поправки, без открытости диалогу делает человека ограниченным, закостенелым; в худшем случае самые добрые намерения могут обернуться фанатизмом.

Прочел рассуждения бойкого журнального автора о свободе — и мысленно противопоставил им слова Мандельштама о подчинении «организующей» идее: в награду за абсолютное подчинение она дарит личности абсолютную свободу. Мне эта мысль казалась важной, я цитирую ее в эссе «Определения свободы» вместе со словами Франка: только служа Богу и подчиняясь ему, человек осуществляет свою свободу.

И вдруг устами мысленного оппонента с усмешкой себе возразил: но не так ли могут сказать о себе нынешние исламские фанатики, готовые взорвать себя вместе с десятками неповинных людей ради служения своей идее, своему Аллаху? Это, значит, свобода?

Надо еще подумать.

Надпись на бетонной ограде у железнодорожных путей:

Мой папа Аллах, а мама овца,
Хочу довести я ваш мир до конца.

ШУМ ВРЕМЕНИ

Несколько дней, проезжая, наблюдаю за разборкой мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница». Сначала без голов, потом без рук, на фоне вечернего неба, она обретала черты все более значительной, по-настоящему современной пластики. Сейчас от женщины осталась только нижняя часть. Фантастическое зрелище.

Файбусович написал мне, что в Мюнхене обсуждали его книгу «Миф Россия»: насколько она сохранила актуальность? Книжка вышла по-русски в 86-м году, по-немецки еще раньше, т. е. лет 20 назад. Я ее прочел году в 88-м, высоко оценил, при этом некоторые ее положения показались мне самоочевидными, некоторые теряющими актуальность. После 91-го года показалось, что этот миф вообще все больше становится достоянием истории. Сейчас взял полистать — увы, тематика неожиданно возвращается, самоочевидные вещи приходится повторять.

Позавчера по ТВ Явлинский излагал тезисы своей новой книги «Периферийный капитализм». (Уже сбивается память: может быть «Провинциальный капитализм»? Так не хуже). Главный тезис: в России происходит *рост без развития* так же, как в странах третьего мира. Развитый мир интересуется не цена, не количество, а качественное содержание, интеллектуальная насыщенность (это уже мой пересказ), высокие технологии и т. п. Развивающиеся страны обречены остаться развивающимися навсегда. Лет 15 назад Файбусович говорил мне, что так думают на Западе о России. Явлинский, как я понял, считает, что шанс прорваться еще есть, хотя время уходит. Но это проблема комплексная: развитие невозможно без демократической организации общества, без независимого суда, независимого парламента и т. д. Вещи, в общем, тоже известные, но сформулировано с убедит-

тельной четкостью. Рост без развития — эта формула должна быть воспринята, принята к сведению — если люди у власти заботятся о перспективе.

Безрадостное чувство. Меня это уже не так близко касается, доживу в этой стране. Что придется решать детям? По ТВ показывали украинскую новинку: местного производства мобильный телефон размером с видеокассету. Работает. Можно считать символичным. Не говорю о крайностях: в одной передаче показывали человека, который живет на отшибе, не моется тридцать лет (камера показывала: буквально заросший грязью, наверно, и пахнет от него), дает этому какие-то обоснования; питается картошкой с огорода и свекольным отваром, который заготавливает на зиму; хлеб ему приносят из соседней деревни. Может, и в других странах есть такие особи, не знаю.

Один участник теледискуссии сказал, что в Нигерии столько же лауреатов Нобелевской премии по литературе, сколько в России. Надо проверить.

Вчера по ТВ думский депутат, отвечая на вопрос об аресте миллиардера Ходорковского, сказал: все естественно, состоялся термидор, начинается реставрация. Я усомнился в своей памяти: почему такое сравнение? Взял с полки три книги Манфреда о французской революции и Наполеоне, полистал... Нет, конечно, аналогии всегда относительны. Термидор, как и революция до него, — это было все-таки непрерывное гильотинирование. Но я зачитался некоторыми подробностями, характеристиками. Из чего складывается история! Из благих намерений, корысти, бессилия и насилия, нелепостей и подлостей, лжи и жестокости. Если бы в самом деле можно было без этой истории обходиться, покончить с ней, хотя бы думать о чем-то более достойном! Но ее подробности оказываются подробностями нашей жизни.

В «Новой газете» открытое письмо президенту, где ему задаются очень резкие вопросы по поводу Чечни. Почему никак не закончится война, не начинаются переговоры, пропадают бесследно деньги?.. Вообще газета полна самых мрачных оценок и предсказаний неизбежной «третьей чеченской войны». Опровергнуть ничего нельзя, подтвердить может время (или достоверная информация). Но ощущение от многого бывает противноватое.

А вечером телевизионные новости усугубили чувство тоскливой пустоты. Краснодарские коммунисты затеяли сбор средств на поддержание мумии Ленина в надлежащем состоянии. Художники-концептуалисты устроили на водохранилище свой сбор Клязьма-арт. Один раскрасил стволы берез краской, другая одел стволы в национальные наряды, это должно что-то значить. Целая группа художников открыла фестиваль акцией: из трусов вылетели вверх петарды. Певица Мадонна с подругами устроили сенсацию: целовались на эстраде, изображая из себя лесбиянок. В Москве проходит фестиваль северокорейского кино, на экране медсестра скальпелем убивает врага, остальных раскидывает приемами восточных единоборств. Зрительницы, московские кореянки, с умилением вздыхают о Ким Ир Сене: какой он был человечный, какой добрый! Кореянки участницы фестиваля рыдали в истерике: плакат с изображением их вождя был повешен слишком низко и не очень ровно, это было для них оскорблением. Американцы ведут с Пхеньяном переговоры, убеждают корейцев не создавать атомную бомбу, те ставят условия: вот если заключат договор, окажут экономическую помощь... Исполнилось 80 лет знаменитой блатной песенке «Мурка», сейчас ее исполняют в стиле рэп. Автобус врезался в грузовик, много погибших. Новый молодой чемпион мира никак не хочет встретиться с Каспаровым, объявили новый турнир. Когда-то во время матчей по ТВ показывали и комментировали шахматные партии, сейчас интересуются только скандалами, гонорарами, в шахматы, кажется, никто не играет, я даже имени этого чемпиона не запомнил. Что было еще? Наш президент приехал в Италию. В Челя-

бинске осквернили мусульманское кладбище. Очередное убийство в Дагестане. Вот новости дня, о которых сочли нужным рассказать. Странная какая-то психология больных, полудиотов — такое нагнетается ощущение.

По ТВ отмечали юбилей покойного Че Гевары. Говорили о легендарной личности, о необыкновенном человеке, который не стал нежиться на пуховиках, достигнув вершины власти, почестей и благополучия, отправился сражаться дальше, в Боливию, где и погиб. Человек, у которого можно поучиться желающим жить яркой, активной жизнью. За что сражался Че, что хорошего сделал для боливийских крестьян, вообще для всех — всерьез не обсуждается. Известно, что натворили его сотоварищи с Кубой, откуда с риском для жизни люди пытаются до сих пор убежать. Может быть, счастье, что он не успел натворить большего.

Объяснить это поклонникам, надевающим значки и майки с изображением культового революционера, бесполезно. Не содержание важно, существенна потребность, запрограммированная в крови, в генах определенного процента не перебродивших молодых людей. Как определенный процент людей неизбежно будет воспроизводить склонность к насилию, буйствам, преступлениям. (И человеческому обществу, наверно, нужны клапаны разного рода, чтобы спускать избыточное давление).

Нас в свое время учили восхищаться революционерами — но теоретически. Самим — ни-ни.

На эскалаторе метро к каждому светильнику приклеено по крохотной листовке АКМ («Акция красной молодежи»). «Революция будет!», «Мы победим!», «Доллар рухнет!». И какие-то проклятия Макдоналдсу, крохотные карикатуры.

На телеэкране мелькает неохватный калейдоскоп мира, шум в голове, в себе всего не соединить. Можно лишь попробовать, как блюда разнообразнейших кухонь, но собственной, своей жизнью это не становится. Жизнь не столько разнообразится, сколько размельчается. В юности об этом мечталось, с возрастом все важнее сосредоточиться, ненужное пропустить мимо — разве что ради справки, ради сравнения с тем, что считаешь своим.

В «Иерусалимском журнале» повесть И. Берковича «Свобода» и рассказы Л. Левензона. Еврей в Канаде, еврей в Таиланде, еврей в Израиле. Нигде не могут чего-то найти. Может быть, себя. Пожалуй. И ведь сбывлись подростковые мечты: открытый, разнообразный мир, все нации, все кухни. Ни с чем нет внутреннего соприкосновения. Внутри пустота. Можно ли найти что-то вовне? В Канаде арабы, курды, латинос, китайцы живут тоже не совсем своей жизнью. В чужом мире. Не отношения, не любовь — несущественные соприкосновения.

(Перуанское мясо под тайландским соусом. Мир в эпоху глобализации).

Оставить на глобусе точки в местах своего пребывания
 Технически не сложнее, чем мухе. По всемирной сети
 Сообщается адрес, куда приглашают слететься,
 Потанцевать, побить стекла, выражая протест
 Или солидарность с теми, кто вправе нас ненавидеть.
 Тут же советы, как оживить выброс адреналина,
 От дома не удаляясь, мифология на сегодня,
 (Ритуалы, игры, татуировка, выбор по каталогу),
 Возможности кейфовать наяву, сокрушать мировое зло,
 Предотвращать катастрофы нажатием клавиш, отодвигая
 Возвращение в неизбежный сон, где снова надо искать

Способы заглушить тоску. От этого не укрыться.
Время все набирает скорость. Подростки стареют,
Не успев повзрослеть. Новинки прошлой недели
Свалены на блошином рынке вместе с игрушками детства,
Словарями исчезнувших языков, вчерашней аппаратурой,
Смысл которой забыт. Художник подыскивает объекты
Для инсталляции «Новый век». Должен возникнуть образ
Россыпи или осыпи, нарастающего навала. При этом
Хорошо залепить бы пощечину вкусу общества —
Если только найдется щека.

СВОЕ И ЧУЖОЕ

По дороге в лес встретилась группа китайцев. (Я часто вижу, как они собирают на лугу, на полянах, у самой железной дороги какую-то траву). Попутный старичок кивнул на них.

— Черные прошли.

— Какие, — говорю, — черные? Китайцы.

— Они у нас все захватывают.

— Ну уж! Не замечал.

— Плохо, что не замечали. Скоро станут у нас господами.

— Они хорошую капусту выращивают, салаты. Мы у них покупали. Чего же тут плохого?

— Говорят: вы бы без нас с голоду скоро подохли. Наша молодежь, она ведь спивается.

— Вот это, — говорю, — плохо.

Он уже почувствовал, что согласного собеседника во мне не найдет, свернул на другую дорожку. Но такие разговоры ведут между собой подолгу, всюду. Тем хватает, мнение общее, согласие обеспечено.

В немецком журнале «Kulturchronik» наткнулся на фразу Имре Кертеша, последнего нобелевского лауреата, пережившего Освенцим: «По-настоящему иррациональное и в самом деле необъяснимое — это не зло. Наоборот: это проявление доброты». Над одним этим стоит подумать. Зло можно вывести из природной, биологической агрессивности (по К. Лоренцу), добро (доброта) — из области духовного? Но материнский инстинкт тоже можно считать биологическим, у животных встречается и альтруизм, и доброта вне рациональных объяснений. Стоит подумать.

Речь американского философа и германиста, австрийского еврея-эмигранта Джорджа Стейнера при получении премии Бёрне. Евреи, по его мысли, вечные изгнанники, чужаки. Древнегреческое «ксенокс» означает, кстати, и «чужак», и «гость». «Еврей, так сказать, по определению — гость на этой земле, гость среди людей. Его предназначение заключается в том, чтобы служить человечеству примером этого состояния». (Подумалось: к Манделштаму это, пожалуй, подходит, он был бездомным не по своему желанию. А вот Пастернаку нужен был дом, письменный стол, чтобы работать. Может быть, поэтому он уходил от еврейства, тяготился навязанной чужеродностью. А я? Я тоже, пожалуй, лучше всего чувствую себя дома, не хотел бы его менять.)

Теперь у евреев появился, наконец, дом — Израиль, они за него держатся, здесь они хотят остаться оседлыми, не чувствовать себя чужаками. Стейнера смущает, что необходимость жить во враждебном окружении вынуждает за-

щищаться, убивать, «мучить и унижать своих соседей». «На протяжении двух тысяч лет преследований, массовых убийств, геноцида, гетто евреи никогда не унижали других людей, не мучили их... Лишил ли Израиль еврейство его нравственно-метафизического благородства?»

Между прочим, автор с удовольствием пишет, как «Лев Давидович Бронштейн, называвший себя Троцким», декларировал, «что границы существуют лишь для того, чтобы их преодолевать». Знает ли он про «красный террор», который не просто декларировал, но осуществлял Троцкий? Ох, что-то тут нуждается в перепроверке...

Вчера вечером взял книгу «Евреи и XX век», посмотрел главы об (ультра) традиционализме, сионизме, некоторые другие — возникло чувство, что еврейская нация заново оформляется, осознает себя именно в этом веке. В XIX произошел выход из гетто, приобщение к мировой культуре, стала массовой ассимиляция — драматический процесс, сопровождавшийся антисемитизмом, сопротивлением традиционалистов, возникновением сионизма. Все заставила переосмыслить Катастрофа, возникновение Израиля, население которого во многом условно можно пока считать одной нацией. Я только начинаю для себя открывать и осмысливать вещи общеизвестные.

Но тут же подумал о русской нации. Она осталась неоформленной по-другому. Эта молодая нация (немногим старше украинцев и белорусов) более-менее стала оформляться в XIX веке. До этого было больше заимствований, культурный слой и масса народа говорили на разных языках. (XIX век вообще век национальной идеи). Революция исказила этот процесс — может быть, безвозвратно. Мир, начиная, во всяком случае, с Америки и Европы, теперь все больше уходит от национальной идеи. Наступает век глобализма.

Евреи, которые внесли действительно великий вклад в современную цивилизацию и создали модернизированное демократическое государство — это были ассимилированные евреи. Религиозные ортодоксы так же отвергли бы (и отвергают) модернизацию западного образца, как ее отвергла и мусульманская теократия.

Сезонники откуда-то с Кавказа, в оранжевых безрукавках дорожных рабочих, присели отдохнуть в тени.

— Когда, наконец, взорвется эта Москва? — сказал один нам в спину.

— Завтра, — откликнулся другой.

— Вот хорошо бы!

А ведь приехали сюда зарабатывать. И говорят по-русски — для нас.

Вспомнилось, как зимой в подземном переходе приятель подошел к торговцу, у которого мы только что купили мандарины: «Все разобрали русские свиньи?»

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ НА БЕРЕГУ

Мы шли вдоль моря и вспоминали: «Золотистого меда струя из бутылки текла». Провинциальный Крым. «Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем». Ощущение полноценной жизни. (Полноценное ощущение жизни). «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни».

Много ли надо, чтобы возникла гениальная поэзия?

Но почему-то не обитатели «печальной Тавриды» создали эти несравненные стихи. Нужно было оказаться приезжим из столицы, издерганным горожанином. Русскую провинцию, по крайней мере, надо было покинуть, чтобы ее воспеть.

Второсортная, второстепенная, второй свежести. Жизнь, мысль, осетрина. Об осетрине так сказать можно, а о жизни, о мысли?

В заурядном произведении может сверкнуть замечательная строка, деталь, образ, подсказка ищущему уму. Гении усваивали, перерабатывали, если угодно, массовый навоз, питались его веществом. А заурядные эпигоны, в свою очередь, перерабатывали созданное гением до состояния, которое проще усвоить. Гениев не всегда понять, особенно при жизни. Одними гениями не проживешь.

Не гений, слава Богу. Проще жить
Не надрываясь, вровень с остальными,
Которым ты понятен. Пропитанье
Надежней, жизненные наслажденья
Доступней без запросов. Для детей
Сомнительное наследство — имя,
Сопоставление с которым непосильно.
От прочего их бережет природа.
Она без надобности не плодит
Тех отклонений, что сродни болезни.
Основа жизни — норма. Кто взыскует
Высот духовных, по ее подсказке
Приходит в монастырь. Растволковать
Не сразу ясное, разбавить в меру
Для общего употребленья — этим
Со временем займутся. Будут вправе
Гордиться, как законным превосходством,
Сознанием сопричастности.

На песке обширные стаи чаек, все тела повернуты в одну сторону — клювами к ветру.

Анапа, на берегу моря, читая Бродского.

Представь жизнь в стране, где с голода не дадут умереть,
Не оставят без крова над головой. Тут и начнется тоска,
Недоумение, скука. Начнешь рассуждать
О смысле или бессмысленности. Чем же еще заняться?

Мыслю — значит, существую, — сказал философ. День без единой мысли — считай, прожит впустую.

Почему не сказать: день без сделанной работы? Без единого события? Событие отозвалось бы мыслью.

Но можно запечатлеть: песчаный берег, чайки, прибой, мы лежим в дюнах, поросших туйей, загородившись ими от ветра. Галя рисует, я читаю Pessoa и Бродского. Утро с ней. Пять километров вдоль берега. Виноград с хлебом — обед. Дельфины, песчаные скульптуры. И вино вечером. И мысль об этом.

Мыслю — значит, я существую, — вспоминаешь философа,
Сидя с удочкой в камышах. Дрогнул ли поплавок,
Ветерок ли смутил гладь воды, ничего не знача?
Не клюет целый день. В голове ни единой мысли,
Если не считать вот этой, не додуманной внятно,
Несущественной, как на поверхности рябь,

Второсортной, второстепенной, как можно сказать
О заурядных стихах. Скажешь ли так о жизни?

Завершился международный конкурс на лучшую песчаную скульптуру. Песок
оползает на глазах. Сохраним навеки. Вечная память. Сфинксы теряют по песчинке
в сто лет, но тоже ведь выветриваются. Как горы.

Галерея скульптур. Тема: «Вечность».
Материал: песчаник или песок.
Степень плотности не имеет значения,
Как и меры объема, веса,
Единицы времени или таланта,
Не говоря о подписях. Ветерок
Выдувает где песчинку-другую,
Добавляя оспин в лицо, где осыпет
Сразу струйку. Материал возвращается
Дюнам или пустыне.

Со всем можно смириться. Собственная смерть неизбежна, к этому приходится
привыкнуть. Тем более, есть шанс, что это еще не конец, некоторые утверждают,
что после смерти можно как-то продолжить существование, пусть хотя бы в виде
неопределенной энергии, растворяющейся среди других. Какой-то смысл в этом
можно вообразить. Что-то все-таки остается. Ладно, пусть и самой нашей планете
рано или поздно придет конец, она остынет. Останутся другие — догадаемся,
придумаем, как перебраться.

Но вот недавно ученые, оказывается, предположили, что через 23 миллиарда
лет прекратит существование сама Вселенная. Как возникла она однажды в ре-
зультате Большого взрыва, так и кончится. Лопнет. Совсем исчезнет.

Это уже совсем невыносимо. Зачем же тогда все? Зачем стараемся, что-то
надеемся после себя оставить — если не будет никого? Всего через 23 миллиарда
лет!

Увидел это лишь, так сказать, в профиль — и думаешь, что недоступную взгляду
сторону уже представляешь.

ВЕРНУВШИСЬ

Назвать ли «кризисным» мое нынешнее творческое состояние? Чувство, что
возраст, опыт дал мне новое понимание — и неспособность выразить его дейст-
вительно полноценно, мощно. Верлибры и дневниковая эссеистика лишь намекают
на что-то, что мне мерещится. Биографии композиторов напомнили мне, как
связаны музыкальные взлеты с жизненными переживаниями. Я переживания как
бы от себя отстраняю. Вокруг миллионы нищенствуют, замерзают, спиваются,
преступность на всех уровнях небывалая, тебя могут обокрасть, избить на улице,
просто убить, другие в это время хамски прокручивают и прожигают добытые
преступлениями миллионы... — не буду перечислять все приметы нынешней жизни,
вплоть до терроризма. А я напоминаю себе, что прежде жил во времена не менее
страшные, изменить ничего не могу, не надо стыдиться, если сумел пройти эти
времена невредимым, не запятнавшись. Дети вроде бы неплохо ощущают себя
в этой жизни. Но чего же я не могу ухватить, передать? Перечитывал Пастернака:
страшная история, как и личная жизнь, для него сродни природным стихиям,
дождям, грозам, метелям. И в этом своя художественная правда.

Кажется, я о чем-то подобном уже писал. Кручусь вокруг тех же вопросов.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРЫ

«И что же может быть в бессознательном у русской культуры, которая всеми силами рвется к Богу, идеалу, вечности, любой ценой культивирует духовность и проч.? Правильно — дерьмо! И Сорокин это понял лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому он, независимо от того, что он напишет дальше, уже вошел в историю литературы...»

Вышеприведенные рассуждения не позволяют мне согласиться и с восприятием культуры как абсолюта, а мучеников, вроде Мандельштама или Цветаевой, как святых».

Из письма литературоведа М. Л.

«Я сразу же в уме стал составлять Вам ответ, он получался довольно большим. Между тем мне надо было возвращаться к работе. Я открыл ее на странице, где не вполне ясный пока мне самому персонаж рассказывает моему герою: «Они говорят: признавай правду! Ты не хочешь признать правду? Скрываешься в мире галлюцинаций, искусства, поэзии, красоты? Мы тебя вылечим. Мы тебя заставим признать правду. Покажем, кто ты на самом деле такой. Когда превратят тебя в кучу мяса с кишками наружу, в помоечную собаку, в грязь, в дерьмо».

Из ответного письма М. Л.

Продолжения пока не последовало. Вот некоторые разрозненные заметки.

Бессознательное культуры — для меня область темная. Интересно бы узнать у теоретиков, как оно выявляется, что это вообще такое? Откуда становится известно, что некая субстанция составляет содержимое этого бессознательного? Насколько это бессознательное соотносится со всегдашним инфантильным протестом против обрыдлых правил и норм, когда хочется пачкать стены непристойными надписями и картинками, демонстративно пакостить, всячески шокировать скучных блюстителей правил? И что там, в бессознательном, скажем, американской, немецкой, французской культуры? Или, допустим, сейчас, когда вызывающая эстетический восторг жижа все явственней прорывается уже в сознание культуры — что-то в этом бессознательном» должно измениться?

Я не готов обсуждать конкретные имена, мало их знаю. Можно пробиваться через непонимание, выцарапывать у бытия разгадки, а можно — выстраивать компьютерные конструкции, ни в каком понимании не нуждающиеся, где смерть ничего не значит, потому что она условна, в запасе есть сколько угодно жизней. Можно воспевать распад, зло, непотребства, имитировать ужасы, «раскрепощать хаос», оставаясь безразличными, самодовольными, вполне буржуазными. (Разговоры об интеллектуальном шоке давно усвоены массовым ширпотребом).

Но я всерьез задумываюсь над словами о «горьком скепсисе по поводу всех попыток культуры упорядочить мир», о стремлении расслышать в шуме хаоса «многоголосье культуры», о «попытке заново строить здание гуманизма в пространстве хаоса».

«Есть ценностей незыблемая скала» — казавшееся когда-то несомненным утверждение Мандельштама время, очевидно, вынуждает признать устаревшим.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит, —

это вам уже не движение светил по определенным гармоничным орбитам. Какая там «незыблемая скала»?

Наступает глухота паучья,
Здесь провал превыше наших сил.

Остается признать требования реальности.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком завьюсь.

Чем не предвосхищение постмодернистской, как сказали бы теперь, проблематики?

Для начала надо лишь согласиться: «Если все живое лишь пометка за короткий выморочный день».

Потому что каждому придется все-таки столкнуться с единственной, реальной, не компьютерной — своей — смертью.

Человеческая культура строится на системе запретов. Условных, вынужденных — потому что у *homo sapiens* перестали срабатывать биологические, предохранительные механизмы, те, которые удерживают животных от смертоубийства в схватках с соперниками. Это замечательно описали этологи: побежденный в единоборстве волк отводит от победителя взгляд, подставляет ему свою шею — самую уязвимую артерию. Последнего укуса достаточно было бы, чтобы его умертвить. Победитель физически не может этого сделать, происходит какое-то безусловное замыкание. Для людей пришлось ввести мифологическую заповедь «Не убий». Папуасов маринд-аним вынуждает охотиться за головами иноплеменников тоже условный принцип: лишь раздобыв голову, человек получает право дать имя своему новорожденному. Это вместо заповеди «не убий» — способ сохранить островную популяцию, не давая ей, видимо, слишком разрастаться. (Как запрет на инцест — брак с близкими родственниками, оберегает человеческое сообщество от вырождения). Другая культура, другая — искусственная — мифология.

Какие-то запреты устаревают, современные свободы позволяют их чуть ли не все игнорировать. Культура, как и популяция, может погибнуть — сколько их погибло. Может быть, нынешнее динамичное, быстрое видоизменение культур, их метисизация, размывание — уже проявления, разновидности очередной гибели.

Саму историю можно трактовать как цепь катастроф, разрушений, жизнь рода человеческого — как череду смертей.

Но есть рождение и возрождение, есть творчество, есть сопротивление смерти, разрушению, угасанию, энтропии.

Мандельштам сопротивлялся — и до конца утверждал жизненную необходимость сопротивления. Не святой, не мученик, противостоящий власти — художник, сознательно противопоставлявший свое искусство вырождению, небытию, отказу от культуры.

Но видит Бог, есть музыка над нами».

Опровергает ли эту музыку судьба Мандельштама, всей страны?

Шумы, взвизги, пиликанье получают свои названия в сопоставлении с этой музыкой. Музыка искусственна, но гармония музыкального звукоряда основана на объективных числовых соотношениях (частота колебаний струны). Те же числовые соотношения можно обнаружить в орбитах планет, атомных весах химических элементов и пр. (Можно, конечно, сказать, что сами числа — искусственные порождения мозга). Гармония — такая же реальность, как хаос. Неупорядоченный шум не знает диссонансов, но он не является музыкой. Он может быть элементом музыки.

И снова паровозными свистками
Разорванный скрипичный воздух слит.

Мы знаем о хаосе, осмысливаем его — ищем способы создавать в нем пространство, приспособленное для жизни. Чтобы не обесформиться, не размазаться, не растечься. Людям вообще, наверное, не совладать с реальностью жизни и с реальностью смерти, если не ввести искусственную условность — инструментарий искусства, мысли.

Нет в жизни смысла, кроме того, который мы создаем, пытаемся создать, ищем. Тут дело не в результате — в жизненной необходимости. Смысл — в поисках смысла.

И уж, по крайней мере, как сформулировал когда-то мой покойный друг, скульптор Вадим Сидур: «Живя в дерьме, не становись дерьмом».

ПОПУТЧИК В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Исаак Бабель в тридцатые годы *

Слава не пришла к Бабелю — она свалилась как снег на голову (что-то подобное произошло в это время лишь с Зощенко). В начале 1924 года в московских журналах были опубликованы первые новеллы — всего через четыре года книжка «И. Э. Бабель» появляется в серии «Мастера современной литературы».

«В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно, — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике, — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса», — обидно напишет оригинал о портретистах, среди которых были известные литературоведы (Ф. А. Бабель, 21 мая 1928 г.).

Так произошло очередное превращение. Из-под масок экзотического одессита Баб-Эля (писатель в шутку производил свой первый псевдоним от Баб-эль-Мандебского пролива) и выдуманного конармейца Лютова появился знаменитый писатель-попутчик (хотя и с подозрительным мелкобуржуазным прошлым), надежда советской литературы.

«Рассказы о Конармии выдвинули его в первые ряды советских художников слова. Новизна материала, целиком взятого из революционной, еще не нашедшей отображения в художественной литературе, жизни, а также оригинальность выполнения не могли не сделать из новелл Б. о Конармии чрезвычайно значительных произведений. В лице Б. молодая советская литература получила сильного художника, «попутчика», с редкой по тому времени полнотой отдавшего свое дарование революционной тематике. Эта общественная заслуга Б. — крупного художника-пионера революционной тематики, ни в коем случае не может быть умалена и в настоящее время», — косноязычно, но лестно напишет Д. Горбов в первом томе «Литературной энциклопедии» (1930).

«Конармия» и «Одесские рассказы» темной тенью нависли над последующей бабелевской литературной судьбой.

КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

Н. Ушаков

В то время, когда все — сотрудники журналов и издательств, критики, читатели — ожидали от автора новых текстов, Бабель повел себя необычно. Вместо того чтобы ковать железо литературного успеха, он убегал, прятался, быстро приобретя репутацию ловкого спекулянта и литературного молчальника.

* Статья — предисловие к одному из томов Собрания сочинений И. Бабеля в 4-х томах, подготовленному для московского издательства «Время». Это самое полное собрание бабелевских текстов, включающее практически всю известную прозу, пьесы, киносценарии, большой корпус писем и мемуарную книгу вдовы писателя А. Н. Пирожковой «Семь лет с Исааком Бабелем».

В сентябре 1930 года К. Чуковский записывает разговор с романистом С. Н. Сергеевым-Ценским: «Бранит Бабеля. “Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть ли не в Толстые, один Воронский написал о нем десятки статей, а он написал всего 8 листов за всю свою жизнь!” Я протестовал, но он стоял на своем: “Ни Бабель, ни Олеша не могут быть большими писателями: почему они пишут так мало. Бабель напишет рассказ и сам же его в кино переклеивает”».

В текст долгожданного рассказа «Гюи де Мопассан» журнал «30 дней» (1932, № 6) врезает дружеский шарж «Скупой литературный рыцарь». Бабель, «копаясь в своем неопубликованном литературном богатстве» (на сундучке с рукописями надпись: *багаж 1929 г.*), произносит строки пушкинской маленькой трагедии: «Я каждый раз, когда хочу сундук/ Мой отпереть, впадаю в жар и трепет... Бог знает, сколько горьких воздержаний,/ Обузданных страстей, тяжелых дум,/ Дневных забот, ночей бессонных мне/ Все это стоило?»

Бабелевская «скупость» стала притчей во языцех. Его рыцарство не вызывало сомнения у женщин, но большие сомнения — у издательских работников. Бабель обещал редакциям рассказы, брал многочисленные авансы, вдруг исчезал, внезапно появлялся и снова исчезал.

«Он не печатает новых вещей более семи лет. Все это время живет на проценты с напечатанного. Искусство его вымогать авансы изумительно, — с удивлением, переходящим в восхищение, записывает в дневнике 1931 года редактор «Нового мира» В. Полонский. — У кого только не брал, кому он не должен — все под написанные, готовые для печати, новые рассказы и повести. В «Звезде» даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, «уже имеющейся в портфеле редакции», как объявлялось в проспекте.

Получив в журнале деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись «вставить слово», повертел ее в руках — и, сказав, что пришлет завтра, унес домой. И вот четвертый год рукописи «Звезда» не видит в глаза. У меня взял аванс по договору около двух с половиною тысяч. Несколько раз я перечеркивал договор, переписывал заново, — он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 году, перед отъездом за границу, дал мне даже название рассказа, который пришлет ровно 15 августа. Я рассказ анонсировал — и его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч у меня, в «Красной нови», в «Октябре», везде и еще в разных местах. Ухитрился забрать под рассказы даже в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет, — он неуловим и неуязвим, как дух. Иногда пришлет письмо, пообещает прислать на днях рукопись, — и исчезнет, не оставив адреса...»

Так родилась главная легенда его писательской жизни тридцатых годов — о *продолжительном молчании* в ожидании *удивительной речи*. Она была закреплена и авторизована на Первом съезде советских писателей. Бабель говорил о себе как о «великом мастере этого жанра» и признавался, что «в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох бы с голоду».

С голоду он, конечно, не подышал, но когда судебные исполнители как-то настигли неисправного должника и наложили арест на его имущество, он с гордой иронией написал тому же Полонскому под новый 1931 год из своего подмосковного «укривища»: «Привлечь меня к суду — это значит подарить мне деньги. Я вызываю всех писателей СССР на «конкурс бедности» со мной, у которого не только что квартиры нет, но даже и самого паршивенького стола. Я сочиняю на верстаке (в самом буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карповича, деревенского сапожника. Носильное же платье мое и белье, даже по Сухаревской оценке, не превышают ста — может, двухсот рублей. C'est tout. <Это все>».

На портрете Альтмана он увидел себя веселым мопсом. Случайным знакомым он напоминал то бухгалтера, то заведующего сельской школой, но не «крупного художника»

пионера революционной тематики». Как-то он явился на дачу к Горькому без приглашения и был отправлен кухаркой на задний двор. Потом она с удивлением наблюдала, как этот подозрительный субъект дружески беседует с сыном писателя Максимом.

Познакомившись с молодой девушкой-строителем, будущей женой, он с радостью отметил, что за целый день она ни разу не спросила «довольно известного писателя» о творческих планах. На этот привычный журналистский вопрос он однажды ответил так: «Хочу купить козу».

Разговорам о литературе он предпочитал беседы о лошадях. Собирался писать «Лошадиный роман». Просил присылать ему в Париж программки московских бегов. Подолгу жил в подмосковном Молоденово, близости от конного завода (там и стоял верстак сапожника Ивана Карповича).

Вообще, его отношение к братьям-писателям было смесью иронии и отчуждения. Когда в Переделкино (булгаковском «Перелыгино» из «Мастера и Маргариты») начали возводить писательский городок со всеми удобствами для избранных и приближенных, он согласился поселиться там только после того, как узнал, что дачи стоят далеко друг от друга и не нужно будет ходить в гости к соседям.

Он любил другие компании — жокеев, охотников, военных, деревенских мужиков, старых одесских приятелей, далеких от литературы. Любил текущую реку жизни, в которую хищно ввинчивались его острые глаза-буравчики (деталь, отмеченная мемуаристами).

«Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей» (Н. Мандельштам. Воспоминания).

Это неистовое любопытство непрерывно гнало его в дорогу.

«Летом буду работать и бродяжить, собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом» (В. П. Полонскому, 8 апреля 1929 г.).

На самом деле, и во второй половине двадцатых и в тридцатые годы Бабель писал не так мало: дополнил «Одесские рассказы» киносценарием «Беня Крик», сочинил на том же материале драму «Закат», переделал для кино роман Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», написал еще два сценария. Но все это воспринималось как литературная халтура, поденщина, отвлечения на пути к новой, будущей прозе.

В главной своей работе Бабель был неуступчив и непримирим, «замешан на упрямстве и терпении».

«Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу...», — отчитывается он редактору «Нового мира» В. Полонскому из Парижа 5 октября 1927 года.

«Я по-прежнему много работаю, яростно, уединенно, с далеким прицелом — и если второй мой выход на ярмарку суеты окончится жалкими пустяками, то утешение у меня все же останется — утешение одержимости», — сообщает он оттуда же давней знакомой (А. Г. Слоним, 7 сентября 1928 г.).

В «Выбранных местах из переписки с друзьями», рассуждая, «в чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», Гоголь скажет о Пушкине: «Поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность».

Бабелевская «действительность» была другой — не благодушно растрепанной, а кровавой и страшной. Но отношение к своему делу поразительно напоминает описанную Гоголем позицию. «А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, «Зарубежные записки» №4/2006

тужусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно, — не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов» (В. П. Полонскому, 31 июля 1928 г.).

«Скупость» этого рыцаря объяснялась его истовым, почти религиозным служением литературе. Его молчание было красноречивым, полным какого-то непонятого смысла.

ВЕЛИКАЯ КРИНИЦА

Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, -
Милицейские ребята
Выводили под руки...

А. Твардовский

«Бабель работал не только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокостях революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся его «Конармия» такова», — ищет причины бабелевского молчания Вячеслав Полонский.

В эпоху «великого перелома» Бабель снова оказался там, где слезы и кровь лились с той же простотой и свободой, как в недавнюю еще эпоху революции и гражданской войны.

В феврале 1930 года писатель едет в украинское село Великая Старица, чтобы своими глазами увидеть большевистское преобразование общественных отношений в деревне, объявленную всеобщую коллективизацию сельского хозяйства. Через год он снова посещает те же места. Позднее отправляется в Кабардино-Балкарию и на Донбасс.

Его журналистские впечатления от «СССР на стройке» (так назывался издававшийся под редакцией Горького журнал), как и у многих наблюдателей, кажется, были положительными, даже восторженно оптимистическими.

«Живу в коренной чистокровной казачьей станице, — написано сестре 13 декабря 1933 года. — Переход на колхозы происходил с трениями, была нужда, но теперь все развивается с необыкновенным блеском. Через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все, что эти станицы видели в прошлом, а жили они безбедно. Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются действительно безбрежные перспективы, земля преображается».

Градус оценок еще более повышается через несколько недель: «Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции» (письмо матери и сестре, 20 января 1934 года).

Известны и иные бабелевские оценки, правда, исходящие от мемуаристов и транслированные через много лет. Одному из близких собеседников после очередной поездки в районы коллективизации Бабель будто бы говорил, что происходящее там страшнее, чем увиденное во время гражданской войны.

Главным в таких случаях оказывается слово художника. Оно, как правило, глубже и проницательнее человека.

Две сохранившиеся главы из деревенской книги создают образ надвигающейся катастрофы.

На масляной тридцатого года в Великой Кринице буйно играют свадьбы, и веселая вдова Гапа Гужва рушит мир в яростном танце: «Мы смертельные, — шептала Гапа, ворочая багром. Солома и доски сыпались на женщину. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок».

А в это время деревенские активисты с новым начальником-судьей проводят совещание и пишут «своему селу обвинительный акт».

« — Судья, — сказала Гапа, что с блядьми будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет, — сказал судья, только другое, лучшее».

В «Кольвушке» под колесо истории попадает уже соль деревни, крепкий мужик, совсем не кулак, все скромное богатство которого — изба, коровы и лошади, молотилка — заработано собственным горбом. Получив приказ о высылке, он тоже крушит свой мир, убивает жеребую кобылу, разбивает веялку, седеет в одну ночь и бесследно исчезает из деревни, рассеивается в украинских просторах.

« — Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Кольвушка, озираясь, — куда я пойду...Я рожденный среди вас, мир...»

На этот тихий вопль души отвечает *урод*, горбун, избранный председатель колхоза с говорящей фамилией Житняк.

« — Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал он тише, — ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, унистожу тебя...»

В отличие от роскошных пейзажей «Конармии» и «Одесских рассказов», поздняя бабелевская новелла почти бесцветна. Единственное короткое описание в «Кольвушке» наливается символическим смыслом. «Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда опустилась в колодцы черных облаков».

Тяжелая ночь и черные облака нависают над страной. Через десятилетие герой «Тихого Дона» увидит над головой черное солнце.

«Кольвушка — не только шедевр прозы, но, сверх того, первое, по сей день непревзойденное описание той трагедии, какой была коллективизация для всей огромной страны, — скажет уже в середине девяностых годов польский литературовед и переводчик Бабеля Е. Помяновский. — Никто до Бабеля — да и никто после него не описал эту трагедию так пронзительно и просто. Ни в какое сравнение с этими несколькими страничками не идут тома «Поднятой целины». Даже Гроссман в повести «Все течет», даже Солженицын в тех главах «Круга первого», где Рубин вспоминает, как вывозили трупы из голодающих сел, — не вызывают у читателя такого потрясения, какое испытываешь, читая историю Кольвушки, его жеребой кобылы, изгнания его из дома на мытарства. Рассказ написан без всякой надежды на скорую публикацию — лишь для того, чтобы дать свидетельство истине».

Новому миру не нужна страстная «блядь» Гапа Гужва. Из него изгоняют неистового работягу Кольвушку.

Совсем скоро оказалось, что писатель Исаак Бабель в нем тоже — лишний.

ИГРА С ОГНЕМ

А может статься и другое, —
 Привязанность ко мне храня,
 Сосед гражданской рукою
 Донос напишет на меня.
 И, преодолевая робость,
 Чуть ночь сомкнет свои края,
 Ко мне придут содеять обыск
 Три торопливых холуя.
 От непроглядного разгрома —
 Посуды, книг, икон, белья —
 Пойду я улицей знакомой
 К порогу нового жилья... <...>
 Я вспомню маму, облик сада,
 Где в древнем детстве я играл,
 И молвлю, проходя в подвал:
 «Быть может, это так и надо».

Вл. Щировский

Общественное положение и взгляды Бабеля в тридцатые годы так же странны и непонятны, как его писательское «молчание». Он живет по каким-то другим законам: то ли ведет свою мало кому понятную игру, то ли просто не понимает, как стремительно меняется окружающая жизнь.

Круг бабелевских знакомств не ограничивался прежними школьными друзьями, издательскими работниками и жокеями. Этот сочиняющий на верстаке голодранец не только дружит с нынешним командармом советских писателей Максимом Горьким, постоянно защищающим его от нападок бывшего командарма Первой конной Семена Буденного. По СССР он не только «бродяжил», но и передвигался в «международных вагонах».

В Донбассе он встречает Новый год с секретарем Горловского райкома ВКП (б) В. Фурером. В Кабардино-Балкарии охотится с партийным вождем Беталом Калмыковым и даже собирается писать о нем книгу. В Москве и вовсе появляется в доме всесильного «железного» наркома внутренних дел Ежова.

Время от времени его собеседниками оказываются не только вторые, но и первые люди советского государства. «Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким», — делает дневниковую запись (к сожалению, без подробностей) К. Чуковский (13 апреля 1925 г.). Указанные персоны в середине двадцатых годов еще в силе и в качестве наследников Ленина определяют политический курс.

В тридцатые у Горького Бабеля пришлось познакомиться и с новым наследником. Известен (правда, даже не через вторые, а через третьи руки) его самокритичный отчет об этой встрече. «Как рассказывал автору настоящей статьи И. Л. Слоним, — сообщает американский литературовед, — Бабель, вернувшись в Москву, первым делом отправился к Горькому, у которого застал Сталина. «А вот Исаак Эммануилович только что вернулся из Парижа, — представил Горький Бабеля Сталину, — он нам сейчас расскажет, как Шаляпину живется за границей.» Бабеля, который встречался с Шаляпиным в Париже <...>, вопрос этот застал врасплох. «Я тогда, — рассказывал он Слониму, — как когда-то Пушкин перед Николаем I, испытал «подлость во всех жилах» и стал рассказывать, что, мол, Шаляпину там ужасно живется, что он, де, от отчаяния горькую пьет и т. п. Сталин попытлел трубкой и буркнул: «Такой талант погибает. Надо его к нам сюда выписать!» (Г. Фрейдин. «Вопрос возвращения: «Великий перелом» и Запад в биографии И. Э. Бабеля начала 1930-х годов»).

Существует еще менее достоверный рассказ-слух об адресованной автору «Конарми» просьбе вождя: создать роман о нем, Сталине. Бабель будто бы обещал подумать.

Возможно, эти устные рассказы относятся к тому же жанру, что и булгаковские вымышленные новеллы о задушевных беседах с вождем. Но присутствие писателя в ближнем кругу на важных правительственных мероприятиях, куда был заказан ход не только посторонним, но и многим «своим» — документально зафиксированный факт. «Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади, с трибуны для иностранных гостей. <...> Трибуна для иностранных гостей находилась близко от мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль» (А. Н. Пирожкова).

Знаком особого доверия были не только приглашения, но и путешествия за границы страны. Еще в двадцатые годы такие поездки были для деятелей культуры если не привычкой, то и не экзотикой. Жили и издавались в Берлине, разоблачали русских эмигрантов в Париже, писали путевые очерки о Японии, гастролировали в Америке, лечились в Чехословакии, отдыхали у Горького на Капри.

Железный занавес начал стремительно опускаться в начале тридцатых. Обычно считают, что Замятин — последний писатель, который после личного письма Сталину и хлопот Горького был благополучно отпущен в «разлагающуюся» Европу (октябрь 1931 г.). Бабель (правда, после долгих хлопот) получает право на очередную, вторую, поездку к родным в мае 1932 года, проводит во Франции и Италии почти год и еще раз едет в Париж в июне 1935-го на Конгресс писателей в защиту культуры.

«Вопрос возвращения» в острой форме перед Бабелем, кажется, даже не вставал. Восхищаясь Флоренцией, Сорренто, Марселем, он ни разу не примерил тамошний образ жизни к себе.

«После трехмесячного пребывания в Париже переехал на некоторое время в Марсель. Все очень интересно, но, по совести говоря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Работал я урывками, теперь наладился и думаю, что-нибудь смогу «произвести». Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель. Экзотика здесь действительно сногшибательная, но я уже маленько поостыл к экзотике», — написано другу из Марселя в Киев (И. Л. Лившицу, 28 октября 1927 г.).

«Я занят с утра до вечера делами литературными, коммерческими, налоговыми — ношусь по всяким учреждениям, ору, клянчу, — думая, что все уладится хорошо. Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь», — сказано ровно через год в письме, отправленном в обратном направлении, из Киева в Брюссель, где жила мать (Ф. А. Бабель, 20 октября 1928 г.).

«Вчера вернулся в Париж после полуторамесячного пребывания в Италии. Не успел побывать в Венеции — не хватило денег. Все затмила Флоренция. Впечатление неизгладимое на всю жизнь. <...> Тоска по России все сильнее. Вернусь во второй половине июня», — возвращается ностальгический тон во время новой заграничной поездки (А. Г. Слоним, 29 мая 1933 г.).

«Москва сейчас один из самых шумных городов Европы, а по размаху строительства, по революции, совершаемой каждодневно с ее улицами и площадями, за ней, конечно, никакому Нью-Йорку не угнаться. Вообще с каждым днем яснее у нас проступает образ невиданного по мощи государства, и осуществимость лозунга «догнать и перегнать» теперь ни у кого не возбуждает сомнений», — задорно заявлено в письме сестре (М. Э. Шапошниковой, 14 ноября 1934 г.).

В бабелевской судьбе до поры до времени соединялись верх и низ, вера и доверие. Чем за это приходилось платить?

События середины тридцатых годов — убийство Кирова, смерть Горького, массовые репрессии и большие процессы, кажется, застали его врасплох. В донесениях тайных «Зарубежные записки» №4/2006

агентов — недоумение, горечь, сожаления и вопросы. «Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев и интеллигенции к мысли оказаться за решёткой. Всё это является характерной чертой государственного режима», — передает «источник» бабелевские мысли в ноябре 1938 года.

Еще раньше, в свой парижский год, Бабель вел откровенные разговоры с эмигрантом Б. Сувариним о Сталине и положении в СССР (имя своего собеседника тот рассекретит лишь через много лет). А художник Ю. Анненков навспоминал (правда, тоже через много лет) и вовсе пророческую речь тайного разоблачителя «советчины».

Но до этого на Первом съезде писателей были прославлены кованая речь Сталина, в 1937 году, после процесса Пятакова и Радека, в «Литературной газете» в общем хоре с Ю. Олешей, А. Платоновым, Ю. Тыняновым, опубликована изничтожающая оппозиционеров статья «Ложь, предательство и смердяковщина».

Кто же он — неосторожно обращающийся со спичками вечный подросток или опытный подрывник, ищущий тихое место на полностью простреливаемой территории?

«Бабель прекрасно понимал все, но надеялся пересидеть», — утверждают одни.

«Нет, он близоруко приветствовал происходящее и рассчитывал на свои связи, однако просчитался», — возражают другие.

В любом случае ясно, что этот вечный экспериментатор играл с огнем.

На вопрос о том, как соединялись странная близорукость и удивительная пронзительность, опьянение и трезвость, скептицизм и вера в одном сознании, честнее ответить: *не знаю*.

Послереволюционные поколения *отцов и детей* сегодня — непонятнее марсиан. Утрачен воздух той эпохи. Вспоминая двадцатые годы уже после двадцатилетия лагерей и Двадцатого съезда, автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов скажет не об историческом тупике и безнадежности, а о новых горизонтах. «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни <...> Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги, — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли».

Главка этих незаконченных воспоминаний называется «Штурм неба».

Будучи «отдельным человеком» (Н. Мандельштам), Бабель, тем не менее, тоже чувствовал себя участником этого штурма, пытался успеть, понять, отразить. Борьбу с кулачеством — в диалогах «Бежина луга» (Трагедия «Кольвушки» перевернута здесь во вполне традиционном пропагандистском ключе: классовый бой длиннобородого отца-кулака и его передового сына.) Эмансипацию женщины и новые отношения в семье — в «Нефти». Деграцию русской эмиграции — в «Суде». Пафос социалистического строительства — в киносценарии «Старая площадь, 4» (Этот текст о замечательных коммунистах и успехах социалистического строительства оказался последней законченной писателем работой: на титульном листе стоит дата 30 апреля 1939 года.)

Всем лозунгам он верил до конца?

Но бог искусства не изменял ему в решающие минуты. Пьеса «Мария» (1935), подобно «Конармии», — эпически сдержанный, но полный трагизма рассказ о крушении миров.

Гибнет семья, пустеет дом генерала Муковнина, из подвалов в генеральскую квартиру приходят новые люди, а воюющая за чужое счастье и так и не появляющаяся на сцене старшая дочь, еще не зная о судьбе близких, наслаждается природой и рассуждает о возмездии: «На нашей Миллионной в Петербурге, в доме против Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии, — не зная нашего народа, не догадываясь о нем...

<...> Карточка Алеши у меня на столе... Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению... Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня...» («Мария»).

«Мария» кажется петербургским парафразом «Дней Турбиных»: пьесой об историческом сломе, возмездии за чужие грехи, организованном упрощении теплой и поэтичной жизни, очередной исторической близорукости. «Я так располагаю, которые дети теперь изготавливаются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?» — весомо произносит в финале полотер Андрей, собирая свой инструмент перед уходом со сцены.

Изготовленные тогда дети поспели как раз к сорок первому году. Автор «Марии» этого уже не застал.

«У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени», — обещано матери и сестре 10 мая 1939 года.

Он был арестован в так и не обжитом переделкинском доме через пять дней. «Не дали закончить», — произнес он во время обыска, когда рукописи складывали в папки.

Уже после того, как он исчез в дверях Лубянки, жена услышала короткий телефонный разговор. «Меня отвезли домой на Николо-Воробинский, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: «Острил?» — «Пытался», — последовал ответ».

Об атмосфере конца тридцатых, напоминающей пир во время чумы, дает представление фрагмент из дневника Е. С. Булгаковой. «В городе слух, что арестован Бабель», — записано 20 мая, когда писателя уже пять дней допрашивают на Лубянке. И сразу же в стык события следующего дня: «Мои именины. Миша принес чудесный ананас. Братья Эрдманы прислали колоссальную корзину роз. Вильямсы — тоже — очень красивую корзину роз.<...> За обедом ребята так наелись пломбиром и ананасом, что еле дышали.<...> Миша сидит сейчас (десять часов вечера) над пьесой о Сталине».

Подробности последних месяцев жизни Бабеля — рутинная история тридцать восьмого года — стали известны лишь через много лет.

«Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:

— Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил: «Все отрицать, какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить “нет“, только “нет“, все отрицать — тогда мы бессильны», — вспоминает А. Н. Пирожкова.

В тридцать девятом *они* уже имели огромный опыт. Отрицая все на первых допросах, Бабель позднее «признался» во всем: шпионаже в пользу Франции и Австрии, связях с троцкистами, руководстве писательской антисоветской организацией, фабрикации «гносного оружия» в виде «анекдотов, клеветы, слуха, сплетен», подготовке покушения на Сталина. Попытка опровергнуть эти выбитые показания на судебном заседании 26 января 1940 года, естественно, была обречена.

На подготовленном Берией списке из 346 человек еще десять дней назад было поставлено короткое и размашистое сталинское «за». Фамилия Бабеля — на той же первой странице под двенадцатым номером. Далее в демократическом алфавитном порядке идут предшественник Берии, недавний всемогущий владелец «ежовых рукавиц» Николай Иванович Ежов (№ 94) и многие его сотрудники, арестованный еще в тридцать седьмом бабелевский друг и покровитель Бетал Эдыкович Калмыков (№ 123), журналист Михаил Ефимович Кольцов (№ 137), почему-то поименованный и фамилией жены режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд-Райх (№ 184).

Следующей ночью приговор был приведен в исполнение.

Точная дата бабелевской смерти стала известна лишь через сорок восемь лет.

Арестованные рукописи исчезли навсегда.

Сборник рассказов с большими трудами был издан через семнадцать лет.

Еще через семь лет долго пробывавший это издание И. Эренбург сочинил дополнение к мемуарному портрету в книге «Люди, годы, жизнь» — стихотворение «Очки Бабеля»

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин.
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый,
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убрали Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

«Что же касается видимого неблагополучия литературной моей биографии — то до сих пор я блистательно опровергал страхи близоруких моих поклонников, это будет и впредь. Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении, — и когда эти два качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую *la joie de vivre* <радость жизни>, что имеет место и теперь. А для чего же живем, в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства» (Ф. А. Бабель, 14 декабря 1930 г.).

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ВАЦЛАВЕ НИЖИНСКОМ

Хотя со времени смерти великого русского танцовщика и хореографа Вацлава Нижинского (1889 — 1950) прошло уже более пятидесяти лет, во Франции, где он умер и где бережно хранят о нём память, продолжают появляться новые материалы о нём, далеко не сразу становящиеся известными даже заинтересованному русскому читателю.

Предлагаем некоторые из этих материалов, любезно предоставленные живущей в Париже известной русской поэтессой, эссеисткой и переводчицей Галиной Погожевой.

Редакция

Андре СУАРЕС

КРАСОТА ТАНЦА

В прекрасном танце движение создает гармонию. Жест есть штрих к арабеску. Но так же, как жизнь никогда не замирает в каком-то одном состоянии, так все в прекрасном танце есть свет — и переменчиво, как свет. Характер рождается при этом свете от формы и движения. Это не поиски идеи и не абсурдная претенциозность женщины с зловещей улыбкой, решившей покончить со всеми шедеврами музыки, превращая их в скаковой круг для своего галопа. Столь же греческие, как и мюнхенские пропилии, амазонки Огайо, скача то рысью, то галопом, предали всякую поэзию. Голоса этой страны сосновые, без тембра, без музыки. Пластика этих женщин — ортопедическая, танец их — мужеподобное топтание, толстоколенное, плоскостопное. В Чикаго и в Бостоне мужчины — довольно дрянной виноград, из которого выходит плохое, дешевое вино. У нас у этого чана все тот же Бахус, с жезлом, с челом, увитым листьями лозы.

Ни одна из женщин не сравнится с Нижинским. Нижинский обладает умом инстинкта. Это великолепное тело, наслаждающееся своей красотой и умеющее дарить такое же наслаждение народу, собравшемуся в храме.

Он напоминает самца пантеры, если только сын женщины дерзнет сравниться с подобной красотой. Он владеет даром перемещаться в красоте, держа в ней свои линии в неизменном равновесии. У него есть чутье полезного совершенства, и в каждом мускуле, и в игре их всех, как у пантеры. И так же, как у нее, ни одно движение не лишено могущества и грации в этом великолепном существе. Пантера также и в том, что его самые стремительные прыжки таят в себе какую-то медлительность, настолько они верны, да в этой силе столько грации, что он заставит верить, что он ленив: как будто нерастроченной силы остается всегда с лихвой.

Красота его чиста от всякого плотского соблазна. Я говорю от себя, я мужчина. Отсюда впечатление, которое она создает, принадлежа одновременно искусству и природе. В самой прекрасной женщине, однако же, нельзя совсем забыть о женщине. И чем больше мы чувствительны к женскому очарованию, тем большее желание приmeshивается к восторгу. С Нижинским восторг без примеси. Любовь тут больше ни при

чем. Я никогда бы не счел такое возможным, но я восхищаюсь с такою полнотой, что ни люблю, ни ненавижу предмет своего восхищения. Я становлюсь настолько свободным, что я свободен также и от него. Немного есть чувств, способных вознести нас так высоко в постижении нравственного совершенства.

Человек этот кажется таким красивым, что не замечаешь его лица. Это привилегия самых прекрасных из античных статуй: голова, пожалуй, и ни к чему. Нижинский дарит мне ощущение прекрасного наперекор всему: здесь дело в очаровании. Очарование есть нравственность. Поскольку не смотришь ему в лицо, то невозможно описать его. Его шея, быть может, наиболее живая из всего. Лицу далеко до сравнения с этим телом, столь изящным, столь могучим — и столь же молодым. Бессмертная юность богов узнает себя в этой героической плоти.

Я не хочу больше видеть его: ведь завтра он умрет, он перешагнул уже черту двадцатилетия, он начинает умирать. Если бы черты его несли в себе священный огонь его форм, если бы у него были глаза, и лоб, и губы его тела, его следовало бы обоже- ствлять. Он весь из мускулов, и все же в нем есть и плоть: бедра его так прекрасны, что ни одно произведение искусства не превзойдет их пропорциями и лепкой. Он вышел из Гомера, сошел с метоп. На округлостях его прекрасных рук повисла тяжесть; но, олимпийский атлет, он сражается, он танцует.

Это тело гораздо выше совершенства. Оно разнообразно, как жизнь. Ведь чем совершенство не красота? Совершенство есть идеал красоты, мертвая красота.

Грация превосходит любое совершенство. Грация поистине есть дар, в любое мгновение отъемлемый, настоящее на час, желание жизни: мимолетное совершенство, несовершенное в одном, более чем совершенное в другом. Я не хотел поверить в грацию в мужчине, ни в Вестриса, ни в то, что нам передают о прежних танцорах, породе двусмысленной и отталкивающей. Но Нижинский лишает всей грации очаровательную женщину, танцующую рядом с ним. Она уже не на высоте героя. Рядом с ним она игрива, жалковата, в ней нет величия. Она всего лишь подружка леопарда, прислужница самца пантеры. Ей не сравниться с ним.

Возможно ли, чтобы такой мужчина существовал и чтобы женщины не сходили с ума и не преследовали его? Где же свита Адониса? Я бы хотел, чтобы они вешались тысячами, не как милезианки, увидев в зеркале свою старость и безобразие, а как влюбленные фригийки, от горя, что бог слишком прекрасен и не желает их.

В Нижинском игра пропорций есть вечная гармония, неисчерпаемая переменчивость. Он позволяет нашему мироощущению изведать божественное наслаждение числом, наделенным чувством. Есть в этом религия тела, истоки культа, способного насытить детские сердца. Притом неправда, что Нижинский выражает идеи или же чувства. Если он когда-нибудь прельстится этим, он будет столь же смехотворен, что и галопирующая дама. Этот бог танца имеет ту же миссию, что и его искусство: он нам являет в откровении движения и формы. Он создан не передавать чувства, но вызывать их в тех, кто созерцает его. Пред нашим взором предстает совершенство. Он перед нашими глазами как дерево на утесе, колеблемое ветром, как роза, поникшая над водой, или любимый зверь, или вечерний пейзаж, или ребенок, или женщина в своей первозданной невинности: счастливый случай нашей встречи с мечтой, предлог для нашей страсти.

В мимике он уже не он. Все, что он хочет сказать, всегда будет лучше сказано его руками и ногами, нежели сильным или нежным голосом. «Я» — есть его собственная поэма, и слишком неравным было бы сравнение с поэмами, созданными воображением. Мим не может тронуть сердца художника: мы не глухи, мы не немые. Но живая форма, во всей своей гармонии, является самодостаточным шедевром, и ничто не может сравниться с ним в момент нашего ему поклонения. Если Нижинский впадет в рассудочность, красота его померкнет. В день, когда Нижинский утратит свою красоту и молодость, я не взгляну на него. Тем трогательнее, и тем живее это прекрасное, эфемерное создание.

Морис САНДОЗ

ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ

И вот теперь, когда Сергей Дягилев произнес, с едва уловимой улыбкой, которая все же не ускользнула от меня, имя Нижинского, я направлю на него хрустальную солонку, и его призрак возникнет — но, о ужас! — это будет призрак едва живого человека.

К тому времени, когда Дягилев упомянул это магическое имя, Нижинский уже не состоял в труппе. Он недавно женился и удалился со своей молодой женой на виллу в горах близ Сен-Морица.

Если многие и рукоплескали ему за то, что он, в отличие от стольких танцовщиков, а особенно танцовщиц, не явил грустного зрелища стареющего скомороха, жалкой пародии на то, чем был когда-то, многие другие открыто обвиняли его в неблагодарности по отношению к Дягилеву, который открыл его и воспитал в атмосфере той фантазмагории, которой лишь немногие артисты способны окружить себя.

Они также обвиняли его в неблагодарности по отношению к ним самим, столь жаждущим снова его увидеть.

По-разному объясняли этот уход артиста в самом расцвете его славы и таланта. Одни говорили, что отсутствие понимания со стороны госпожи Нижинской, своего рода вражда, которую она питала к Дягилеву, ускорили разрыв. Другие, романтические души, утверждали, что если Нижинский и оставил сцену, то это потому, что его союз оказался исключительно счастливым и что он не хотел больше прерывать своего счастья долгими гастролями, во время которых рампа, занавес, грим, поддельные драгоценности и костюмы с чужого плеча разлучали его с молодой венкой, которую он любил больше всех на свете.

Третьи видели более прозаическую причину этого: Вацлав страдал астмой, говорили они, и каждый раз после выступления должен был ложиться в своей гримерной прямо на пол, дожидаясь, пока к нему вернется дыхание. Состояние его ухудшалось, и блистательный танцовщик сокращал свои программы. Вскоре ему, быть может, пришлось бы укорачивать свои танцы; и тогда...

Что придавало некоторое правдоподобие этой теории реалистов, так это выбор Нижинским и его женой места своего уединения. Там, наверху, возле Чантареллы, воздух был легкий; там свободно дышалось; многие астматики уже испытали это на себе.

Я думаю, что в каждом из этих предположений была доля истины; но я более чем уверен, что еще одно, четвертое, было более верным: Нижинский начинал уже чувствовать отчуждение.

Странность его усугублялась, и эта перемена была слишком заметна.

Еще Дягилев рассказывал мне о замешательстве, в которое его повергал любимый танцовщик. Так, однажды, во время официального обеда в Париже, за столом зашел разговор о любопытном сходстве некоторых людей с определенными животными: козой, кроликом, волком, львом. Сюжет этот скоро был исчерпан, от него давно уже все отвлеклись, перейдя на политику, как вдруг Нижинский, указывая пальцем на одну великосветскую англичанку, чья длинная шея была подчеркнута ожерельем из крупного жемчуга, воскликнул ко всеобщему изумлению: «Вы — жирафа!»

Другая, очень респектабельная, особа, пригласившая как-то раз Нижинского отдохнуть в своем загородном доме, уверяла меня, что «иногда по ночам Нижинский вскакивал и подолгу танцевал в кромешной тьме».

— И, - заканчивала свое повествование эта в высшей степени респектабельная особа, не отдавая себе отчета в том впечатлении, какое производил этот злополучный эпилог, — когда он опять ложится в постель, у него такие холодные ноги!

Но если эти два примера более доказывают непосредственность одаренной природы, нежели подлинную странность, о следующем случае этого не скажешь. Я спросил у первой скрипки в Сювретте, завязал ли он знакомство с танцовщиком, который уже больше года живет в Сен-Морице.

— И да и нет, — последовал двусмысленный ответ.

Видя мое удивление и вопрос в моих глазах, он пояснил:

— Человек, которому меня представили, внешне схож с Нижинским, но, между нами говоря, я сомневаюсь, чтобы это был сам знаменитый артист.

— Вы сомневаетесь в этом? Почему?

— Ну так слушайте. Я сказал ему, какой радостью было для меня аплодировать ему в Монте-Карло. Он любезно улыбнулся и поблагодарил. Тогда я спросил его, где сейчас находится труппа Русского балета.

Он мне ответил буквально:

— Русский балет? Первый раз слышу.

Думая, что он, наверное, смущен, я выразился точнее и заявил, что дружен с Сергеем Дягилевым. Его лицо помрачнело.

— Сергей Дягилев? Не знаю такого! — и он отвернулся от меня.

Я слишком хорошо знал, что Нижинский находится в Энгадине, чтобы поверить в гипотезу о самозванце. Мне скорее виделась тут какая-то бурная размолвка танцовщика с Дягилевым, размолвка, неведомая широкой публике и достаточно серьезная для того, чтобы Нижинский захотел окончательно порвать со своим прошлым.

Несколько дней спустя я с интересом следил за приготовлениями бельгийских, немецких, французских и венгерских конькобежцев, которые накануне соревнований неутомимо тренировались, выписывая фигуры на льду. Эти тренировки проходили не без падений, и я удивлялся, что падения эти, такие легкие, даже грациозные, вызывали смех у нескольких утренних зрителей. Я смерил взглядом эту бесчеловечную публику и заметил среди этих людей, готовых осмеять ближнего, сурового и невозмутимого, странного на вид человека.

На нем была шапка из выдры в форме кулича, спортивный костюм из очень темной, почти черной, ткани, а на груди медное распятие величиной с ладонь. Лицо его было изжелта-бледное, раскосые глаза делали его похожим на монгола. Нет, подумал я, не похожим, а это и есть монгол.

В руках, сцепив их за спиной, он держал веревочку от санок, на которых сидела очаровательная девочка, тоже наблюдавшая за конькобежцами. И если их частые падения вызывали у ребенка улыбку, я заметил, что лицо ее отца оставалось сосредоточенным, и он следил за удалством спортсменов со строгостью судьи. Это меня к нему расположило, и я рад был дать ему разъяснения, когда он, голосом мягким и певучим, спросил меня с сильным иностранным акцентом:

— Вы не могли бы сказать мне, месье, имя этого конькобежца?

— Это Вадас, конькобежец из Будапешта.

— Он катается с сердцем, это хорошо.

— Я разделяю ваш выбор, — ответил я, — на этом катке есть лучшие виртуозы, чем он, но никто из них не обладает такой грацией.

— Грация от Бога, — ответил мой собеседник, играя своим распятием («Поп-расстрига», — подумал я), — остальное дается учебой.

— Но грация разве не дается учебой? — спросил я, любопытствуя.

— То, что дается учебой, имеет предел; врожденное развивается безгранично.

Затем человек повернулся к малышке:

— Тебе не холодно, душка?

Русское слово явилось для меня откровением: вовсе это не был расстриженный священник! Чтобы окончательно увериться в личности своего собеседника, я сжег свои корабли:

— Поскольку счастливый случай свел меня с вами, — заговорил я, — я буду очень нескромным. Не беспокойтесь, — добавил я, заметив, что «монах» нахмурился, — я не журналист, я просто хочу вас спросить, навсегда ли Сен-Мориц, Швейцария завладели вами, или...

— Я больше не танцую, — оборвал он немного сухо.

Тем не менее, ответ этот удовлетворил меня, так как подтверждал мою догадку: передо мной был Вацлав Нижинский.

Внезапно лицо его приобрело таинственное выражение: — Теперь, — сказал он, — я пишу танец.

— Балет? Либретто? Музыка? — переспросил я, не понимая.

— Нет, нет, — возразил танцовщик, теребя свое распятие. — Я записываю танец. Я выдумал знаки, которые позволяют навсегда запечатлеть движение.

— Простите мое неведение, — перебил я, — но разве такая запись до сих пор не существует?

— Нет, — отвечал он, — все ограничиваются описанием движений на полях партитуры, за исключением некоторых, для которых существуют определенные обозначения. Аттитюды старинных балетов переданы были нам традицией, боюсь, не слишком точно. Я хочу записывать танец движение за движением. Я придумал знаки, обозначающие танцовщиков. Их головы — ноты на нотных линейках, жесты обозначаются упрощенными позами. Я записал балет «Весна священная», я запишу все балеты, все-все, — сказал он, оживляясь, — и через десять, двадцать, сто лет можно будет танцевать балеты так же, как их танцуют сейчас.

Он обернулся и с нежностью посмотрел на свою девочку. Несомненно, он думал, что впоследствии ребенок по достоинству оценит его труд.

— Ваша очаровательная дочка пойдет по вашим стопам? Она будет танцевать?

— По моим стопам? О нет! — ответил он живо. — Ее дед умел лишь ходить, отец умеет танцевать, а она должна летать! Ты будешь летать, правда?

Девочка, смеясь, захлопала в ладоши.

Ее отец схватил ее и начал высоко подбрасывать в своих руках, очень высоко, так высоко, что я даже немного испугался за нее. Но ребенок продолжал смеяться.

Внезапно молодой человек пошел прочь, не попрощавшись о мной, одной рукой везя за веревочку санки, другой увлекая за собой дочь.

— Станный способ удаляться, — подумал я.

В это мгновение Нижинский остановился, обернулся ко мне и, сложив ладони рупором, прокричал:

— Завтра в пять часов я танцую в Сюретте. Приходите!

Я откланялся. Я не знал еще, что буду одним из немногих избранных, которые увидят Нижинского танцующим в последний раз.

Здесь я открою скобки. Все мои читатели читали, наверное, замечательную книгу, которую госпожа Нижинская посвятила своему мужу. Это произведение, несмотря на все его достоинства, не представляется мне полностью беспристрастным. Слишком чувствуется, что госпожа Нижинская вменяет себе в заслугу то, что ей удалось отворить двери теплицы, в которой Дягилев держал в заключении танцовщика, и вывести его из дурманящей атмосферы на чистый воздух, забывая, что без этой специально созданной волшебной атмосферы имя ее мужа, быть может, никогда не преодолело бы границ Святой Руси или даже родного города.

В этом произведении имеется и описание последнего спектакля, данного Нижинским для узкого круга приглашенных. Это описание несколько отличается от моего.

Госпожа Нижинская, я в этом не сомневаюсь, описывала этот эпизод по памяти. Я сделаю то же. Не мне решать, чья память, моя или госпожи Нижинской, вернее. Пусть судят те, кто был на этом вечере.

Нетрудно догадаться, что мне вовсе не хотелось опаздывать в гостиницу “Сювретта”, и я даже так рано вышел из “Чантареллы”, где остановился, что думал, что приду одним из первых.

Я ошибался: все приглашенные проявили такое же нетерпение. В освещенном салоне, откуда вынесли всю мебель, за исключением поставленных в ряд вдоль стен стульев и роля в углу, человек около двадцати уже окружали Нижинского. Он же, одетый в подобие черной пижамы и обутый в классические белые балетные тапочки, с изяществом занимал гостей.

Он казался в отличном расположении духа, и заметив толпу любопытных, заглядывающих в дверь, заинтригованным видом прибывающей публики и этого человека в странном одеянии, который делал множество поклонов и реверансов, он учтиво предложил им присоединиться к публике:

— Входите, входите, — говорил он, — место есть, много места.

И любопытные не заставили себя уговаривать.

Среди них я заметил первую скрипку из оркестра “Сювретты”, того самого, который меня предупреждал, что Нижинский не настоящий. Мы заговорщически перемигнулись.

В середине зала молодая женщина, стройная и элегантная, но чье лицо выражало непонятную меланхолию (а может быть, легкое беспокойство), принимала свою долю комплиментов гостей. Это была госпожа Нижинская. Внезапно какая-то довольно полная дама, с прекрасным цветом лица и пышной золотистой шевелюрой, пересекла салон и села за фортепьяно. Двери закрыли, и, когда все уселись, наступила полная тишина.

Нижинский, держась очень естественно, вышел и стал посередине бежевого шерстяного ковра, лежавшего в центре зала. Аккомпаниаторша начала играть прелюдию Шопена, до-минорную прелюдию № 20. Нижинский ее тотчас же исполнил. Его движения удивили меня. Каждому аккорду у него соответствовал точный жест. Сначала он протянул обе руки перед собой, в положении защиты, о чем говорили вертикально поставленные ладони; затем он раскрыл их в приветственном жесте и воздел в молитвенном движении, а на четвертом и пятом аккордах резко уронил их — как будто оборвались державшие их нити. В том же духе была каждая музыкальная фраза, вплоть до финального аккорда.

Сам я до того времени считал эту прелюдию произведением довольно ровным, и мне показалось поразительным то, что танцовщик так подчеркивает ее прерывистый характер. Но теперь, каждый раз, когда я слушаю эту прелюдию или когда я играю ее, я вновь и вновь вижу перед собой жесты Нижинского и почти готов признать его правоту.

Ведь прелюдия эта создавалась часть за частью. Лестница, кажущаяся нам одним целым, состоит из ступенек, высеченных из камня каждая в отдельности. Так же и эта прелюдия, и я теперь преклоняюсь перед интуицией артиста, который сумел расслышать в ансамбле различные части, родившиеся каждая от своего творческого импульса, и чей финальный жест был не обрыв, а лишь предел периода.

Я восхищался не только Нижинским, но и его аккомпаниаторшей, которая внешне, казалось, сохраняла всю свою свободу, внимательно следя за малейшим жестом танцовщика, с тем чтобы внезапно изменить свой ритм или динамику. Я узнал Нижинского моих воспоминаний в следующем отрывке: это была более оживленная музыка, стаккато; может быть, страничка из Шумана, потому что у меня перед глазами вдруг возник трогательный карнавал с его Арлекином, розово-зелено-белым, с нарисованной на лице маской.

Можно было сказать, что во время исполнения этой пьесы ноги танцовщика прикасались к земле лишь затем, чтобы тотчас же ее покинуть. И в течение всего танца, утверждавшего главенство грации над усилием, ни у кого из нас не было впечатления усилия: то, что он делал, было столь же непринужденным, как и полет ласточки. И у меня перед глазами вновь возник образ танцовщика, жонглирующего своей дочкой со словами: — Она будет летать!

Но когда отзвучал последний аккорд, Нижинский прижал обе руки к сердцу, которое, как видно, билось слишком часто, и произнес только:

— Лошадка очень устала!

И тогда только у всех возникло замешательство от мысли, что наше удовольствие рождалось из муки, и я даже желал, чтобы он на этом остановился.

Но Нижинского несло. Не думаю, чтобы он произнес ту длинную фразу, которую в своей книге госпожа Нижинская вкладывает в его уста. Я только помню, что, поднявшись после короткой передышки, он скорее прокричал, чем произнес, всего два слова:

— Это война!

И мы увидели Нижинского, под звуки похоронного марша, с лицом, перекошенным от страха или даже ужаса, идущего по полю боя, переступая через разлагающийся труп, увертываясь от снаряда, защищая пядь земли, залитой кровью и прилипающей к стопам; атакующего врага, убегающего от несущейся повозки, возвращающегося назад — и вот он ранен и умирает, раздирая на груди одежду, превратившуюся в рубище.

Нижинский, едва прикрытый лохмотьями своей туники, хрипел и задыхался; гнетущее чувство овладело залом, оно росло, наполняло его, еще немного — и гости закричали бы: “Довольно!” Тело, казалось, изрешеченное пулями, в последний раз дернулось, и на счету у Великой войны прибавился еще один мертвец.

На этот раз мы были под слишком сильным впечатлением, чтобы аплодировать. Мы смотрели на несчастный труп, и наше молчание было тем молчанием, которое окружает мертвых.

Если бы Нижинский на этом остановился, наше воспоминание осталось бы совершенным. Поднявшись на ноги, он какое-то время вслушивался в фугу Баха, по-учительски исполняемую пианисткой, без сомнения, для того, чтобы позволить танцовщику отдохнуть и переодеться. Но, по всей видимости, он не собирался отдыхать. Кое-как поправив свой костюм, он подошел к столику и, прислушиваясь к музыке, сделал ряд движений, смысл которых ускользнул от меня.

Сначала мне показалось, что он подражает движениям медиума и хочет «оживить» столик, совершая пассы магнетизета. Потом мне показалось, что он, тщательно стремясь удержать равновесие, ставит один на другой невидимые деревянные кубики — любимая игра всех детей. Мне показалось, что воздушный замок развалился; приходилось начинать все сначала. И танцовщик, действительно, начал сначала свои бесполезные пассы и терпеливое нагромождение невидимых материалов. Это показалось всем странным, затем скучным, а вскоре и тревожным.

В редкие мгновения, когда я мог видеть его лицо, почти все время повернутое к стене, я с трудом узнавал его. В странной гримасе он совсем уронил свою нижнюю челюсть и чрезмерно выпятил подбородок, который и так был у него слишком острый. От усилия, которое потребовалось для этой непонятной причуды, проступили кости скул и сузились глаза.

Перед нами был китаец, китайский колдун, безумный или превращающийся в такого. Этот колдун вызывал духов, пытался зачаровать их своими пассами: чего он хотел этим достичь?

Я почувствовал, как по залу повеяло холодком испуга. Пианистка остановилась, не окончив фуги.

— Что вы делаете? - спросила она голосом, который, казалось, плохо ее слушался.

И она еще тише добавила, но все-таки достаточно громко, чтобы все ее услышали:

— Это не танец!

Нижинский как будто получил удар электрического тока: его лицо вновь сделалось нормальным, затем высокомерным.

— Я — артист, - ответил он кратко.

Стесненное молчание последовало за этим заявлением. Все чувствовали, что любой пустяк может вызвать тяжелую сцену. Пианистка поняла это и, чтобы разрядить атмосферу, начала играть балладу Шопена.

— Нет! — вскричал Нижинский, — я не хочу слушать эту музыку, я ее знаю. Я хочу незнакомую музыку, музыку, которой никто не знает...

С редким самообладанием пианистка, вместо того чтобы обидеться, отыскала в памяти среди своего репертуара забытое произведение малоизвестного автора. (Может быть, это был этюд Генсельта).

Нижинский тотчас же его исполнил с очаровательной грацией.

По окончании этюда публика с облегчением рукоплескала танцовщику. Пианистка встала и откланялась. Не говоря ни слова Нижинскому, она удалилась в уголок зала, куда друзья пришли ее поблагодарить, а также, я думаю, и поздравить за проявленное редкое присутствие духа. Несколько мгновений казалось, что холодный ветер гуляет по залу. Я почувствовал, как у меня леденеют руки. Гости уходили торопливо, кто восхищенный, кто перепуганный.

Надменный, отрешенный, Нижинский сохранял свою маску оскорбленного идола. Глаза его бегали, под ними были круги, и мне показалось, что он скрежетал зубами.

Машинально я сел за фортепьяно и сыграл под сурдинку тему маленькой мазурки, сочиненной мною в детстве. Сразу же произошла благотворная разрядка, которая видна была не только на лицах последних гостей. Жесткая маска танцовщика смягчилась; он снова стал самим собой.

Подойдя к инструменту, он сказал мне много теплых слов и спросил, где я живу. Потом он подозвал свою жену, которой он меня представил.

— Это друг, — просто сказал он. — Он пришел издалека ради нас, целый час по глубокому снегу, неправда ли?

Госпожа Нижинская мило улыбнулась, и мне не забыть этой улыбки; впрочем, все в ней было очаровательно, ее походка, платье, ее голос, даже сама печаль, сквозившая в ее улыбке, как некоторые духи сквозь хрусталь флакона.

Вскоре я узнал, что Нижинский помещен в лечебницу.

Годы проходят, меркнет глянец. Имя Нижинского несколько не потеряло своего престижа. Разве это не доказательство его величия?

Не так давно газеты утверждали, что танцовщику стало лучше (то есть не так плохо, как прежде, надо было сказать). Все его старые друзья обрадовались. Я представляю себе, с каким волнением госпожа Нижинская и ее дочь наблюдали, как медленно отступает болезнь.

И все-таки в глубине души я не уверен, что пожелал бы Вацлаву Нижинскому возвращения к здоровому рассудку. Узнал ли бы он в этом седеющем мужчине, который взглянет на него из зеркала, того молодого бога, которым он был до того дня, как покинул нас?

И после того, как ты был богом, можно ли утешаться тем, что ты всего лишь человек, меньше того, старый человек, меньше того — больной?

Нет! Лучше умереть.

Кира НИЖИНСКАЯ

НИЖИНСКИЙ И ЛЕГЕНДА

Воспоминание детства, Анна Павлова, все еще и теперь волнует меня. Мне было девять лет, когда я увидела ее Умиряющего Лебедя на сцене. Эти биения крыльев, голова ее, увенчанная короной из белых перьев, ее пуанты, рассыпавшие по сцене свое жемчужное ожерелье, белый газ, окутывавший ее, как облако, соединили в моей памяти в одно балерину и лебедя. Благодаря этому совершенному видению я поняла, что волшебная сказка, легенда в танце могут соприкоснуться с реальностью. И прав был Андерсен, когда он заколдовывал своих принцев и превращал их в лебедей. С самого раннего детства, в своих мечтах и воспоминаниях, я причисляла моего отца к стихии полета. Для меня он принадлежал миру небесных птиц, природе. Во время прогулок, глядя на луга, живую изгородь, дали, я говорила себе, что он мог бы преодолеть их, как ветер или же как Икар. Однажды я чуть не наступила на трупик воробышка, и

помню, как я рыдала. В другой раз я увидела в Энгадине большого ворона, распростертого с раскинутыми крыльями на скалах, и сердце мое сжалось от внезапного испуга. Все природные стихии — ветры, молнии, трепетание листьев на деревьях — казалось, участвуют в некоем танце, и я знала, что мой отец их изучал, любил их, потому что он так великолепно воплощал движение. Образ отца в моем воображении приближался к духу Ариэля. Ведь Ариэль был свободен, независим, и все земные пределы были ему доступны в один миг.

Эти мысли не мешали мне считать моего отца реальным существом, ответственным за мои поступки в жизни. Болезнь помрачила его рассудок, но когда я приближалась к нему, его легкая улыбка, его нежность ободряли меня. Несмотря ни на что, мой отец был со мной, его мысль вовсе не отсутствовала, как многие часто утверждали. Конечно, отец больше не летает как человек-птица, но он сделался еще более загадочным. Мысли его витают в неведомом царстве, он ускользает от меня, грезя и улыбаясь, и парит под сводами незнакомых небес. Ребенком я созерцала его болезнь с почтением, с уважением относясь к этой отрешенности, к этому отсутствию рассудка, и я любила в нем достоинства его сердца. Кстати, отец никогда не забывал показать ближним свою признательность и любовь. В доме он занимал мало места и почти ничего не требовал. А в минуты буйства я видела перед собой сцены мучительной борьбы. Один раз отец швырнул в меня куклой и попал прямо в голову, но я хорошо понимала, что это он пытается защититься от зловещего видения, ужасно мучившего его. Эти припадки быстро проходили, и я никогда их не боялась, зная, что даже и в помрачении он никогда не перестанет оберегать своего ребенка.

Я воспринимала его болезнь как таинственный взлет, трамплином которому был танец. Его чарующий публику прыжок — появление на сцене в «Видении розы», полет Голубой птицы, дугообразные скачки Фавна, биение ног Арлекина под дождем танцующих букв Шумана, сладострастие и звериное веселье негра в Шахерезаде, его движения, ползучие, вжимающиеся в землю, чтобы затем взвиться в воздух, обвиваясь, как быч, вокруг себя самого, смерть негра, подобного дельфину, внезапно взлетающему из воды, чтобы плашмя рухнуть на берег, все эти рассказы обогащали мою душу и воспламеняли воображение. Мир Русского балета казался мне волшебной рамой, заключившей в себе образы Павловой, Карсавиной, моего отца.

Позднее, я делилась своими воспоминаниями с пожилыми растроганными дамами. «Да, я помню Нижинского и его знаменитый полет в “Видении розы”, — говорили они, — каждый вечер в театре на Елисейских Полях публика вскакивала с мест в этот момент, с долгим восхищенным “а-ах” и забрасывала сцену розами. Потом требовалось по крайней мере двадцать минут, чтобы убрать со сцены эту грудку цветов». Однажды, после очередного рассказа такого рода, какая-то дама вдруг зарыдала. Я очень удивилась, потому что она была мне едва знакома. «Представьте себе, — сказала она мне, — этот момент из “Видения розы” я знаю со слов одной подруги, и подумать только, что мне ни разу не привелось присутствовать при этом чуде». Рассказ ее все больше пестрел дифирамбами, и слезы снова полились.

И все же многие сегодня, когда разговор заходит о Нижинском, спрашивают: «Кто это — Нижинский? Ах, танцор... Это ведь было давно, но говорят, он был великолепен, не правда ли?» И разговор чаще всего продолжается в том же духе. Но бесспорно, Нижинский продолжает и теперь поражать воображение, он интригует его, будоражит и заставляет творить образы из давних воспоминаний. В танце Нижинский умел, благодаря исключительному дару, создавать атмосферу, насыщенную поэзией. Его болезнь как бы усугубляет странность его образа, поскольку она также участвует в выборе, который он сделал во время своей творческой жизни. Его хореографические идеи, так резко отрывающиеся от общепринятых концепций, его система балетной

нотации, его замыслы относительно облагораживания танца, чтобы он мог играть такую же важную роль, как и музыка, были провозвестническими. Если я объединяю слова «Нижинский» и «легенда», то это затем, чтобы показать, сколько живых образов и поэзии породил он в сердцах людей. Я ни за что не скажу, что он остался популярным, но — что память о нем вечна. От него не осталось почти никаких следов, ни одного фильма, а статуя, которую так хотел создать Роден, так и не была начата, так что же остается? Выставки его рисунков время от времени, книги, несколько докладов... память и фотографии. И все-таки Икар не умирает, и будущее, наверно, добавит к его таланту тысячи воплощений, невероятных и удивительных. Икар воскресает, он преодолевает падение и смерть, чтобы стать символом взлета летающего человека. Его смерть тоже участвует в его порыве и продлевает его в бесконечность; пробежавший марафон падает замертво, достигнув цели. Так и душевное расстройство омрачает рассудок Нижинского, таинственно скрывая его от нас. Внезапный обрыв в апогее творчества, затем утрата рассудка заставляют нас глубоко задуматься.

Нижинский олицетворяет собой танец и его самую сокровенную сущность. Это был феномен, случайность! Человеку не дано избежать его вовсе, это было бы нарушение порядка вещей. Этот странный феномен промелькнул очень быстро и увлек за собой свой объект. Не будем же жалеть об этом столь совершенном образе! Нам дано утешение, потому что, кажется, Нижинский, жертва своей судьбы, вновь участвует во взлете танца и в возвращении его откровения.

Перевод Галины Погожевой

ДВА РАССКАЗА

ПРОБЛЕМЫ С ГОЛОВОЙ

Когда-то, много уже лет назад, работал мой муж в больнице, которая носила хитрое имя — «25-го октября» (хотя именем это назвать трудно). Больница была очень популярна в народе. Я имею в виду не весь народ (я вообще не знаю, что такое народ), а тех, кто любит выпить (это ведь немалая часть населения, так что, можно сказать, народ). Только в больнице «25-го октября» было специализированное отделение пьяной травмы. Муж работал в отделении, с больными, которые получили в состоянии алкогольного опьянения повреждения лица, челюстей и головы. Это был самый загруженный участок работы. Ведь проблемы с головой свойственны нашему народу. У нас веселье не только питьё, но и битьё. Чуть что, и бьют в морду — неважно, есть повод или нет повода.

«Я пострадал за мягкий кончик!» — еле ворочая языком, возмущается больной со сломанной челюстью, поминутно сплёвывая кровь. Когда ему оказали помощь, он рассказал свою печальную историю. Стоит он на заснеженной набережной Невы. Сиреневые сумерки темнеют, становятся лиловыми. Фонари зажглись, снежинки вокруг фонарей вьются. Такая возвышенная и романтическая красота кругом, что хочется дружить, петь и о любви говорить. Вот и на льду замёрзшей реки, прямо под ним, парочка молодая, трогательная такая, стоит — видно, влюблённые. Наш герой смотрит — влюблённый что-то большими буквами палкой на снегу написал. Пригляделся. Конечно, слово «любов». Уже и точку влюблённый поставил, а мягкий знак на конце забыл...

— Это слово с мягким концом пишется, — подсказал ему сверху борец за правильность родной речи. С улыбкой подсказал. Но влюблённый то ли не заметил улыбки, то ли что... Поднялся по ступенькам на набережную и с размаху челюсть ему и сломал. — Я же хотел только, чтобы у любви всегда конец мягкий был. И счастливый, — горько жаловался мужу пострадавший.

Но это — самый обыденный случай. Переломы челюстей за день, особенно праздничный, раз двадцать случались. Бывали проблемы с головой куда посложнее.

Привели в отделение больного. Сам он идти не может. У него на голове, полностью закрывая лицо, сидит розовая, эмалированная с цветочками, кастрюля. Ему жена её напялила. То ли от большой любви, то ли от ненависти, которые, как известно, могут переходить друг в друга. В общем, в порыве чувств перевернула она ему на голову кастрюлю с борщом. Борщ жирный был, поэтому села кастрюля на голову хорошо, а когда борщ вытек, снять её с головы не было никакой возможности. Точно по размеру оказалась. Сбоку в кастрюле косточка от мяса, сахарная, застряла и причиняла ему жуткие страдания. Сложный случай. Пришлось мастера с аппаратом для автогенной резки вызывать.

То, что у наших людей проблемы с головой часто случаются, понимают даже наши меньшие — и большие — братья, и сочувствуют.

В отделении лежал больной с очень хорошо помятой головой. Она была помята со всех сторон: спереди, с боков и сзади. Это он однажды сильно повеселился. Очень весёлый пришёл в зоопарк. И так поговорить с кем-нибудь захотелось за жизнь, за уважение. С крупным с кем-нибудь. А вокруг, как назло, одна мелюзга. Наконец, увидел

он в клетке слона (вольеров тогда в ленинградском зоопарке не было, все звери в клетках сидели). По размерам — самый подходящий собеседник! Просунул он голову между прутьями клетки, чтобы беседа более задушевной получилась. Поговорил. Уже темнеть стало. Хочет он попроситься и уйти, а голову из прутьев не вынуть. То ли уши у него прежде протолкнулись, а обратно — мешают, то ли мозгов прибавилось — протрезвел ведь немного. Крутит он головой, крутит — железные толстые прутья решётки сжимают голову и не выпускают. А вокруг уже никого. Он даже заплакал. Старый большой слон, который во время беседы равнодушно подбирал огрызки яблок, что ему накидали любители животных, услышал плач человека и содрогнулся. Понял, в каком тот положении. Мудрый великан медленно подошёл к помятой уже голове, посмотрел ей в глаза и верхней твёрдой частью хобота с силой протолкнул эту голову на волю. Владелец головы на ногах не удержался, с размаху упал назад и несчастную свою голову теперь помял уже сзади. Кошмарная трагедия получилась.

Бывали и трогательные истории про животных, про силу их любви к человеку.

Прибежал пациент. Резвый. Одной рукой окровавленный нос прикрывает, в другой руке этот нос отдельно держит. Собака действительно была любимой. Когда он принёс её в дом маленьким совсем щенком, она сразу признала его своим хозяином, ходила за ним, как хвостик, в глаза заглядывала, ловила хозяйскую любовь. Так она и росла в этой любви. А потом у хозяина ребёнок родился. Хозяина как подменили. Все ласковые слова, все игрушки, всё время, когда он дома, — всё ребёнку. Обиды у собаки копились.. Однажды наклонился хозяин над детской кроваткой, а собака к нему — поделись лаской! Хозяин её оттолкнул. Она попробовала ещё раз подпрыгнуть — хозяин её ударил и снова наклонился к ребёнку. Вот тут собачье сердце не выдержало — она отхватила у него довольно большой кусок носа. Хорошо, что хозяин собаки и носа догадался не связываться со скорой помощью, а сам добрался до больницы «25-го октября». Муж вернул откушенную часть на место, и пациент остался с носом.

И ещё одна пострадавшая прибежала. Нарядная такая. Она сбежала с собственной свадьбы, принесла в окровавленной руке мочку своего уха вместе с тяжёлой серебряной серьгой. Жених в порыве подпития и страсти перестарался, видимо...

Восстановливая ухо, хирург спросил: «... ну а женой-то успели стать?» — «Нет, — отвела невеста, — и теперь неизвестно, стану ли...»

Не знаю, есть ли ещё больница «25-го октября». Скорее всего, имя другое дали — или вообще здание под фирму отдали. Если больница сохранилась, думаю, народ по-прежнему зовёт её «больница 25-го октября». Это число (хотя и по старому стилю) для многих наших людей навсегда, наверно, памятным и родным останется. Ведь так удобно было: для пьяных — отдельное отделение.

НЕВАЖНО...

Я учительница. Я сама понимаю, что типичная учительница. И не потому, что учу разных охломонов, больших и маленьких. Я по характеру, а теперь и по внешности своей — учительница. Хотя мне всего-то вокруг пятидесяти. Но в наше время женщины моего возраста обычно приобретали вид если не членов парткома, то председателей месткома уж точно. Я стараюсь держаться.

Живу я давно одна. Был у меня, конечно, муж и дочка есть хорошая. Только жизнь у них теперь своя, а внук мой входит в тот возраст, когда бабушка уже не очень нужна. Много лет была у меня когда-то бурная, но в данный момент вяло текущая по телефону связь с чужим мужем, но он много старше меня (раньше я этого не замечала) и всё чаще говорит мне, что очень хотел бы... прийти, но не может.

Так что я одна. Но не совсем. Есть у меня маленький дружок — собачонка таинственной породы по имени Масы. Вот она меня обожает! Столько счастья слышится в её захлёбывающемся лае, когда я возвращаюсь домой, что я начинаю бояться, как бы она от восторга не грохнулась в обморок или не порвала бы мне мою длинную учительскую юбку.

Главный смысл её жизни, её каждодневная вожденная цель — поймать момент, когда я, наконец, устроюсь на диване смотреть телевизор или, сняв любимую книжку с полки над тем же диваном (на этой полке стоят у меня любимые книжки и фотографии), улягусь на бочок почитать. Тогда она выбирает самый мягкий изгиб моего тела, плотно прижимается, переворачивается на спину, вытягивает задние лапы, передние складывает на своём животе и, застывая, блаженно закрывает глаза. Может быть, с меньшим восторгом, но тоже с удовольствием устраивается Маса за моей спиной на стуле и почти не дышит, когда я занимаюсь дома английским языком с разными своими учениками. Она достаточно благосклонно и гостеприимно их встречает, кроме, может быть, одного, кого я, наоборот, с некоторых пор стала с нетерпением ждать.

Он высоченный и красивый. Особенно когда он приходит ко мне прямо после занятий в военной академии, в морской форме. Форма оттеняет его светлые глаза и светлые волосы. Он даже умный в первом поколении. Он покупает уйму самых разных энциклопедий типа «Что? Где? Когда?» и, что самое поразительное, прочитывает их от корки до корки. Потом с огромным интересом к самому себе он пересказывает эти статьи из энциклопедий кому-нибудь из подвернувшихся собеседников, обязательно прижимая его к стенке.

Однажды он так же прижал к стенке и меня, после чего я стала особенно нетерпеливо ждать его прихода. Я понимаю, что с его стороны это был абсолютно бескорыстный жест. Ведь он мне почти в сыновья годился бы, вздумай я когда-то, лет в восемнадцать, родить мальчика. Но, тем не менее, я стала к нашим занятиям готовиться с усиленным вниманием к своей одежде, к своему лицу. И что греха таить, даже к своему белью — на всякий случай. На этот же случай, почти неосознанно, я стала надевать такую блузку, которую ему было бы легко расстегнуть. Но он ничего не замечал. И мои надежды таяли, не успев сбыться.

Нет, он не был морально устойчив, скорее совсем наоборот. Он очень любил женщин, и женщины, конечно же, любили его. Иногда он просил разрешения от меня позвонить. И я, невольно подслушивая, улавливала разные женские имена. Потом, перед уходом, он звонил жене и говорил, что задержится у учительницы английского языка. У меня, увы, он никогда не задерживался.

Но однажды тема нашего занятия включала диалог знакомства мужчины и женщины. В этом диалоге, конечно же, я играла роль дамы, с которой он хотел бы бескорыстно познакомиться. Видимо, эту роль я слишком естетственно и активно сыграла, потому что, когда я встала, чтобы при прощании подать ему руку, его руки вдруг обхватили меня, его губы стали целовать мои губы. Ему было легко расстегнуть пуговицы моей блузки. У меня закружилась голова, сознание моё почти помутилось, ведь я так давно хотела этих ласк. В общем, мы как-то очень быстро оказались на моём диване. Но одновременно рядом оказалась и моя собака Маса. Разве было время, чтобы её удалить? Маса с таким напором и воодушевлением стала добиваться своего законного места, что мой, такой желанный в данный момент, ученик попробовал оттолкнуть её своей длинной ногой или рукой, уже не помню. Помню только, что этой ногой или рукой он задел полку с любимыми книгами, фотографиями, вазочками, вроде бы надёжно висевшую до этого над диваном. Полка сорвалась с одного крюка, и всё её содержимое стало падать на его спину и голову.

Как я боялась, что он испугается, отвлечётся. Я прижимала его одной рукой к себе, а другой отбивала падающие книги, фотографии, вазочки... И только повторяла: «Пусть, пусть! Неважно! Неважно! Неважно!..»

Коротко об авторах

Наталья Аришина Поэт. Родилась в 1943 году в Баку. Закончила Литературный институт им. А.М. Горького, 1972. С 1988 по 1990 — вице-президент Федерации советских писательниц СП СССР. С 1991 по 1994 — заведующая отделом культуры и член редколлегии журнала “Работница”. Издала пять поэтических книг. Широко печатается в российских литературных журналах. Живёт в Москве.

Светлана Василенко Прозаик. Родилась в 1956 году в приволжском городке Капустин Яр. Закончила Литературный институт им. А.М. Горького и Высшие сценарные и режиссёрские курсы. Автор нескольких книг прозы, сценариев нескольких фильмов и множества публикаций в ведущих русских литературных журналах. Лауреат премии Гемини-фильм 1994 года. Первый секретарь Правления Союза российских писателей. Живёт в Москве.

Михаил Гиголашвили Прозаик. Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил филологический факультет Тбилисского университета, доктор филологии. Автор двух романов, множества повестей и рассказов, широко печатается в российской и зарубежной периодике. Преподаёт русский язык и литературу в Саарландском университете. Живёт в Саарбрюккене.

Игнатий Ивановский Поэт, переводчик, эссеист. Родился в Ленинграде. Закончил Ленинградский университет. Автор множества книг и публикаций в российской и зарубежной периодике. Лауреат премии Шведской Академии. Живёт в Санкт-Петербурге.

Аркадий Илин Поэт. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил библиотечный факультет Института культуры и многие годы работает в библиотеке для слепых. Автор двух поэтических книг и множества журнальных публикаций в России и за рубежом. Живёт в Санкт-Петербурге.

Анатолий Кобенков Поэт, эссеист. Родился в 1948 году в Хабаровске. Жил в Биробиджане, Ангарске. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Первую книгу выпустил в Хабаровске, последующие (всего — тринадцать) выходили в Иркутске и Москве. В Иркутске, будучи председателем писательского союза, организовал Фестиваль поэзии на Байкале, несколько книжных серий и альманахов. Член Русского ПЕН-центра, с 2005 года живет в Москве.

Дина Рубина Прозаик. Родилась в Ташкенте, закончила консерваторию по классу фортепьяно. Публикуется с 16 лет. Автор множества книг, переведенных на семнадцать языков. Лауреат литературных премий. С 1990 года живет в Израиле.

Игорь Сухих Родился в 1952 году в с. Волобуево Курской области. Окончил Ленинградский университет. Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета. Автор книг «Проблемы поэтики А. П. Чехова» (1987), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996), «Книги XX века. Русский канон» (2001), «Двадцать книг XX века» (2004) и многих статей о русской литературе и критике XIX — XX вв. Составитель и комментатор сборников Толстого, Чехова, Зощенко, Булгакова, Пастернака, Высоцкого, антологий русской критики о «Грозе», «Отцах и детях», «Воине и мире». Живет в Санкт-Петербурге.

Борис Хазанов Родился в 1928 г. В Ленинграде. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Марк Харитонов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1937 г. в Житомире. В 1960 году окончил историко-философский факультет МГПИ. Работал учителем, ответственным секретарём в многотиражной газете, редактором в издательстве. Переводил с немецкого Г. Гессе, С. Цвейга, Э. Канетти, Ф. Кафку и др. Автор множества книг и журнальных публикаций. Лауреат Букеровской премии за 1991 год. Живёт в Москве.

Майя Шеломенцева Коренная ленинградка. Окончила филологический факультет Ленинградского университета, до 1972 года была школьной учительницей, затем училась в аспирантуре Института культуры, защитила кандидатскую диссертацию, читала лекции студентам, получила звание доцента. Автор множества критических статей и учебных пособий. В 1991 году переехала в Германию. Живёт в Гамбурге.

Владимир Шубин Родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Много лет работал экскурсоводом по Ленинграду, затем в журнале «Искусство Ленинграда», Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Автор книги «Поэты пушкинского Петербурга», популярных работ и научных публикаций по истории литературы. Рассказы последних лет печатаются в русской и зарубежной периодике. В Германии с 1997 г. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 20.12.2005

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 0231 / 952 973 0 (общий)
+49 / 0231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:
www.zapiski.de

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии.

Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

АНОНС

Читайте в пятом номере «Зарубежных записок»:

Прозу

Андрея Столярова (Санкт-Петербург),
Анатолия Головкова (Москва),
Леонида Гершовича (Ганновер),
Михаила Гиголашвили (Саарбрюккен),
Алексея Козлачкова (Кёльн),
Виктора Серебряного (Нюрнберг).

Стихи

Ильи Фаликова (Москва),
Ларисы Щиголь (Мюнхен),
Даниила Чконии (Кёльн).

Публицистику и эссеистику

Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Самуила Лурье (Санкт-Петербург),
Александра Радашкевича (Париж),
Алексея Макушинского (Эйхштетт)

и другие интересные материалы.

